

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛОСОФСКАЯ
АНАЛИТИКА
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

УДК 008
ББК 87.6
Ф56

Редакционная коллегия:

д-р филос. наук, проф. Л. В. Шиповалова (отв. ред.; С.-Петербург. гос. ун-т);
д-р филос. наук, проф. С. И. Дудник (отв. ред.; С.-Петербург. гос. ун-т);
канд. филос. наук, доц. В. Ю. Перов (С.-Петербург. гос. ун-т);
д-р филос. наук, проф. В. В. Савчук (С.-Петербург. гос. ун-т);
д-р филос. наук, проф. А. М. Соколов (С.-Петербург. гос. ун-т);
д-р филос. наук, проф. Е. Г. Соколов (С.-Петербург. гос. ун-т)

Рекомендовано к публикации

*Научной комиссией в области философии, этики и религиоведения
Санкт-Петербургского государственного университета*

Философская аналитика цифровой эпохи: сб. науч.
Ф56 статей / отв. ред. Л. В. Шиповалова, С. И. Дудник. — СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. — 368 с.
ISBN 978-5-288-06053-3

В сборнике статей рассматриваются актуальные философские, социологические, культурологические аспекты цифровизации в контексте тенденций, характерных для информационной эпохи. Авторы размышляют об истоках и перспективах цифровизации, о трансформации смыслов в поле цифровой коммуникации, о доверии настоящему и фейках. Они анализируют такие явления, как цифровая культура, информационное общество, информатизация, постиндустриальная эпоха, информационно-технологический сдвиг, искусственный интеллект, цифровой разум.

Издание адресовано историкам философии и культуры, а также всем, кто интересуется актуальными проблемами современности.

УДК 008
ББК 87.6

ISBN 978-5-288-06053-3

© Санкт-Петербургский
государственный университет, 2020

Содержание

Введение.....	7
Соколов Е. Г. Информационная/цифровая эпоха. Предварительная разметка. К постановке проблемы.....	7
Прокудин Д. Е. От «информатизации» к «цифровизации»	37
РАЗДЕЛ I. ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	53
Артамонов Д. С., Тихонова С. В. Историческая эпистемология в условиях цифрового поворота	55
Шапошникова Ю. В. Число в античности, цифра в современности	72
Коленько С. Г. Сакральная парадигма числа и цифры в мировой культуре	85
Наумова Е. И. Бухгалтеризация, или культурный код капитализма 4.0.....	105
Чеботарева Е. Э. Блокчейн и биткоин: цифровые технологии в философском контексте.....	124
Милованов А. С. «Цифровая революция» как пространство для историко-эпистемологического исследования: проблемы и перспективы	139
Разин А. В. Этические проблемы искусственного интеллекта и цифровых технологий	154
Клюева Н. Ю. Этическая экспертиза технологий искусственного интеллекта и робототехники.....	164
Шибаршина С. В., Масланов Е. В. Автоматизация, искусственный интеллект и научное знание	174
Кондратенко К. С. Цифровизация как преодоление неопределенности: теоретические аспекты и технологический прогноз.....	185
РАЗДЕЛ II. ТРАНСФОРМАЦИИ СМЫСЛОВ В ПОЛЕ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	199
Соколов А. М., Кузнецов Н. В. Евразийский нарратив в смысловом поле глобализации	201
Скрипченко Д. В., Колесникова Е. И., Янь Мейпин. Общественные коммуникации в эпоху цифровых диктатур.....	221
Каштанова С. М. Модусы и практики социальной коммуникации в современном цифровом пространстве: опыт расширения границ социальной реальности.....	234

<i>Пирогов А. А. Трансформация понятия благотворительности в условиях постинформационного общества</i>	252
<i>Мухина С. Х. «Забота о себе» в постинформационном обществе ..</i>	270
РАЗДЕЛ III. ДОВЕРИЕ В ЭПОХУ ЦИФРЫ	281
<i>Савчук В. В. Доверие настоящему</i>	283
<i>Шевцов К. П. Цифровой разум в действии</i>	293
<i>Очеретяный К. А. Фейкт — единица цифрового опыта.....</i>	309
<i>Яковлева Л. Ю. Фейковая топология в культуре постправды: проблемы доверия</i>	325
<i>Кириллов А. А. Структуры мимесиса</i>	336
Сведения об авторах	350
Summary.....	354
Contributors	365

Contents

Introduction.....	7
<i>Sokolov E. G.</i> Information/Digital Age. Preliminary Marking, or To the Problem Statement.....	—
<i>Prokudin D. E.</i> From “Infomatization” to “Digitalization”.....	37
SECTION I. DIGITALIZATION: ORIGINS AND PERSPECTIVES.....	53
<i>Artamonov D. S., Tikhonova S. V.</i> Historical Epistemology in the Digital Turn.....	54
<i>Shaposhnikova Yu. V.</i> The Number for Antiquity, the Digit for Modernity.....	71
<i>Kolenko S. G.</i> Sacred Paradigm of Numbers in World Culture	84
<i>Naumova E. I.</i> Book-Keepization, or Cultural Code of Capitalism 4.0... ..	105
<i>Chebotareva E. E.</i> Blockchain and Bitcoin: Digital Technologies in a Philosophical Context.....	124
<i>Miloslavov A. S.</i> “Digital Revolution” as a Field for Historical and Epistemological Research: Problems and Perspectives	139
<i>Razin A. V.</i> Artificial Intelligence and Digital Society: New Ethic Chalenges	154
<i>Klyueva N. Yu.</i> Ethical Expertise of Artificial Intelligence and Robotics.	164
<i>Shibarshina S. V., Maslanov E. V.</i> Automation, Artificial Intelligence and Scientific Knowledge	174
<i>Kondratenko K. S.</i> Digitalization as Overcoming Uncertainty: Theoretical Aspects and Technological Forecast	185
SECTION II. TRANSFORMATION OF MEANINGS IN THE FIELD OF DIGITAL COMMUNICATION	199
<i>Sokolov A. M., Kuznetsov N. V.</i> Eurasian Narrative in the Semantic Field of Globalization	201
<i>Skripchenko D. V., Kolesnikova E. I., Yan Meiping.</i> Public communications in the age of digital dictatorships.....	221
<i>Kashtanova S. M.</i> Modes and Practices of Social Communication in the Modern Digital Space: Experiencing the Expansion of Social Limits.....	234
<i>Pirogov A. A.</i> The Transformation of the Concept of Charity in a Post-Information Society	252
<i>Mukhina S. H.</i> “Caring for Yourself” in a Post-Information Society	270

SECTION III. TRUST IN THE AGE OF NUMBERS	281
<i>Savchuk V. V.</i> Trust in the Future	283
<i>Shevtsov K. P.</i> Digital Mind in Action	293
<i>Ocheretyany K. A.</i> Faket — A Unit of Digital Experience.....	309
<i>Iakovleva L. I.</i> Fake Topologies in Post-Truth Culture: the Problem of Trust.....	325
<i>Kirillov A. A.</i> Structures of Mimesis.....	336
Information about the authors.....	350
Summary	354
Contributors	365

Введение

Е. Г. Соколов

СПбГУ

Информационная/цифровая эпоха. Предварительная разметка. К постановке проблемы

Статья посвящена исследованию условий и предпосылок формирования цифрового/информационного общества, а также условиям, при которых данный феномен мог быть тематизирован в смысловых и дискурсивных горизонтах познания. Сегодня мы можем констатировать, что информационно-технологические инновационные практики в полной мере затронули весьма незначительные и по количеству живущих, и по территории регионы Земли. Поэтому делать прогнозы о том, что данная тенденция станет ведущим мировым трендом и коренным образом повлияет на дальнейшее развитие всего человечества — преждевременно. Исторический опыт прошлого, когда та или иная модель развития всего человечества объявлялась универсальной и неизбежной (например, этап индустриализации), показывает, что и в случае с информатизацией/цифровизацией вести речь следовало бы лишь о некотором, в первую очередь технологическом и идеологическом, продукте европейско-ориентированных практик и регионов. Для того чтобы подобный мировоззренческий акцент мог в принципе сформироваться, необходимы соответствующие социально-культурные и ментальные концептуальные предубеждения, которые касаются в первую очередь фундаментальных принципов интерпретации человека, мира и человека в мире. А именно: концепты информации, коммуникации, пространства и времени, статус и соотношение субстанциональных и акцидентальных сфер, а также антропологическая картография (общая архитектоника). Базовой также может считаться трактовка числа/цифры. Немаловажно и то, что в случае с цифровизацией/информатизацией существенную роль играет капиталистическая сакрализация бухгалтерии (бухгалтеризация) и повсеместное распространение инструментов тотальной паттернальной опеки — юриспруденция (юриспрудензация).

Ключевые слова: информационное общество, цифровая культура, технологии производства жизни, коммуникация, информация, статус реальности, число, бухгалтерия, юриспруденция.

По разным данным, к концу 2018 г. общее население Земли составляло 7,6–7,8 млрд человек. Из них в Азии проживало более 4,2 млрд, на африканский континент приходился один миллиард человек, в Европе зарегистрировано 741 млн, в Латинской Америке — 600 млн, в США и Канаде — 263 млн человек, ну а в Австралии вкупе с государствами Океании — всего 30 млн. Если провести нехитрые и очень приблизительные подсчеты того, население каких стран/регионов/территорий охвачены информационно-цифровым бумом и могут считаться авангардом, определяющим векторы мирового развития, где очевидны все те смысловые, концептуальные, идеологические, антропологические, аксиологические, технологические и прочие сдвиги, о которых будет сказано ниже — ибо включенность (или, наоборот, исключенность) в общемировой цивилизационный тренд и приобщенность к инновационным благам не однородна всей территории того или иного континента, то получится примерно следующее. Среди безусловных аутсайдеров — жители Азии, однако есть и в этих пределах законодатели, определяющие контуры, фарватеры и направление информационно-цифрового движения, вроде Японии (116 млн), Сингапура (5,5 млн), Гонконга (7 млн), Тайваня (24 млн). Но и на европейских просторах существуют немаленькие островки, которые не приобщены в полной мере, не включены и не охвачены, но погружены в допостиндустриальную отсталость: Румыния (20 млн), Албания (2,5 млн), с оговорками — Греция (10 млн). Да и Россию (европейскую ее часть, об азиатской и говорить не стоит вовсе) с 95 млн населения едва ли у кого повернется язык — в особенности у самих россиян — назвать передовой и уже вступившей в информационно-цифровую эпоху и успешно в ней обосновавшейся. Да даже и в самих США от штата к штату ситуация неоднородна: штат Нью-Мексико в этом отношении не намного отличается от Чили, почти девственного в рассматриваемом нами отношении, или от нашего Таганрога.

Не вдаваясь далее в подробности, скажу лишь вот что: на территориях, которым еще предстоит, как обещают футурологи, вступить (с неизбежностью альтернатива — вымирание и исчезновение) на путь модернизации по последней моде, проживает по крайней мере 7 млрд людей. Соответственно, локомотивом,

втаскивающим все человечество в будущее, управляют от 600 до 900 млн. Но и это еще не все. На самых успешных с точки зрения современных технологий территориях есть абсолютно «глухие» и «темные» уголки, некие «провальные зоны», лишенные современной оснастки (и в городах — Нью-Йорке, Лондоне, и в странах — например, Швеции), а также немалые социальные группы, которые даже если и практикуют отдельные типы или виды новомодных гаджетов и активность в соцсетях, но радикально не меняют свое сознание, отношение к миру или общую картину мироустройства: мигранты-беженцы, ставшие проклятием для цивилизованной Европы, население всевозможных гетто, разного рода маргиналы. Количество таких групп или территорий, где правят уж совсем архаические или полуархаические, причудливо сочетающиеся с цивилизационно-передовым инвентарем, нормативы и практики, едва ли возможно установить. Но то, что они существуют и оказывают влияние, беспокоя обывателей в той же мере, как и власти, создавая проблемы и зоны неблагополучия, от которых не отмахнешься невниманием, — несомненно. Едва ли это станут оспаривать даже самые воодушевленные и убежденные идеологи-практики постиндустриальной (информационной) доктрины. Отмахнуться риторическими вздохами вроде: «Все равно рано или поздно...», «Неминуемо будут вынуждены...», «Так или иначе они все равно признают неизбежность, в противном случае будут обречены...» — некорректно и бестактно. Некорректно — так как это из разряда пророчеств и откровений, а любой, даже удостоверянный непреложной на сей момент аргументацией, футурологический прогноз — вещь скользкая. Бестактная же потому, что это есть проявление по отношению к невалидным (по нашим собственным критериям) группам людей и территориям европоцентристской гордыни. Примеров того, когда нами выдвинутая (для нас самих и нами же верифицированная) в качестве общемировой модель оказывалась полностью либо в своих основополагающих доктринах несостоятельной, исключаящей громадные геополитические регионы или игнорирующей вовсе иные варианты развития и эволюции, более чем достаточно. Среди самых выпуклых, не до конца изжитых (то есть все еще, как ни странно, в социо-историософских дискурсах) и очевидных — сценарий индустриальной эпохи.

Как известно, само понятие индустриального общества было введено в оборот Сен-Симоном в работе «Du système industriel» (1821–1822). В ней автор вполне в традиции своих французских предшественников (просветителей и энциклопедистов), трактующих все многообразие исторических и культурных практик лишь как доисторический, подготовительный, незрелый и недоразвитый опыт, ценность которого состоит исключительно в том, что он подготовил почву для явления правильной, даже идеальной модели развития всего человечества (французской, разумеется), рассматривает формирующийся на его глазах общественный уклад и те изменения, которые происходят в обществе в результате масштабного и интенсивного введения новых для того времени технологий (машинных) в производство предметов повседневного обихода, как *радикальную* трансформацию всей человеческой жизни и всего человечества. Переданная по наследству ученикам, среди коих и был снискавший славу в Европе О. Конт, идея уже в XX в. была подхвачена, развита и стала одной из основ построения общих социологически-историософских концепций. Развернутая версия была представлена Ж. Фурастье в работе 1949 г. «Великая надежда XX века». История человечества, по мнению последнего, проходит две стадии: традиционное, доиндустриальное общество (от сотворения мира до середины XVIII в.) и индустриальное (с середины XVIII столетия до современных Ж. Фурастье лет). Это было подхвачено, расширено, усовершенствовано и детализировано в многочисленных работах Р. Арона. Доктрина утвердилась и стала общепринятой. Практически во всех моделях — социологических, социально-философских, историософских, политологических, наконец, просто исторических, — трактующих развитие всего человечества как линейный процесс, который делится на определенные (по тем или иным признакам) этапы, этот разделительный рубеж непременно присутствует. Он может по-разному называться в различных теориях и дисциплинарных отсеках — промышленная революция, машинное производство, великая индустриальная революция, научно-технологический сдвиг, научно-техническая революция и др., — но суть остается неизменной. Споры вокруг того, когда он начался, в какие годы/века от Рождества Христова происходил в той или иной стране, как те или

иные народы проходили путь, — это уже частности, и принципиального значения, уверен, не имеет: фиксируем ли мы начало в Нидерландах в XV в. или в России в начале XX в.

Все можно свести примерно к следующему: повсеместное использование машинных технологий в производстве привело не просто к изменению в организации труда, к некоторым институциональным сдвигам, но и с неизбежностью к *радикальной* (излюбленное слово в подобных рассуждениях) смене и «ближайшего-миро-окружного» человека, и отдаленного (совокупной картины мира), да и самого человека как такового трансформировало. По сути дела создало иной тип человека, культуры, общества. Доиндустриальная эпоха сменилась индустриальной. Не буду сейчас останавливаться на том, насколько эта историко-софская модель применима и адекватна тому, что происходило в тех или иных сообществах и группах людей, канонически-идеологически европоориентированных. Но, уверен, возражений не вызовет, если я напомним, что большая часть населенных территорий Земли и соответственно бóльшая, неизмеримо бóльшая, часть людей (традиций, опытов социального обустройства) находится вне юрисдикции «индустриальной доктрины»: вся Азия, целиком Африка, вся Латинская Америка. Народы, населяющие эти регионы и континенты в последние два века, еще не прошли этап индустриальных революционных изменений. И, по всей видимости, уже не пройдут. Это почти точь-в-точь повторение популярной модели развития человечества: первобытный строй — рабовладельческий — феодальный — капиталистический. Отыскать народ, регион, культуру, где мы можем констатировать такой ход исторической эволюции, практически невозможно, зато исключений — весь мир или, по недавней маркировке, третий мир, в который входят *все*, кроме десятка фаворитов. Утверждать же, что именно этот десяток определяет всемирный и всечеловеческий ход истории, было бы заблуждением: история знает империи (государственные образования), срок жизни которых намного превышал век новоевропейских держав, да и по масштабу территориально-идеологических амбиций они не уступали современным лидерам, так же как и по тому, какое влияние оказали на дальнейший ход развития всего человечества. Кроме того, это не умершие, не разрушенные, не ликвидированные и не

аннулированные ходом развития традиции, но многие живы и продолжают в наследниках.

У меня нет стремления дискредитировать подобную (индустриально-технологическую) эволюционную разметку или указать на ее ложность. Она не более истинна (или ложна), нежели любая другая модель, притязаящая на тотальность, универсальность и всеохватность. Первостепенное значение имеют не конкретные составляющие доктрины, но откуда она исходит, каковы горизонты ее компетенции-юрисдикции, и почему, в принципе, она могла быть в *один день* артикулирована, а в *другой день* — верифицирована. Иными словами, не произносимое, но сам говорящий и предусловия его речи.

Именно под этим углом и имеет смысл рассмотреть постиндустриально-информационно-цифровую эпоху (доктрину, стратегию, культуру, общество).

*Пустые слова: смотрите, смейтесь, удивляйтесь и... присоединяйтесь*¹.

Цифровая эпоха, цифровизация, цифровая революция, цифровая культура, цифровое образование, информационная эра, информационная революция, информационное общество, культура информационного общества, информатизация, постиндустриальная эпоха, глобальная компьютеризация, информационно-технологический сдвиг, инновационно-технологический подход и т. д. — эти и многие, многие другие слова, выражения, словосочетания, дефиниции и концепции, использующие при фиксации своих основных смысловых позиций и установок данный вербальный набор (в различных комбинациях), последние лет двадцать стали чрезвычайно распространены. В повседневной речи и в обиходном саунде — в меньшей мере, чем в познавательно-образовательно-исследовательских практиках. Немаловажно и то, что они не просто вошли, но и прекрасно обустроились в политико-идеологической риторике, а значит, с неизбежностью участвуют в стратегиях государственного протектирования, а может быть даже в некоторых случаях и определяют их. Не берусь предполагать, насколько они, эти слова-бренды, значимы в масштабах

¹ Приведенная глагольная последовательность взята из надписи под очередным мемом, который взорвал Сеть, мгновенно став вирусным.

внутригосударственного или внешнегогосударственного *реального* устройства и являются «волшебными словами», гарантирующими «допуск и привилегии», но почти с уверенностью могу утверждать, что в области гуманитарного знания вообще и — социально-культурологически-философического, в частности — несомненно. Это из разряда маркеров актуальности, то есть из базовых и первостепенных установок любого научно-позитивного усилия, притязающего на внимание, поддержку (материальную и организационную в том числе) и участие (охват и количество привлеченных адептов). Иными словами, это на данный момент, безусловно, модная тематика, под которую в той или иной степени подгоняется едва ли ни всякая социогуманитарная проблематика. Информатизацией, цифровизацией, инновациями и другим так или иначе занимаются — думаю, что не ошибусь в своем утверждении, — специалисты-гуманитарии любого профиля, любой узкопрофессиональной спецификации. Когда слово/проблема становится слишком востребованной, да еще так или иначе спровоцированной властно-государственным импульсом, выходит на просторы «широкого общественного обсуждения», появления всевозможных глупостей и несуразностей не избежать. В нашем случае — с информатизацией-цифровизацией — так происходит в полной мере. Это становится очевидным, если выйти за пределы магии слов-выражений и попытаться понять, что за ними стоит, что они означают и, главное, как соотносятся с реальностью, с теми процессами, явлениями и состояниями, которые мы проживаем не сугубо публицистически-умозрительно (либо — художественно-фантазийно), но телесно-наглядно посредством собственных жизненных проектов и маршрутов.

Не стану биться за слова и пытаться ясно и точно очертить содержательную сторону всех этих терминов: что они охватывают, подразумевают, включают (или выключают), к чему относятся и в чем отличаются друг от друга. Полагаю, что в сегодняшней ситуации, в которой находится и мысль (по данному поводу), и сопряженные с ней действия-проекты — ввиду недлинной истории вопроса и, что важнее, отсутствия доказательств от реальности — все возможные смыслы, очерченные горизонты и компетенции дискурсивных репрезентаций, что подразумеваются под этими терминами и выражениями, допустимо рассматривать как единый комплекс

или общее проблемно-операционное поле, где замена одного слова другим не приведет к фатальным ошибкам. Цифровая/информационная/постиндустриальная эпоха/революция/культура — все это связано друг с другом и допускает метафорическую или терминологическую взаимозаменяемость.

Среди общепризнанных теоретиков и идеологов числятся хорошо известные практически каждому студенту российских вузов Дэниел Белл, Элвин Тоффлер и Маршалл Маклюэн. Однако не они сформулировали концепцию информационной/цифровой эпохи/общества, они лишь предложили общие установки и подходы, на основе которых в последующем стратеги и теоретики (из области экономики, социологии, политологии, кибернетики, информатики, компьютерного знания, логистики, искусственного интеллекта) обосновали эвристическую, а также, что немаловажно, практическую целесообразность концентрации научно-гуманитарного внимания на данной проблемной зоне и наделения ее автономным приоритетным статусом. Стоит подчеркнуть, что процесс активной теоретической разработки разнообразных аспектов информационно-цифрового комплекса шел одновременно с институализацией — учреждением соответствующих обществ разного уровня и жанра, введением рубрик и реестров в классификациях, формированием служб, отделов, комитетов, советов «при», вплоть до провозглашения на Ассамблее ООН в 2006 г. 17 мая Международным днем информационного общества, что явилось лишь формальным показателем того, насколько человечество (в лице своих ооновских делегатов) придает этому всемирно-историческое значение. Характерно, что среди инициаторов и активных пропагандистов использования информационно-цифрового ракурса при рассмотрении и исследовании любых социальных или социокультурных аспектов, равно как и антропологических, экзистенциальных, исторических и политических, лидируют наделенные учеными степенями представители Японии, США и Западной Европы. Среди зачинателей и активных пропагандистов, чьи взгляды (высказанные далеко не всегда в рамках легитимных научных дискурсов, но и в СМИ, выступлениях и докладах на съездах, конгрессах, сессиях различных далеких от науки организаций, рекомендациях, отчетах и экспертизах, выполненных по запросу того или

иною учреждения, и пр.), — Ю.Хаяши, которому приписывается первенство в использовании словосочетания «информационное общество» в качестве самостоятельного и неслучайного термина (1969 г.), З.Бжезинский («технотронная концепция»), Дж. Гэлбрейт («новое индустриальное общество»), Е. Масуда (который еще в 1980 г. в работе «Информационное общество как постиндустриальное общество» предрекал, что именно производство информационного продукта станет решающим и самым важным моментом развития человека, общества и культуры [Masuda, 1983, p. 68]), Б. Клинтон и А. Гор, М. Кастельс.

Многочисленные работы последнего можно считать неким итогом предыдущих теоретизирований по вопросам постиндустриального информационного общества и внятным последовательным изложением круга возникающих проблем. Прежде всего — общетеоретических, имеющих принципиальное (концептуальное) значение. Причем его мнение основывается в большей степени не на футурологических предположениях, но на пристальном и объективном внимании к процессам и явлениям реальности, которые либо уже произошли, либо разворачиваются на наших глазах. По крайней мере две его фундаментальные работы — «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» (1996–1998) и «Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе» (2001) — безусловно могут считаться основополагающими и принципиальными, а теоретическая аналитика проводится в рамках современной научно-познавательной (гуманитарной) процессуальности и при соблюдении соответствующих регламентов. Это использование легитимных методологических подходов, опора на широкий круг источников, стилистическая и терминологическая корректность, артикуляция и форма постановки вопросов-проблем и их последовательное обозрение, логическая обоснованность выводов, ну и широта взгляда, в поле зрения которого — всечеловеческая эволюция, в которой здесь-современность идеологически-риторически не заслоняет собой общие горизонты, но, напротив, обретает свое место. Уже на первых страницах М. Кастельс замечает: «Пророческие преувеличения и идеологические манипуляции, характеризующие большинство рассуждений, касающихся информационно-технологической революции, не

должны привести нас к недооценке ее поистине фундаментального значения» [Кастельс, 2000, с. 18]. Однако «в действительности, дилемма технологического детерминизма представляет собой, вероятно, ложную проблему, поскольку технология *есть* общество, и общество не может быть понято или описано без его технологических инструментов» [Кастельс, 2000, с. 46]; и чуть дальше, в сноске: «Технология не определяет общество, она воплощает его. Но и общество не определяет технологическую инновацию, оно использует ее» [Кастельс, 2000, с. 47]. В случае же с информационно-цифровой реальностью (= обществом) мы имеем дело прежде всего с семантически-символической средой, обслуживающей технологические аспекты, которые, в свою очередь, есть лишь спекулятивная эманация определенного типа общества (европейского, европейско-ориентированных зон), со всем комплексом способов моделирования и интерпретации ближайшего и отдаленного «миро-окружного», равно как и модернизация уже существующих мировоззренческих констант. А значит — она, сама среда, зависима от последних (хотя бы и в качестве первичной точки отсчета — дискурсивного начала). Пределы компетенции информационного общества (со всеми ее производными и юрисдикциями) очерчиваются прежде всего экономической областью и операционными институциями, ей соответствующими и охватывают топоры «исторически сформированного перестройкой капиталистического способа производства к концу XX в.» [Кастельс, 2000, с. 37]. Терминологически это выражается посредством различения «глобальной» и «мировой» экономик, глобальной экономики как субъекта исторического развития, а также глобальных урбанистических локусов (Токио, Лондон и Нью-Йорк) и сетевого структурирования. Подчеркну еще раз, что речь идет о семантически-символических регистрах, притязавших на онтологический статус, однако распространять компетенцию любых выводов, рассуждений, оценок, артикуляционных или процедурных последовательностей и интриг (или в широком смысле слова — событий), случающихся в этих регистрах, на другие регионы реальности, неправомерно и некорректно. Безусловно, мы можем говорить, рассуждать, исследовать глобальную экономику и Токио — Лондон — Нью-Йорк как процесс. В подобном рассуждении вполне приемлемо использовать

информационно-цифровую операциональность. Однако надо отдавать себе отчет о том, каков ее первичный статус (в той или иной культуре и традиции), как она взаимодействует с иными операционными (социальными, антропологическими, наконец, экзистенциальными и метафизическими) системами и в первую очередь вписана (легализована и легитимирована) в общую архитектуру жизнеустройства (в том или ином конкретном регионе данности). Поэтому Кастельс ставит правомерные вопросы темпоральной, территориальной и субъектной перекодировки, отталкиваясь опять-таки от новоевропейской модели реальности, и акцентирует внимание на тех сдвигах, которые здесь имеют место.

И еще на один момент хочу обратить внимание. На первых же страницах трехтомного труда «Информационная эпоха: экономика, общество и культура», М. Кастельс специально оговаривает, что будет понимать под ключевыми для исследования понятиями, каковыми является «знание» и «информация»: «я считаю необходимым привести в этой книге те определения понятий “знание” и “информация”, даже если такой интеллектуально приятный жест внесет некую произвольность в дискуссию <...>. У меня нет убедительных причин для улучшения определения *знания*, которое было дано Дэниэлом Беллом: “Знание — совокупность организованных высказываний о фактах или идеях, представляющих обоснованное суждение или экспериментальный результат, которая передается другим посредством некоторого средства коммуникации в некоторой систематизированной форме. Таким образом, я отличаю знание от новостей и развлечений”. Что же касается *информации*, некоторые почтенные авторы, например Ф. Махлуп, определяют информацию просто как передачу знаний <...>. Однако, как утверждает Белл, определение знания, принадлежащее Махлупу, кажется чрезмерно широким. Поэтому я должен присоединиться к операциональному определению информации, которое дал Пора в своей классической работе <...>: “Информация есть данные, которые были организованы и переданы” [Кастельс, 2000, с. 39].

Теперь можем приступить к собственно аналитическому обзору наиболее часто используемых понятий-дефиниций-слов и риторических схем, а также дескриптивных клише, которыми поль-

зуются при определении (исследовании и описании) информационно-цифровой реальности/эры.

Ни у кого не вызывает возражения, что информационное общество, что нарождается на наших глазах и контуры которого достаточно четко стали проявляться последние два десятилетия, — «это одна из концепций дальнейшей эволюции постиндустриального общества, главными продуктами которой становятся нематериальные активы (информация, знания, интеллектуальные навыки и т. д.)» [Батракова, 2013, с. 87]. Следовательно, речь идет о том сегменте (территориях и включенных-участвующих) общемирового пространства, а также о таких формах социальной (и экзистенциальной) активности, в пределах которых данные «нематериальные активны» являются аксиологически приоритетными, а связанные с их «опекой» (производством и обслуживанием) роды деятельности — привилегированными. Соответственно, для данного типа общества характерно такое общественное распределение труда, при котором большинство работающих занято производством, хранением, обеспечением циркуляции и потреблением информации. Среди отличительных особенностей подобного социального конструкта обычно называют следующие: возрастание роли информации и информационных технологий в жизни общества; увеличение числа людей, профессиональный интерес которых ориентирован на информационные технологии, на производстве информационного продукта/услуг и средств, обеспечивающих их функционирование; тотальная информатизация общества, которая предполагает в первую очередь повсеместное использование в повседневных практиках жизни телефонии, радио, телевидения, Интернета, традиционных и электронных СМИ; создание единого «глобального информационного пространства», то есть некоего типа общности (единства, целостности, гомогенности), которая «покрывала» или выступала бы некой метасистемой (метарегистром) по отношению ко всем разнообразным структурам реальности; и последнее, в качестве итога, — перевод различных структур, форм, вариантов и способов социального обустройства (политики, экономики, государственного устройства, религии, межчеловеческих отношений, памятования и др.) в это пространство, а также наделение его, такого информационно-цифрового регистра, статусом нормативной, эталонной, законодательной

и судящей инстанции. Один из адептов информационного общества, профессор Королевского университета в Белфасте У. Мартин полагает, что «информационное общество можно определить как общество, в котором качество жизни, так же как перспективы социальных изменений и экономического развития, в возрастающей степени зависят от информации и ее эксплуатации. В таком обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под значительным влиянием достижений в сфере информации и знания» [Мартин, 1990], а также что возникло (и существует) оно в пределах «развитого постиндустриального общества», характерного для Японии, США и Западной Европы. Причем в качестве критериев, по которым необходимо оценивать то или иное сообщество (причем не только территориально, государственно очерченное, но и те или иные социальные группы-страты, проживающие как в пределах означенного региона, так и за его границами), автор называет ощутимые трансформации в пяти значимых, с его точки зрения, сферах человеческой активности. А именно:

- в технологической, которая выступает для него фундаментальной, предопределяющей весь горизонт, данности, а значит и жизни, для человека; то есть она является точкой отсчета и одновременно универсальной формой координации всех вариантов (значимой или учитываемой при любых дефинициях и калькуляциях) экзистенциальной активности — при производстве материального и нематериального продукта, в образовании, в институциональных практиках, наконец, повседневности;
- в социальной, где доступ к информации и информационным потокам, или, напротив, отключение от них становятся движущей силой развития (как такового!) и одновременно индикатором качества жизни (и индивидуальной, и общественной), что в свою очередь ведет к «формированию и утверждению информационного сознания», то есть сознания, в архитектонике которого данные, информационные, регистры — стержневые;
- в экономике, в которой приращение продукта происходит за счет «увеличения информации и информационных потоков», или, пользуясь марксовой политэкономической

фразеологией, надстроечный сегмент выступает базовым, а вся производственная интрига закручивается (а иногда и исчерпывается) информационно-технологическим устройством (организационной процессуальностью);

- в политике, где, как предполагается, информационность не только является привилегированной площадкой, на которой разворачиваются соответствующие политические игры, но зачастую и единственным габитусом их, таких игр, обитания, что, как предполагается, весьма способствует развитию демократии (за счет возможности всеучастия) и достижению умирительного консенсуса между разнообразными, оппозиционными по отношению друг к другу в реальности группами и сообществами;
- наконец, в культуре, где существует необходимость признания культурной ценности информации посредством не просто участия в процессе, но и повсеместного утверждения этих ценностей, а также (необходимость) активного содействия использованию этой информационно-технологической машинерии в совершенствовании отдельных индивидов в не меньшей степени, нежели — общества в целом.

При этом ключевым моментом, пронизывающим все составляющие и отдельные сегменты всей системы, выступает коммуникация, которая базируется, а тем самым и определяется в своих операционно-смысловых горизонтах, на популярном сегодня постулате М. Маклюэна, что форма сообщения и средство, с помощью которого оно передается, и исчерпывают содержательно-смысловую составляющую сообщения [Маклюэн, 2007].

В ситуации информационного общества, под воздействием артикулированных социально-экзистенциально-антропологических постулатов, выполняющих функцию императивной идеологической догматики с неизбежностью, по мысли Дж. Мартина, происходят следующие и мировоззренческие, и конститутивные сдвиги:

- структурные изменения в экономическом проектировании и в конструировании производственных систем, организационных комплексов и процедур, где акцент

внимания смещается в сторону координации деятельности как отдельных индивидуумов, так и сообществ. Отсюда — интерес к разнообразным информационным теориям, кибернетике, логистике, математическому моделированию, калькуляции и упорядочиванию отдельных элементов, общей и частной иерархизации и каталогизации групп-сегментов;

- повсеместное распространение компьютеров и компьютеризированных технологий и инструментария в той же мере, как и делегирование последним максимального количества компетентностных экспертиз, а соответственно и отчуждение прав надзора и курирования от других инстанций и институций;
- тотальная информатизация и компьютеризация общества, а также активизация деятельности, направленной на подключение различных групп к данному регистру (образовательно-воспитательная дрессура, в которой равно важны и интенсивно осваиваются и идеологические и технологические составляющие);
- всяческая поддержка и со стороны государственно-властных инстанций, и со стороны привилегированных групп (посредством индексации «престижности») [Мартин, 1990].

Думается, что возражать либо спорить по каждому из приведенных выше теоретических догматов концепции информационного/цифровизированного общества, не имеет смысла. Упомянутые уважаемые авторы, уверен, прекрасно отдают себе отчет, *о чем* они говорят, пишут, какой именно аспект, ракурс, сегмент реальности (и индивидуальной, и общечеловеческой) подвергают теоретическому осмыслению, и едва ли полагают, что высказанные ими предположения и выводы, основанные на наблюдении и анализе определенного сегмента реальности и под определенным углом зрения, допустимо распространить на всемирность и всечеловечность, тем паче придать им вселенский масштаб. Напомню лишь некоторые из очевидностей: количество территорий и людей, функционирующих в данных теоретических и процессуально-идеологических «стилистиках»

по сравнению с общим количеством насельников Земли не так уж и велико. Пророчествовать, что все так или иначе в конечном счете будут вынуждены пойти одним путем, было бы некорректной бестактностью в научно-познавательном дискурсе. Но акцентирую внимание на еще одном моменте. А именно: анализируя и исследуя процессы информатизации существования современного человека, того, кто вполне, если не полностью погружен в эту стихию, кто с ловкостью пользуется всеми технологическими достижениями «информационной эпохи», освоился с инновациями в повседневности и научился мобильно откликаться на все нововведения, то есть житель передовых держав, городов, локальных зон, расположенных посреди невинно-девственных в информационно-технологическом плане регионов, вряд ли можно безапелляционно утверждать, что целостность его жизни, а значит и проективные установки целиком и полностью predeterminedены перечисленными «базовыми ориентирами». Даже скажу больше: собственно фундаментальные (экзистенциальные, эйдетические, культурные, декорационно-стилистические — в том числе связанные и с инструментально-операционной арматурой, социально-организационные, наконец, религиозные и мировоззренческие) позиции при подобной информационно-ориентированной трактовке реальности ни в коей мере не страдают и не терпят убытка. Большой наивностью — или чистым безумием — было бы полагать, что человек (жизнь человека), культура, экономика, политика, общество, государство, даже сама информация (понятая как «сведения, полученные из окружающего мира») целиком и полностью или хотя бы — в основных своих ориентирах — исчерпываются перечисленными «асpekтами». Экономика — это не только информация, сколько бы она не увеличивалась, а хотя бы «еще» и «вещь реальности», что должна быть «однажды» и «кем-то» сделана. Жизнь человека в ее целостности составляется из очень многих параметров-сегментов-составляющих; и какой из них ведущий или выполняет паттермальную функцию, а какие — ведомые и исполняют лишь указания Главного Паттерна, — вопрос неразрешимый, и всегда оптики наблюдения (позиции взгляда). То же самое можно сказать и про культуры, и про весь социум, и про коммуникацию.

Хотя информационную и цифровую размерность (равно как и информатизацию и цифровизацию) рассматривали в качестве единого символически-семантического дискурсивного комплекса, все же можно попытаться их развести. Впервые термин «цифровизация» ввел в употребление в 1995 г. американский информатик Николас Негропonte (Массачусетский университет) [Negroponte, 1995]. Однако реально процессы цифровизации, по крайней мере в экономике, начались уже давно (см. об этом, например: [Козырев, 2017; Халин, Чернова, 2018]). Мои коллеги по СПбГУ утверждают: «В настоящее время термин “цифровизация” используется в узком и широком смысле. Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. <...> Цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация информации отвечает следующим требованиям: она охватывает производство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь эффективным использованием ее результатов; ее результаты доступны пользователям преобразованной информации; ее результатами пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане; пользователи цифровой информации имеют навыки работы с ней. Цифровизация пришла на смену информатизации и компьютеризации, когда речь шла в основном об использовании вычислительной техники, компьютеров и информационных технологий для решения отдельных экономических задач» [Халин, Чернова, 2018, с. 47]. Приведенный пассаж, в котором авторы пытаются дать более или менее корректное с точки зрения научного дискурса определение цифровизации, — один из очень немногих успешных. Особенно, что касается «узкого смысла». Ключевым является «преобразование информации в цифровую форму», и как следствие, изменения, которые происходят в самой «информационной вселенной». В первую очередь это касается операционного технологического набора, того инструментария, посредством которого подобная информация «производится, транслируется и потребляется». Характерно, что в первую очередь это затронуло экономику, бизнес, образование и средства связи, то есть те об-

ласти, которые связаны напрямую с регулируемой и контролируемой коммуникацией (трансляцией-передачей). Есть и еще одна сфера, которая претендует на цифровую привилегированность — культура. Но, если опираться на официальные позиции, зафиксированные в российском федеральном проекте «Цифровая культура», то она, цифровизированная культура, никуда за пределы образовательно-воспитательных компетенций по сути дела не выходит (создать 500 виртуальных концертных залов, 450 цифровых гидов по лучшим выставочным проектам; провести 600 онлайн-трансляций и оцифровать 48 тысяч книжных памятников²). Но вот если обратиться к «широкому смыслу» в вышеприведенной цитате, то она едва ли удовлетворит не только научную пытливость, но и простой здравый смысл, который попытается доискаться «предметного смысла». «Тренд эффективного мирового развития» — это пустые слова, а последующие уточнения не проясняют ситуацию и не позволяют схватить предмет ни в его наличной, ни в его дискурсивной данности. Иными словами, когда мы пытаемся выйти за пределы сугубо операционно-технологические, то есть просмотреть цифровизацию не в качестве маркера определенного вида (типа) инструментальной оснастки, применяемой в различных областях человеческой жизнедеятельности, то не только понять или осознать, какой же род данности (антропологической, онтологической, гносеологической, экзистенциальной) за этим стоит, но даже и указать направление, по которому должен скользить исследовательский взгляд, практически невозможно.

Приведу еще несколько определений цифровизация: «Цифровизация — это интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать. <...> На практике эту концепцию уже давно знают и с успехом реализуют Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея <...>. Другими словами, цифровизация — это почти то же самое, что и автоматизация. Мы используем цифровые технологии, чтобы текущие организационные и бизнес-проекты стали эффективнее, качественнее и шли

² Сайт министерства культуры. URL: <https://www.mkrf.ru/about/national-project/digital-culture> (дата обращения: 10.11.2019).

в ногу с быстрым и развивающимся темпом жизни»³. Или: «Цифровизация — это есть переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств. «Процесс «цифровой трансформации» — это процесс перевода процесса в «гибкое» состояние из существующего» [Бедов, 2018]. Или еще: «Цифровизация — процесс перехода предприятия или целой экономической отрасли на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях»⁴. В образовании: «В настоящее время цифровизация проникла в образование. Викисловарь раскрывает содержание понятия “цифровизация” как “цифровой способ связи, записи, передачи данных с помощью цифровых устройств” <...>. Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов уточняют содержание этого понятия — это не только перевод информации в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера <...>. Т.е. можно сделать вывод о том, что развитие интернета и мобильных коммуникаций являются базовыми технологиями цифровизации» [Никулина, Стариченко, 2018, с. 109].

Можно было бы продолжить приводить мнения-определения различных специалистов, и теоретиков, и практиков, но и приведенного, уверен, достаточно (в подавляющем большинстве случаев слова могут варьироваться стилистически в зависимости от того, «кто говорит», «где говорит» и «по какому поводу»), чтобы вычленив предметно-объектную составляющую, то «совокупное означаемое», к которому отсылает «означающее», подразумевая его как род или регистр реальности. Это некий род инструментария, совокупность первичных (базовых) принципов устройства таких устройств (отличительный признак), а также места их применения (использования). В качестве вытекающих и ближайших следствий — структурные изменения процессуальности: «Цифровая трансформация — прежде всего, означает новые бизнес-процессы, организационные структуры, положения, регламенты, новую ответственность за данные, новые ролевые модели. Ключевой про-

³ Глобальная цифровизация. URL: https://ludirosta.ru/post/globalnaya-tsifrovizatsiya_2225 (дата обращения: 10.11.2019).

⁴ Цифровизация. URL: <https://www.bigdataschool.ru/wiki/цифровизация> (дата обращения: 10.11.2019).

цесс цифровой трансформации — Data Governance — стратегическое управление данными»⁵. Иными словами: инструменты плюс организация/управление процессом производства. То есть сфера операционная. Это, безусловно имеет место, и никаких оснований сомневаться в том, что данный процесс глобального, всемирного масштаба, нет. Тем не менее едва ли в этих пределах есть проблемы, вопросы или тематические пространства, которые заслуживали не только длительной и внимательной философско-метафизической проработки, то даже и сколь-нибудь взыскательного культурологического, философско-антропологического, историософского, да даже и теоретически-социологического радения.

Однако в последние годы, по крайней мере десять лет, цифровизация (так же, как и информатизация) в качестве некоей притягательной «познавательной константы» стала присутствовать не только в сугубо прикладных, исключительно практически ориентированных программах (связанных с технологиями производства тех или иных аспектов конкретных составляющих жизнеобустройства), но и там, где речь идет о фундаментальных, субстанциональных аспектах: идеологически-эйдетических, антропологически-экзистенциальных и онтологически-социальных. Цифровизация/информатизация выступает и символическим, и риторическим, и вербально-смысловым маркером тотальных трансформаций, которые являются всемирно-всечеловеческими, изменяя все и вся в жизни. «Цифровизация — это изменение парадигмы того, как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И технология здесь — скорее инструмент, чем цель» [Бедов, 2018]. Подтверждением тому выступают не только многочисленные дискуссии/изыскания разного уровня и компетентного представительства, но и многочисленные политически-государственные (в том числе и межгосударственные) проекты, в которых цифровизация становится апологетическим стимулирующим импульсом. И дело не том, насколько корректно (или бестактно и бессмысленно) само именование (используемый термин), с кем/чем он в тех или иных обстоятельствах деннотирует/коннотирует/ассоциируется.

⁵ Что такое цифровизация? URL: <https://www.e-xecutive.ru/management/itfor-business/1989667-cto-takoe-tsifrovizatsiya> (дата обращения: 10.11.2019).

В конце концов вербально маркировка того или иного «факта явления» случайна («связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту же мысль мы можем выразить проще: языковой знак произволен» [Соссюр, 2004, с. 70]) и зависит, пользуясь терминологией Ф. де Соссюра, не от констант языка, а от произвола или прихоти говорящего и его возможности утвердить свое речение в качестве нормативов языковой стилистики. Дело в другом: насколько то, о чем проговаривается, что подразумевается, что стоит под вербальными маркерами вообще имеет место быть.

Мне представляется, что все радикальное, кардинальное, глобальное, всемирно-историческое и прочее, что в риторическом арсенале цифровизации/информатизации непременно присутствует (в ракурсах «широкого смысла»), — это фикция. Род удобной, приятной для слуха (гладкой и кругленькой), ни к чему не обязывающей, ничего не гарантирующей и ни о чем по существу не говорящей речи. Это — пустые слова, завораживающая и прельщающая безответственность (в смысле: не предполагающая ответа или без вопрошания к кому-либо или чему-либо). Вид «авторской анонимности», который нам так хорошо знаком и стал привычен в политическом дискурсе. Он не предусматривает никакой действительности. А потому при первом соприкосновении с такого рода речением и при попытках провести какую-либо смысловую, либо фактурную редукцию-экспертизу невольно приходишь в недоумение, ибо против такой вопиющей несуразности и нелепости даже и возражать-то как-то стыдно, остается лишь смотреть, смеяться и удивляться. Ну а затем с неизбежностью — в силу того, что подобный риторически-стилистически-терминологический «регион» и «стиль» обретает в силу тех или иных обстоятельств статус судящей инстанции и показателя твоей лояльности к «ведущему тренду», «современности-актуальности», «вопросам первостепенной важности», «причастности к инновационным тенденциям», да и просто профессиональной пригодности, — и присоединяться. Количеству «включенных в обсуждение» вопросов-проблем, связанных с цифровизацией/информатизацией несть числа.

Однако расценить это просто как глупость, моду, безумие, обитель пустозвонствующих и при этом отменно зарабатывающих (цифровизация/информатизация — это сегодня почти безотказно действующий аргумент в пользу финансирования и со стороны государственных, и негосударственных, заведующих распределением средств инстанций) было бы заблуждением, ибо в действительности есть «о чем говорить» (по существу, не впадая в публицистику и в политическую риторику), в том числе и в пределах познавательного-исследовательских дискурсов, в той или иной степени метафизически инфицированных. И здесь возникает ряд проблем, которые неразрешимы (они здесь даже не могут возникнуть, ибо вынесены за скобки в качестве уже беспроблемной и общепринятой очевидности) в пределах собственной «цифро-информационной дискурсивности», но располагаются за ее пределами. А именно — условия возможности (место-время, ситуация, время, механизмы, обстоятельства) такой перекодировки миро-окружной наличности, в результате которой этот феномен стал не просто явленным, но и автономным, да еще и значимым.

Топос и габитус очевиден: новоевропейская социокультурная интерпретация/модель мироустройства (плюс регионы, ей подотчетные в той или иной степени) и соответствующие ей каноны/регламенты структуризации эйдетических и гносеологических горизонтов. Эпоха тоже очевидна: наша, в которой мы проживаем, где случились вербализация, артикуляция, автономизация и проблематизация цифро-информационной дискурсивности. И произойти это могло лишь в случае добровольного (или принудительного) принятия условий, которое можно разнести (разумеется, лишь в умозрении, не в реальной практике) по нескольким группам (гносеологически-эйдетическим концептуальным обстоятельствам).

Концепт информации. О фантастическом увеличении информации, которое происходит в последние полвека, той, что обрушивается на несчастные головы ныне живущих, ввергая их в фрустрацию, — это миф. Информации, получаемой человеком или сообществом из мира, не может быть больше или меньше, как не может быть больше/меньше космоса, больше/меньше воздуха или, наконец, больше/меньше времени. Если, разумеется, под информацией понимать *любые* исходящие из окружающего мира

импульсы, сообщаемые человеку/обществу сведения о том, что его окружает, которые воздействуют на него, так или иначе им воспринимаются, усваиваются, перерабатываются и участвуют в формировании его жизненных маршрутов, как ближайших, так и отдаленных. Подчеркну: любые, в любой форме и для человека/общества в целом, то есть взятом во всей полноте и целостности проявлений его витальности. Под информацией, несмотря на многообразие определений и подходов, а также, как постоянно указывают, на дискуссионность термина, в современном научном дискурсе имеют ввиду нечто иное. И познавательно-дискурсивные границы, в пределах которых расположился комплекс знаний и рассуждение об информации, были определены совсем недавно. Хорошо известно, что собственно слово *информация* было введено в научный оборот — через терминологическое именование и тематизацию — в конце 20-х годов XX века специалистом по электротехнике американцем Р.Хартли, а пионером весьма обширного сообщества разрабатывающих теоретические аспекты информации (информационных теорий) стал К. Шеннон, математик и инженер, предложивший в конце 40-х годов первый вариант информационной теории. Несмотря на большое количество концепций, подходов, ракурсов рассмотрения, аспектов исследования и др., практически все теории информации (которые в общей структуре позитивного знания значатся как подразделы прикладной математики, радиотехники, кибернетики и, опять-таки, информатики) следуют в фарватере, заложенном первопроездцами. В сегодняшних информационно-цифровых и практических, и умозрительных спекуляциях подразумевается примерно то же, что и в математически-кибернетически-радиотехническом комплексе. Такой концепт информации, а он, повторю, доминирует в рассуждениях, подразумевает, что таковой информацией, является то, что конституировано надлежащим образом в качестве среды обитания, равно как и вариантов трансляции, использует соответствующий инструментарий. Излишне добавлять, что подавляющее большинство исходящих из мира импульсов, что получает человек/общество в процессе жизни, игнорируется либо попадает в разряд «малозначащих» (а то и вовсе — ложных) обстоятельств, которые по сути дела лишаются права оказывать влияние на жизнь. Так в теории. Но в реальности — совсем по-другому.

И куда более значимо, что же учитывается человеком/обществом, влияет на его жизненные шаги, формирует его сознание и облик, словом, предопределяет его конкретное решение действовать так или иначе, — вопрос открытый.

Концепт коммуникации. Коммуникация — спекулятивно-умозрительный познавательный реестр не более архаичен, нежели информация. Хотя общие контуры подходов к исследованию, рассмотрению и трактовке сущностных аспектов были определены, так же как и векторы построения возможных теорий, уже упомянутым К.Шеноном (задана общая схема, которая включает следующие необходимые составляющие; без них коммуникация не может состояться в принципе: источник информации, формирующий информацию для передачи; передающее устройство, перекодировующих информацию в сигнал, канал трансляции, приемник информации, декодирующий сигнал обратно в сообщение и, наконец, адресат-получатель), весьма существенное влияние на современные представления о том, что такое коммуникация оказали модели, разработанные в рамках лингвистики, семиотики, аналитической философии, где акцент делается на синтаксически-семантических, отчасти интенциональных, а то и вовсе психологических аспектах, которые, как считается, значительно тематически и проблемно расширяют спектр приемлемых познавательных маршрутов. Безусловно, в рамках, допустим, работ, в которых проводится аналитика разнообразных социально-коммуникативных актов, во внимание принимается множество других аспектов, кроме «трансформаторной коробки» и всего, что связано с ее работой, однако, как мне кажется, схема все равно остается неизменной: есть отправитель, артикулирующий надлежащим образом информацию, есть соответствующий канал, по которому эта информация передается, есть средство (передачи/хранения) и есть, наконец, итоговое звено — получатель. Эта цепочка, сколь бы сложны и многоаспектны бы ни были входящие в нее составляющие, в какие бы запутанные отношения последние ни вступали друг с другом, как бы ни предопределялись вне коммуникативной цепочки диахронными или синхронными обстоятельствами, все равно остается неизменной. И канон предполагает, во-первых, посредника (медиа), во-вторых — структурированность информации и канала. Уверен, что подавляющее большинство наших

соприкосновений с миром (взаимодействий, коммуникативных актов, благодаря которым слагается наш собственный жизненный проект) не может быть в принципе разложено по такому сценарию. Вне текстов, вне знаков, вне «общепринятых» и получивших маркировку каналов-путей, и без всяких легально утвержденных посредников, за пределами коммуникативных ситуаций и вовсе без всякого внятного артикулированного смысла, также и в отсутствии четко сформулированной цели, еще остается очень много всего, что все равно «просачивается» сквозь регистрационные сетки культуры и «современного взгляда». Пренебречь этим, весьма, уверен, значительным «остатком мира», настаивать на том, что он незначителен, что с ним мы не взаимодействуем, не вступаем в контакт, не налаживаем коммуникацию и он не оказывает на нас существенного влияния, — было бы не только ошибкой, но и глупостью.

Статус субстанциональных и акцидентальных позиций. Несмотря на то что у истоков субстанционально-акцидентальной оппозиционной бинарии стоят древние греки, положившие начало европейскому эйдетическому горизонту и сделавшие первичную разметку, а также те смысловые и метафизические инновации, что были внесены в процессе христианского осмысления этой дискурсивной дихотомии в Средние века, в основе современной трактовки лежит все-таки классическая рациональность, благодаря которой был артикулирован и легитимирован концепт реальности. Субстанциональностью наделена вещь реальности, даже когда речь заходит о вещах ирреальных. Это утверждено в грамматической структуре европейских (латинской, германской, славянской и даже финно-угорской) групп, как она была впервые представлена в «Грамматике Пор-Рояля» [Арно, Лансло, 1990], где в популярной, доступной и понятной даже неискушенному в спекуляциях адепту было объяснено, что точка отсчета — это существительное, а все остальное — производное. И, следовательно, все как сугубо умозрительные, так и дискурсивные манипуляции суть в той или иной форме аналоги «манипуляции с вещами». Из этого же проистекают и все пространственные (метр) и темпоральные (сутки, секунда) координационные разметки. Классический же иррационализм (начавшийся со времен А. Шопенгауэра) не только не смог поколебать устои классической рациональности (хотя бы потому, что все

равно пользовался уже существующим, насквозь материалистическим дискурсивно-вербальным аппаратом), но и сколь-нибудь повлиять на существенные изменения в общей — популярной, признанной нормативом — картине мира. Интерес к вещи (вещности, телу/телесности, поверхности), вновь возрожденный едва ли не самым влиятельным мыслителем минувшего века Хайдеггером и особенно распространившийся в гуманитарном знании в последние лет тридцать, совсем не случаен. В случае же с информатизацией/цифровизацией хотя содержательная наполненность и субстанциональных, и акцидентальных зон сохраняется, так же как и их разделенность, однако аксиологический статус их — идеологически и *только* через аксиоматическое постулирование — меняется: ведущими оказываются акцидентальные разряды и зоны, ну а подчиненными — субстанциональные. Что, в общем-то, приводит к абсурду, ежели мы попытаемся эти зоны и эти статусы соотнести с реальностью жизни. Безусловно, в компьютерно-инетовско-виртуальной «реальности» все информационно-цифровизированные разметки (коим нет числа, ибо они касаются фундаментальных экзистенциальных зарубок — времени, пространства, взаимодействия предметов и форм, разрядов реальности, границ и пр.) имеют место. Но в реальности, в которой проживает современный человек даже и в самых информационно продвинутых местах, он все еще двигается в трехмерном пространстве, от прошлого к будущему, а режим его действий ограничивают 24 часа в сутки.

Архитектоника (концепт человека). В своей уже давно ставшей классической работе «Галактика Гуттенберга» М. Маклюэн провел экспертизу и калькуляцию тех изменений, которые произошли в империи человека с момента распространения книгопечатания. Справедливость его выводов едва ли можно оспорить. Разве что уточнить: речь идет все-таки о европейском человеке. Утверждать, что человек Китая, Индии или Африки при использовании печатной книги в своем обиходе прошел в эволюции те же самые этапы и, что существенно, пришел к аналогичной (или очень близкой) модели мироустройства, было бы не совсем корректно. Исходным моментом для Маклюэна — эдаким инвариантом, человеком естественным или как таковым — является человек в дописьменной культуре: «исходной точкой служит

пропорциональное соотношение между всеми чувствами» [Маклюэн, 2005, 46]. Среди них — аудиально, визуально и тактильно ориентированные. В процессе жизни именно соотнесение информации, полученной по этим каналам, и создает адекватное реальности представление об окружающем мире. Все вариации «чувственности» (по терминологии М. Маклюэна) формируют общую устойчивую архитектуру человека как автономной структуры в той же мере, что и совокупную общность, когда в ее конституировании задействованы все «роды активности», то есть визуальной, аудиальной и тактильной. Письменность, наряду с очевидными положительными моментами, весьма способствующими всестороннему и разноплановому совершенствованию человека, внесла дисбаланс в общую архитектуру. Автономизация визуальности, растянувшаяся на многие века и получившая окончательное завершение в книгопечатании, привела к тому, что и аудиальность, и тактильность стали рассматриваться как второстепенные, подчиненные. Во всяком случае именно визуальность закрепились в качестве привилегированной области. Ну а книгопечатание канонизировало, размножило и распространило по городам и весям один из вариантов визуальности, представив ее в качестве эталонной, окончательно дискредитировав другие «компоненты чувственности»: «Бессознательное — прямое порождение печатной технологии, все возрастающая куча отходов отвергнутого сознания» [Маклюэн, 2005, с. 83]. Это — одна из антропологических концептуальных идеологем, лежащих в фундаменте информационно-цифровизированных теорий. Другая — сам характер, а также способ обустройства такого, книгопечатного, «экзистенциально-антропологического» пространства. Оно составляется из автономных гомогенных сегментов, ограниченных по количеству (буквы), и подчиняется унифицированным правилам комбинаторики (грамматика, алфавит, технология производства, траектории движения). Аксиомой же выступает то, что этот регион, напрямую связанный именно с такого рода данностью, по ее схемам сформированный, выступает презентантом человека и человечности. Соответственно, антропологическая модель, которая априори принимается во внимание при формировании информационного/цифрового общества, а также при дискурсивно-спекулятивных умозрениях, учитывает лишь данный, аудиально-алфавитный набор ха-

рактистик. Что возможно лишь тогда, когда все остальные роды и каналы чувственности находятся в угнетенном подчиненном состоянии, либо полностью, либо частично дискредитированы. Однако, если мы в архитектуру человеческой данности включим еще и другие привилегированные зоны или регистры, базирующиеся на аудиальности или тактильности, либо по-иному начнем структурировать саму аудиальность — как, в общем-то, и происходит в реальной жизни реальных людей, — то получится совсем другая конфигурация. И это в пределах классической рациональности, где позитивным статусом продолжает оставаться субстанциональный полюс (предмет — вещь)! Если же в качестве базовой возьмем иную антропологическую модель — а таковых и в истории человечества, и в современном мире несть числа, так и вовсе провести ее согласование либо даже дискурсивно соотнести с основополагающими установками-ориентирами информационно-цифровизированной данности станет невозможно.

Теперь можно попытаться подвести итог всему вышесказанному. Цифровизация/информатизация, разумеется, не выдумка и не идеологический симулякр. Она имеет место быть и скорее всего будет. Однако, прежде чем рефлексировать над вопросами/проблемами, ею порождаемыми, надо осознать или хотя бы попытаться уяснить, где, как и почему это случилось. Регионально-культурно — очевидно: в новоевропейски ориентированной юрисдикции. Предметно — в технологии. Соответственно, это в компетенции технологов-практиков и сопровождающих их дискурсов. Те же аспекты, на которые я выше обратил внимание, не порождение или прямое следствие тотального или локального внедрения в нашу жизнь нового инструментария, но в большей степени контекст, почва, условия возможности.

Сквозными скрепами, на которых стоит информационно-цифровая машина, можно считать также концепт числа/цифры, а также активно распространяющиеся практики (тоже, кстати сказать, новоевропейские) — бухгалтеризация и «юриспрудизация». Но как в прошлом, так и в настоящем понятие числа может быть разным, о чем будет сказано ниже, бухгалтеризация — это вещь, уводящая в горизонты особого вида капиталистической сакральности, что требует отдельного разговора, ну а «юриспрудизация» — это одна из форм-технологий или механизмов реализации дискурса власти.

В качестве лозунга:

Бухгалтеризация (всей страны) + юриспрудизация (всей страны) = цифровая эпоха.

Р. С. Вышедшая в 1996 г., то есть до начала цифровизационного бума, книга С. Хантингтона нелюбима повсеместно. «Серьезными» гуманитариями не принимаются в расчет те прогнозы, выводы, теоретические положения и в особенности идейные предположения, которые, в общем-то, вполне укладываются в русло уже ставших классическими и не вызывающими дискуссий пророчеств О. Шпенглера о закате Европы. Тем не менее позволю все же сослаться на нее, вспоминая крылатое изречение учителя Куна, что и глупец может сказать правду: если не выводы, то наблюдения вьедливого журналиста над тем, что происходит с миром в последние сто лет, кажутся вполне обоснованными. Среди мифов-предположений, что человечество вступило в фазу формирования некоей «единой цивилизации» (разумеется, европейской и по сути, и по характеру, и по форме существования) и движется в этом направлении, есть и аргумент, что-де повсеместное распространение современных технологий производства жизни, а также фантастически возросшие и по количеству, и по характеру контакты между людьми должны с неизбежностью привести к гомогенной однородности различных цивилизаций. «Второе предположение основано на том, что усиливающееся взаимодействие между народами — торговля, инвестиции, туризм, СМИ, электронные средства связи вообще — порождает общую мировую культуру. Улучшения в транспорте и коммуникационных технологиях и в самом деле облегчают перемещение денег, товаров, людей, знаний, идей и представлений о жизни по всему миру. В том, что информационный поток между народами увеличивается, сомнений нет. Однако существует немало сомнений насчет влияния этого растущего потока... Неспособность торговли и коммуникаций породить мир и чувство единства созвучно с результатами последних изысканий в социологии» [Хантингтон, 2003, с. 53]. Иными словами, технологизация и интенсификация межкультурной коммуникации не привели ни к всеобщей вестернизации, ни к рождению всечеловечества. Общества и культуры-цивилизации как были, так и остаются во многом закрытыми

и непроницаемыми друг для друга. И то, что представители или адепты разных экзистенциальных предубеждений живут подчас бок о бок и пользуются одними теми же приложениями в своих одинаковых смартфонах, — ничего не меняет. Китайцы остаются китайцами, французы — французами, а арабы — арабами. Наивно полагать, что пользующегося архисовременными, вполне себе цифровыми приборами, привыкшего на полях сражения общаться с родными по скайпу террориста-смертника ИГИЛ (организации, запрещенной в России) *вдруг*, под влиянием «фантастических возможностей, которые открыл ему мир Интернета», посетит озарение, и он засомневается в правоте своих действий и не совершит злодеяния. Разумеется, нет!

А посему позволю себе предположить, что, как и в случае с различными волнами/этапами/стадиями/революциями (технологическими, промышленными, научными и пр.), информационно-цифровой прилив вне новоевропейской парадигмально-культурной юрисдикции ничем не закончится и ни к каким существенным (структурным, фундаментальными) радикальным сдвигам не приведет. Разумеется, и цифровая аппаратура завоюет мир и вытеснит всех конкурентов (со временем), и формы организации тех или иных сторон производства жизни могут повсеместно внедриться, но 7 млрд насельников Земли (а именно за счет их происходит прирост человечества) будут жить своими устоями и стилями, «встроив» в себя весь набор предлагаемых последними достижениями науки и техники «штуковин» (Бодрийяр).

Литература

- Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1990.
- Батракова Л. Г. Организация жизнедеятельности людей в информационном обществе // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 3. Том I (Гуманитарные науки). С. 85–87.
- Бедов А. Н. Цифровизации образования — внедрение в образовательный процесс. URL: <https://infourok.ru/cifrovizacii-obrazovaniya-vnedrenie-v-obrazovatelnyy-process-3371080.html> (дата обращения: 10.11.2019).
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

- Козырев А. Н.* Цифровая экономика и цифровизация в исторической ретроспективе. URL: <http://digital-economy.ru/stati/tsifrovaya-ekonomika-i-tsifrovizatsiya-v-istoricheskoy-retrospektive> (дата обращения: 10.06.2018).
- Маклюэн М.* Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего М.: Академический проект, 2005.
- Маклюэн М.* Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007.
- Мартин У. Дж.* Информационное общество (Реферат) // Теория и практика общественно-научной информации. Ежеквартальник. АН СССР. ИНИОН. М., 1990. № 3. С. 115–123.
- Никулина Т. В., Стариченко Е. Б.* Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление // Педагогическое образование в России. 2018. № 8. С. 107–113.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Халин В. Г., Чернова Г. В.* Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. № 10. С. 46–63.
- Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.
- Masuda Y.* Information Society as Post-Industrial Society. Washington: World Future Soc., 1983.
- Negroponte N.* Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, 1995.

От «информатизации» к «цифровизации»

Одним из основных нарративов общественного развития в последнее время становится «цифровизация», которая постепенно красной нитью пронизывает все пространства существования человека, все сферы его деятельности. Но совсем недавно постулировалось развитие общества как информационного, и в общественном и, соответственно, научном дискурсе обсуждались «актуальные проблемы информатизации» (образования, экономики, культуры и т. д.). Что же повлияло на переход от «информатизации» к «цифровизации»? Какие смыслы можно из этого извлечь? Как это связано с процессами глобализации? К какому обществу мы движемся, когда некоторые мыслители констатируют наступление общества постинформационного? В предлагаемой статье производится попытка дать ответ на эти и другие вопросы, проанализировать основные смыслы «цифровизации».

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, общественное развитие, цифровая экономика, цифровая культура, цифровое образование.

Если звезды зажигают — значит —
это кому-нибудь нужно

В. Маяковский

Стремительность изменений в современном обществе зачастую не позволяет осознать их значение в историческом плане, уловить основную канву их направленности, определить истинное их значение и внутреннее содержание. Многие из этих изменений мы принимаем как нечто должное, неумолимое и неотвратимое. Эта непреложность транслируется через средства массовой информации, забивает общественный дискурс, выносятся в научное обсуждение и истолкование. Так, например, в последнее время вдруг непреложным фактом оказалось развитие на глобальном уровне так называемых процессов цифровизации. Эти процессы неумолимо проникают во все сферы деятельности человека и пространства его существования — цифровая экономика, цифровая культура, а недавно — цифровой туризм. На официальном уровне постулируется неотвратимость развития общества по пути цифровизации, построения цифрового общества.

Стремительность, с которой происходит возникновение из небытия очередных «проектов» (а может быть, прожектов?), их смена (или замещение) для подавляющего большинства людей приводит к формированию образа бурного общественного развития, стремления к достижению общественного блага. Но так ли это? Нет ли за этим образом иного смысла, не того, который формируется и транслируется на уровне власти, на уровне управления обществом? Ведь если задуматься, то любое общественное изменение должно быть инициировано как общественная потребность, как совокупная потребность подавляющего большинства членов общества. А есть ли у среднестатистического гражданина нашей страны потребность в развитии цифровых форм различных видов своей деятельности и способов общественного существования? В ситуации, когда и привычная нам экономика находится в плачевном состоянии, есть ли непреложная потребность для общественного блага тратить усилия многих людей, средства (которые можно использовать иначе) и другие ресурсы для развития химеры под условным наименованием «цифровая экономика»? Ведь если есть насущная потребность в чем-то, то это создают и затем дают уже созданному наименование. Так, например, первые автомобили (в нашем понимании) получили название «самодвижущаяся повозка», затем «паровая повозка», что отражало сущность созданного сложного механизма. И потребность в нем действительно была — быстрее и дальше ездить, возить больше людей и грузов (нежели гужевого транспорт). Нам же предлагают развивать некую конструкцию под названием «цифровая экономика», при этом путаясь в трактовках и определениях этого понятия. Сначала появляется название, лишённое всякого содержания, а затем начинаются мучения по придумыванию этой конструкции содержания. Но и сейчас, когда уже несколько лет на официальном уровне мы реализуем национальный проект «цифровой экономики», большинство населения не может понять — а зачем ему это надо? Ему-то что с этого? Какой для него в реализации этого проекта сокровенный смысл? Какие насущные потребности будут удовлетворены с реализацией и превращением в жизнь этого глобального проекта? И вот здесь начинается приходить понимание того, что раз данный проект оформлен и реализуется, то это кому-нибудь нужно. Ищи — кому выгодно. Это непреложная истина.

В обществе, основанном на производстве и присвоении прибыли (прибавочной стоимости) немногочисленной группой людей, на эксплуатации человека человеком, любая деятельность может производиться только тогда, когда она приносит прибыль. И наше общество ничем от этого не отличается — реставрация капитализма превратило более-менее справедливое общество (конечно, и оно не было идеально) в некий проект, корпорацию, имеющую четкую направленность на получение прибыли. И все процессы последних почти трех десятилетий полностью этому способствуют — все сферы общественного производства сделать частными и получастными (приватизация, привлечение инвестиций); всех людей сделать собственниками (поэтому постоянно продлевается процесс приватизации жилья), чтобы каждый держался за свою собственность, а это есть один из действенных механизмов по разобщению людей, социальному расслоению; максимально снять с государства социальную нагрузку (повышение пенсионного возраста, сокращение бесплатного медицинского обеспечения, сокращение бюджетных мест в вузах и т. д., и т. п.); развивать частную инициативу, не развивая государственный сектор экономики (пусть производством благ занимаются предприниматели, а если не могут или не хотят — «заграница нам поможет» и завалит своими товарами). И эта направленность в общественном развитии находит отражение в трансформации социально значимых (даже стратегически важных для существования и развития страны) областях — медицине и образовании, которые на определенном уровне официального общественного дискурса превращаются в сферу услуг со всеми вытекающими последствиями (выйти на самоокупаемость, приносить прибыль). В общественный дискурс внедряются чисто экономические понятия, например «тренд», который замещает привычное для всех слово «тенденция», которое, в свою очередь, может быть заменено понятной любому человеку фразой «направление развития». Исходя из этих «направлений развития», современное российское общество постепенно и неотвратно встраивается в глобальную концепцию всеобщего потребления, формированием коего и занимаются усиленно на всевозможных уровнях — от официальных концепций развития до рекламы и маркетинговых компаний: если нет у человека потребности, то ее необходимо сформировать,

а затем начать удовлетворять, продавая зачастую ненужные ему товары и оказывая бесполезные услуги.

Но, так как индустриальный путь развития себя изжил, наглядным свидетельством чему служит глобальный кризис перепроизводства начала прошлого века и две мировые войны, капиталистический истеблишмент породил теорию постиндустриального общества, реализация которой привела к развитию нематериального производства и сферы услуг. Основным достижением развития общества по этому пути можно считать научно-технический прогресс, который в мире капитала имел целью получение прибыли. Это как раз и объясняет двойственность любой технологии, рожденной в ту пору, — военное и гражданское назначение: сначала получаем прибыль от удовлетворения потребностей военных, а затем переключаемся на гражданскую сферу и начинаем формировать потребности населения и тут же их удовлетворять. Поэтому и информационно-коммуникационные технологии со всей неизбежностью по этой логике должны были перейти из области утилитарного использования в область тотального применения как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни и досуге. Что, в принципе, и произошло — компьютер вышел за пределы вычислительных центров и стал одним из самых массовых повсеместно используемых устройств (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).

Конечно, нельзя отрицать то положительное, что дают обществу в целом и отдельному человеку в частности информационно-коммуникационные технологии — быстрый доступ к массивам информации (представленной в цифровой форме), неограниченное общение посредством электронной почты, разнообразных систем коммуникации (в цифровой форме). Но при этом за все надо платить — аренда каналов связи, оплата доступа в сеть Интернет, частичная оплата получаемой информации (платный контент, представленный на различных сервисах). Опять же — потребительская модель для получения прибыли, но уже не за продажу необходимых материальных благ (еда, одежда, коммунальные услуги, различные налоги на имущество), а за доступ к информации, представленной в цифровой форме.

В советское время и в нашей стране была эра научно-технической революции, научно-технического прогресса. Только в от-

личие от мира капитала эти процессы имели конечной целью развитие страны, служили достижению общественного блага. А этой концепции, если у человека нет потребности, то нет и потенциальной направленности на ее удовлетворение. Поэтому и развитие информационно-коммуникационных технологий оказывало влияние на развитие различных общественно значимых сфер человеческой деятельности — вычислительные центры в научных центрах и институтах, в военных структурах, в космонавтике (Центр управления полетами, бортовые системы), в статистических управлениях; затем, с появлением персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), — в бухгалтериях; конструкторских, архитектурных и проектных бюро.

Персонализация вычислительной техники привела к осознанию перехода общества в своем развитии к информационному, когда обработка информации, ее эффективное использование может быть обеспечено только с применением информационных технологий, ядром которых является ЭВМ и соответствующее программное обеспечение. Возникает понятие «информатизация», которое характеризует процессы внедрения информационных технологий в различные сферы деятельности человека [Фридланд, 2001; Шамин и др., 2015]. При этом в нашем обществе основной целью этих процессов выступает повышение эффективности соответствующих видов деятельности. Об этом же говорят и различные определения информатизации, которые рождаются в научной сфере, а сами процессы информатизации имеют научно обоснованный характер и реализуются как удовлетворение общественного заказа. Само понятие «информатизация» исходит из осознания информации как одной из ценностей в обществе, основанном на знаниях. Поэтому и процессы информатизации различных видов деятельности человека, прежде всего, исходят как ответ на запросы снизу на повышение эффективности деятельности, основанной на использовании информации. При этом учитываются основополагающие свойства информации — достоверность, актуальность, полнота, соответствие которым ложится в основу рационального использования информации на основе применения информационно-коммуникационных технологий. И ведь в базисе такого подхода находится как раз цифра как способ представления и обработки информации — при помощи цифры

человек придумал кодировать информацию и, соответственно, хранить, передавать и обрабатывать. По своей сути цифровое представление информации — это модель, под которую разрабатываются методы и соответствующие им технологии. Могли бы и при Чарльзе Бэббидже реализовать счетную машину, но технологическая база того времени не позволила...

В понятии «информатизация» есть смысл, так как информация несет в себе содержание — отражение в человеческом мозге окружающего бытия, всего сущего, как материального, так и идеального. Какой же смысл в понятии «цифровизация», которое с некоторых пор начинает вытеснять «информатизацию»? Какое содержание в цифре? Цифра отражает количественные, но не качественные представления; цифра — это способ представления информации, а не сама информация; цифра — это код. Поэтому можно сказать и по-другому — кодификация, а не цифровизация. Так почему и зачем в общественный дискурс настойчиво вводится понятие «цифровизация»? Ведь оно начинает пропитывать все и вся — цифровая экономика, цифровая культура, цифровой туризм, цифровое обучение и т. п. Как представляется, тому может быть объяснение в двух смысловых плоскостях.

Во-первых, мир капитала должен постоянно производить прибыль, но в сфере материального потребления прибыль бесконечно долго получать нельзя — рано или поздно произойдет насыщение рынков, и мир войдет в очередной кризис перепроизводства. Поэтому выход в цифровую сферу создает новый мощный рынок производства как услуг, так и товаров — только товаров не материальных, а виртуальных — цифровых. Информация в цифровой форме становится не просто товаром, а глобально доступным товаром, который проще производить, но еще проще потреблять. А это достигается только в обществе развитого Интернета, когда информационно-коммуникационные технологии становятся доступными на глобальном уровне, когда решена задача всеобщего погружения человечества в «виртуальный астрал», который становится и прибежищем от зачастую неуютного осязаемого реального мира, и истиной в последней инстанции («скажи-ка, Гугл...», «так говорит Википедия...»), и основным пространством общения, и самым простым каналом потребления (различные интернет-порталы по продаже «всего-что-угодно»,

заказ такси, заказ и доставка еды, образовательные ресурсы, виртуальные кинотеатры, электронные сетевые библиотеки, порталы по бронированию билетов и отелей и т. д., и т. п.). Зачем тратиться на печать и распространение газеты Times, если можно сверстать ее в цифровой форме и в единственном экземпляре разместить на сайте, доступном неограниченному числу читателей, которые имеют доступ в Сеть на своих персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах, подключенных по дешевым технологиям как стационарной, так и мобильной связи. И тогда потребление становится не просто массовым — оно становится глобальным. Попутно решается и проблема занятости. Куда деть лишние рабочие руки в эпоху автоматизации производства? Так появляются многочисленные самозанятые фрилансеры, блогеры, лайкеры, инстаграмеры, ютуберы и прочая и прочая... Массово людей (и прежде всего молодежь) вовлекают в эту безудержную цифровую индустрию — виртуальный карнавал и ярмарку тщеславия. И на этом на всем попутно (или изначально?) паразитирует реклама, ставшая поистине глобальной и при этом индивидуальной (технологии таргетингового маркетинга отслеживают все ваши действия в Сети и выдают на экран соответствующую контекстную рекламу). Попытки изоляции от «тлетворного влияния Запада» (например, суверенный Интернет в Китае), ограничение доступа к «вредному» или запрещенному контенту (например, блокировка интернет-ресурсов в России по решению Роскомнадзора) особо ни к чему не приводят — существует множество технологических решений для преодоления таких барьеров (смена доменного имени ресурса; использование прокси-серверов, VPN-соединений, браузера Tor для доступа к заблокированному контенту и пр.). Виртуальный цифровой мир изменчив и подвижен, поэтому не зря Сеть изображают в виде аморфного облака, которое может легко изменить свои очертания от любого дуновения ветра.

Но более тонкой и не всегда явной плоскостью осуществления цифровизации является попытка тотального глобального контроля — контроля над обществом. Тотальное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий позволяет оцифровать всю существующую информацию, разместить ее на различных ресурсах (контролируемых соответствующими структурами) и, соответственно, получить к ней неограниченный

доступ — кто владеет информацией, тот управляет миром. К тому же создаются условия, когда сам человек размещает цифровую информацию о себе (заполнение анкет в вождении обладать скидочной картой торговой сети, создание профиля на сайтах электронных магазинов или сайтах бронирования билетов и гостиниц), или создаются регламенты, когда ему приходится предоставлять информацию о себе для размещения в базах данных различных информационных систем (медицинские учреждения, страховые компании, финансовые организации, агентства недвижимости и пр.). Поэтому небеспокойные суждения о том, что власть имущие всегда могут получить информацию о любом человеке, хранящуюся в базах данных социальных сетей, банков и других информационных систем. И здесь мы приходим к мысли о том, что идеи о цифровизации выносятся в качестве лозунга трансформации общества на таком этапе его развития, когда подавляющее большинство населения «погрязло» в Сети и оставило свой неизгладимый «цифровой след». А начало этого этапа можно охарактеризовать следующими основными понятиями: большие данные (Big Data), нейронные сети, искусственный интеллект (не как противовес человеческому интеллекту, а как технология обработки и анализа больших данных), цифровой портрет. То есть в обществе помимо накопления больших объемов информации в цифровой форме разработаны и начинают эффективно применяться технологии обработки и анализа этих данных. И тогда начинается время «учетчиков» и «счетоводов»...

Как, например, это было в образовании. Ведь когда в середине 80-х в сферу отечественного образования пришел Компьютер (это была эпоха компьютеризации: дадим людям, а они пусть сами разбираются — зачем это надо), никто толком не знал, для чего он (кроме того, чтобы учить программированию да тексты набирать). Но затем появился интерес со стороны педагогов, и тогда началась информатизация — постепенно осваивая Компьютер и открывая для себя его возможности, педагоги-предметники в тесном сотрудничестве с учителями информатики и программистами стали создавать различные программы для использования в учебном процессе. При этом учитывались основные дидактические принципы, разрабатывались новые методики, которые не убирали из учебного процесса педагога, а позволяли умело сочетать тради-

ционные средства обучения и информационные технологии. В то золотое время информатизация возникла как процесс, инициированный снизу, направленный на повышение эффективности учебного процесса — процесса усвоения знаний и формирования умений. В связи с чем при внедрении информационных технологий прежде всего учитывались основные цели обучения. Но система образования — это не только учебный и воспитательный процессы (педагоги и ученики), это еще и процесс управления (чиновники и управленцы). И вот управленцы узрели и осознали всю силу Цифры (не информации) — если все перевести в цифру, то можно все посчитать, учесть, стандартизировать, ошаблонить. А еще можно оптимизировать — зачем нам много учителей/преподавателей, если учебный контент можно оцифровать и дать к нему доступ через Сеть. Вот тогда и начинается цифровизация — резко сворачиваются инициативы снизу и как генеральная линия провозглашается примат дистанционного обучения и цифрового учебного контента. Но чиновник/управленец не может почивать на лаврах — он должен постоянно оправдывать свое существование (а иначе может перестать быть нужным в отличие от тех, кто непосредственно занят в учебном процессе). Поэтому начинаются бесконечные и по большому счету бесполезные и бессмысленные реформы — появляются компетенции, фгосы (которые меняются с быстротой картинок в калейдоскопе) и прочие атрибуты напряженной реформаторской мысли. Разрабатываются все новые электронные информационные системы, в которые постоянно надо заносить различные данные (от публикаций до содержания учебных курсов). А на это надо тратить время и свои умственные способности. Что с успехом и осуществляется, не оставляя времени и сил для развития содержания обучения и методик его организации. Так и живем, а вернее — выживаем.

Но другой, более интересной, стороной цифровизации системы образования является возможность осуществления передачи учебной информации и контроля усвоения знаний с использованием технологий массовых открытых онлайн-курсов (МООК). А это уже массовый (тотальный) шаблонизированный процесс формирования стандартизированного «квалифицированного потребителя» (по Фурсенко). Это самый простой, но вместе с тем самый эффективный способ формирования одинаково мыслящей

человеческой массы, являющейся источником прибыли — «человеческого капитала» в современной терминологии (ну а как известно, капитал должен приносить прибыль).

В онлайн-курсы выносятся история и философия, появляются новые курсы по тематике «цифровой культуры». Не человек передает подрастающему поколению ментальность, мировосприятие и миропонимание, а бездушная система предоставляет оцифрованный учебный контент, который разбит на небольшие порции — так удобнее его освоить представителям поколений, возвращенным в условиях клип-культуры. Да и сама культура массово переходит в виртуальный мир — массово оцифровывается. В такой цифровой форме она представляет собой товар массового потребления — нет необходимости прилагать усилия, тратить время на подготовку и поход в музей, поездку в загородный парк с дворцами и фонтанами. Достаточно включить компьютер и, удобно развалившись на диване / в кресле, попить кофе/чай и между прочим потреблять виртуальный тур/экскурсию. Вырванные из пространства музея виртуальные цифровые образы не вызывают уже того пиетета, с которым человек упоенно блуждает по залам и погружается в атмосферу той или иной эпохи, пропускает через свою суть знаки культуры, запечатленные в экспонатах. Вместо передачи культурного кода через «оцифрованную культуру» происходит процесс потребления. Общественные институты культуры замещаются шоу и перформансами — трехмерные цифровые инсталляции, виртуальные туры с дополненной реальностью, светомузыкальные лазерные шоу. Эти «культурные поля», не став частью «культурного ядра», претендуют на его замещение, приучая человека потреблять всю эту бесконечно механически генерируемую (фразу «творчески создаваемую» применять здесь скорее всего неуместно) цифровую виртуальность. Которая, к тому же, отнюдь не вечна в отличие от предметов и объектов из бумаги, камня, холста, глины, металла и пр. Эту виртуальную культуру достаточно легко «выключить», нажав на рубильник на электрическом проводе. Она уязвима, так как зависит от «версии прошивки» операционной системы и программного обеспечения (того же браузера), состава оборудования, типа процессора и много от чего еще. А технологии стремительно развиваются в мире, ориентированном на постоянное потребление. Поэтому

образы «цифровой культуры» имеют свойство технологически устаревать и, соответственно, уходят в небытие. Но на их место приходят все новые, не позволяя человеку вырваться из водоворота постоянного культурного потребления.

Само пространство культуры, оцифрованное и помещенное в глобальное сетевое пространство, подвергается расчленению и дроблению — кажущееся разнообразие культурных полей, представленных цифровыми ресурсами и платформами, направленными на социальное взаимодействие, представляет собой тождественные и однообразные по своей сущности субстанции. Эти пространства сжимаются, замыкая на себя своих апологетов (пользователи разнообразных социальных сетей, твиттеров, инстаграмов, ютубов и прочая, и прочая). Даже детей увлекают в эти сети, в которых они бездумно лайкают и выставляют на показ свое еще не сформировавшееся естество. Незаметно меняются смыслы — на смену сетевой коммуникации приходит жажда показать себя, прославиться, получить как можно больше лайков. А что это как не одно из проявлений комплекса Герострата, потакание страсти к тщеславию?

Постепенная тотальная цифровизация создает условия для возможности тотальных подлогов и подделок. «Аналоговую» информацию подделать или исказить не так легко. Особенно, если она растиражирована (тираж книги, газеты или журнала; копии звукозаписей на виниловых пластинках / магнитных лентах; видео на кассетах и т. д.), — необходимо изъять все экземпляры и внести в них изменения. Цифра же дискретна, что делает ее уязвимой. Можно легко заменить один байт (или группу байтов) на другой — и уже это не те текст/фотография/видео. А если еще этот файл существует в единственном экземпляре и выставлен для всеобщего обозрения на сайте (например, номер газеты Times), то достаточно подделать его, и для всех это будет уже другая информация. Какое раздолье для фейков, подтасовок и подделок! Если бы Оруэлл знал эти технологии, то каким бы поистине простым был бы процесс переписывания (пересмотра) истории в министерстве правды...

Но сегодня не только пространства существования человека в обществе подвергаются цифровизации, но и сам человек. Целенаправленно в массовое сознание внедряются идеи чипизации человека. И это преподносится как великое благо и достижение

современной цивилизации — ведь можно контролировать здоровье и оперативно принимать решение о лечении, а по местонахождению чипированного человека быстро направить к нему скорую помощь; встроенный в человеческий организм чип не потеряется — он может заменить все пластиковые карты, электронный ключ к дверям, проездной документ, да даже удостоверение личности. Не поспоришь — все для удобства и комфорта. Однако этот же чип позволит отслеживать перемещение человека, контролировать его деятельность (Большой Брат следит за тобой) и отключать при необходимости те или иные цифровые сервисы. Конец приватности, конец свободе выбора — тотальный контроль и зависимость, а следовательно, абсолютная власть над себе подобными. Сбывается мечта «учетчиков» и «счетоводов» — нейронные сети смогут быстро отследить цифровой след объекта в массивах больших данных, а простое нажатие на кнопку позволить «отключить» человека от общества, сделать его изгоем или просто никем. Ведь его цифровые данные, связанные с чипом, можно исказить, а можно и удалить (а был ли мальчик?..). А можно запрограммировать массовые операции с цифровыми данными и вершить судьбы человеческие в масштабах города/страны/планеты. А люди сами идут в этот цифровой концлагерь — технологии массового воздействия и внушения хорошо известны и отточены, например, окно Овертона: то, что считалось немыслимым и было достоянием антиутопий, теперь воспринимается как одна из возможностей. И вот уже в качестве эксперимента сотрудники частной коммерческой организации позволяют внедрить себе чипы [Ермолаева, 2017]. За ними последуют другие [Грей, 2017; Хабибрахимов, 2017]. А там глядишь — и все под колпаком. И в один прекрасный день кто-нибудь из нас при авторизации в одной из бесчисленных «умных» цифровых систем перед глазами получит на экране, в лучшем случае, надпись «Ошибка 403 — доступ запрещен», а то и — «Ошибка 404 — такого человека нет»...

Квинтэссенцией цифровизации на сегодня служит китайский проект внедрения системы социального рейтинга (социального кредита), который начал реализовываться с 2014 г. в качестве пилотных проектов и должен быть внедрен по всему Китаю к 2020 г. [Гордеев, 2016; Кириллов, 2018; Рубченко, 2019]. Основано функционирование системы на тотальной слежке за гражданами в об-

щественном пространстве — производится постоянная запись с многочисленных камер наблюдения, а нейросетевые алгоритмы распознают и идентифицируют личность каждого запечатленного человека и оценивают его поведение в обществе (бросил мусор мимо урны — получи минус сто баллов, перевел старушку через дорогу — плюс двести баллов и т. п.), а данные заносят в его цифровое досье (те самые большие данные). Затем по этим данным создается социальный портрет гражданина — «плохиши» с низким или отрицательным балансом поражаются в правах (не принимают на определенные должности, не продают билеты на самолет), а «передовики социалистического соревнования» получают все самое лучшее (места для своих детей в лучших детских садах и школах, преференции при приеме на работу и т. п.). И ведь все подается как забота об обществе — как отмечается в постановлении Госсовета КНР «О планировании строительства системы социального кредита», «социальное кредитование... продвигает культуру искренности и традиционные добродетели, использует поощрение, чтобы сохранить доверие, и препятствует разрушению доверия в обществе» [Рубченко, 2019]. А по факту — тотальный контроль и управление человеком на основе обработки цифровых данных о нем. Но помимо того, что происходит «цифровое» расслоение общества, все эти цифровые данные можно взломать, подделать, а от этого могут пострадать реальные люди. А, может быть, все так и задумано? Обкатывают «социальную цифровизацию» на Китае, а потом распространяют «передовой опыт» по всему миру — по всему «свободному демократическому миру». Чем не претворение в жизнь антиутопий типа «1984»?

Нарративы цифровизации звучат в общественном дискурсе все чаще, охватывая все новые и новые пространства существования человека. Вслед за трансляцией этих идей в общество они начинают обсуждаться научным сообществом. И, что интересно, в подавляющем большинстве ни тени сомнения не возникает в необходимости цифровизации — в научном дискурсе идеи цифровизации находят свое обоснование и поддержку. А иначе и быть не может — научная деятельность полностью зависит от власти имущих, находясь на их полном содержании. Даже гранты на инициативные исследования выделяются только в том случае, когда они находятся в тренде, русле модных тенденций. Иное мнение,

критический взгляд на цифровизацию либо не будет поддержан (и, соответственно, допущен к обнародованию), либо не будет услышан, потонув в море голосов за (конъюнктура, однако).

Но, если задуматься, может быть, цифровизация есть процесс естественный, обусловленный генезисом всей человеческой цивилизации на планете Земля? Ведь даже в человеке — этом полностью аналоговом существе — можно обнаружить «цифровую» составляющую. Притом эта составляющая является антропологическим началом человека, определяющим самую его сущность — как физиологическую, так и ментальную. И этот базис формирования человека — его генотип, то есть гены, которые как раз и являются теми изначальными «байтами», из которых складываются «файлы-люди», а также «файлы-растения» и «файлы-животные». И эти «файлы» хранятся в «каталогах-селах», «каталогах-городах», «каталогах-домах», «каталогах-квартирах», которые, в свою очередь, размещены на «дисках-областях», «дисках-краях», «дисках-странах», а те — в «компьютерах-континентах», составляющих единую цифровую систему «Земля». И сам же человек в последнее время все настойчивее и настырнее пытается вмешаться в эти цифровые коды всего живого, изменить генотип, создавая генетически модифицированные организмы. Но пока есть еще общественные механизмы, моральные принципы, которые сдерживают вмешательство в человеческие гены (хотя это происходит косвенно через потребление ГМО-продуктов питания). Однако с такими темпами цифровизации не за горами то время, когда генные «программисты» приступят к программированию человека, модифицируя нас с вами в соответствии со своими представлениями и желаниями...

Литература

- Гордеев А. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга // РБК. 2016. 11 декабря. URL: <https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7> (дата обращения: 19.10.2019).
- Грей Р. Мнимые риски и реальные опасности вживленных под кожу микрочипов // BBC News. Русская служба. 2017. 8 августа. URL: <https://www.bbc.com/russian/vert-cap-40865221> (дата обращения: 19.10.2019).
- Ермолаева Н. Палец заменит смартфон. Шведская фирма чипировала раб-ботников // Российская газета. Федеральный выпуск № 72 (7238). 2017.

- 6 апреля. URL: <https://rg.ru/2017/04/05/shvedskaia-firma-vnedrila-v-ruki-rabotnikov-chipy.html> (дата обращения: 19.10.2019).
- Кириллов А., Русинова З. Как работает система социального доверия в Китае [Электронный текст] // ТАСС. 2018. 29 мая. URL: <https://tass.ru/opinions/5225841> (дата обращения: 19.10.2019).
- Рубченко М. «Научим Родину любить»: как работает китайская система социального рейтинга // РИА Новости. 2019. 19 мая. URL: <https://ria.ru/20190519/1553583356.html> (дата обращения: 19.10.2019).
- Фридланд А. Я. Об уточнении понятия «информация» // Педагогическая информатика. 2001. № 4. С. 28–36.
- Хабибрахимов А. Американская компания вживит сотрудникам микро-чипы для открытия дверей и покупки еды в автоматах // vc.ru. 2017. 25 июля. URL: <https://vc.ru/future/25396-tsm-microchips> (дата обращения: 19.10.2019).
- Шамин Е. А., Генералов И. Г., Завиваев Н. С., Черемухин А. Д. Сущность информатизации, ее цели, субъекты и объекты // Вестник НГИЭИ. 2015. №11 (54). С. 99–107

РАЗДЕЛ I

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Д. С. Артамонов
СГУ

С. В. Тихонова
СГУ

Историческая эпистемология в условиях цифрового поворота*

Статья посвящена медиапамяти как ключевому феномену массового исторического познания в цифровую эпоху. Анализируя цифровой поворот, авторы показывают, как историческое знание формируется сетевыми субъектами в условиях цифровой повседневности. Распределение исторического знания в социальных медиа происходит от ученого сообщества к обывателям, интересующимся историей. Пользователи осваивают цифровые способы производства исторического контента для выражения собственной версии исторической реальности, формирования исторической идентичности, самореализации и развлечения. Авторы выдвигают собственное определение медиапамяти как цифровой системы хранения, преобразования, производства и распространения информации о прошлом, на основе которой формируется историческая память индивидов и общностей. Медиапамять выступает виртуальным социальным механизмом запоминания и забвения, обеспечивающим движение разнообразных форм репрезентации истории в пространстве повседневности, расширение практик представления прошлого и коммеморации, а также увеличение число индивидов, создающих и потребляющих мемориальный контент.

Ключевые слова: историческая эпистемология, медиапамять, цифровой поворот, цифровое общество, социальные медиа, memory studies.

В современных условиях влияние электронных средств коммуникации на историческое познание огромно. Историческая информация переводится в цифровой формат, и уже не только архивы и библиотеки аккумулируют знание о прошлом, но и электронные хранилища баз данных. Письменная память уступает место памяти электронной, а развитие интернет-технологий предоставляет доступ к ней огромному количеству пользователей, которые, используя новые медиа, выступают сетевыми субъек-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ: 19-011-00265 «Социальное конструирование исторической памяти в цифровом мире».

тами исторического познания. Сегодня представления о прошлом формируются не только усилиями профессиональных ученых-историков, но и интернет-пользователями. Современное общество переживает мемориальный бум, связанный со способностью пользователей производить знание о прошлом и транслировать его при помощи новых медиа. Таким образом, память из личного и культурного пространства перемещается в сферу медиа, что позволяет говорить о появлении медиапамяти.

Познание истории в условиях цифрового поворота приобретает новые смыслы, методы и формы, что заставляет искать соответствующие подходы в рамках исторической эпистемологии. В итоге мы наблюдаем появление новых способов познания прошлого. Методы исторического познания, исторические источники, доступные ранее только профессиональному сообществу, под влиянием медиатизации становятся доступными все большему кругу лиц. Это приводит к перераспределению исторического знания от ученого сообщества к обывателям, интересующимся историей.

По мнению И. Т. Касавина, «историческая эпистемология является историческим исследованием познания и одновременно теоретико-познавательным анализом истории» [Касавин, 2000, 29]. Таким образом, исторической эпистемологией может называться историческое исследование познавательной деятельности, а также изучение специфики и проблем исторического познания. Учеными-историками данная дисциплина трактуется как часть теории исторического познания, а философами — как часть исторической теории познания. Если историческое исследование познания сегодня остается все еще уделом сообщества профессиональных исследователей, то теоретико-познавательный анализ истории выходит за его пределы, становясь интересным и доступным широким массам, ищущим и конструирующим свою собственную историю.

Говоря о цифровом повороте в познании истории, мы подразумеваем нечто большее, чем инструментальный эффект применения цифровых технологий в исторических исследованиях. Эпистемологическая проблематика цифровых технологий разворачивается не только и не столько в границах используемого объекта (инструмента, посредника, участника), но и в совокупности иных связей, прежде всего сетевых, которые составляют современное понимание того, что мы называем «знание». Знание не за-

перто в лаборатории или кабинете ученого, и если оно покидает ее стены, то встраивается в самые разные отношения, оказывая значительное влияние на ход социального развития и истории в целом. В этом смысле цифровой поворот грамотнее назвать социально-цифровым, определяя его не изобретением нового поколения способов передачи и хранения информации, а раскрывая невозможность противопоставления культуры и информационных технологий [Голубинская, 2019, с. 23].

Термин «цифровой поворот» описывает смену исследовательской ориентации в изучении познания и связывается с исследованием влияния форм коммуникации на производство знания. Классическая советская теории познания классифицировала знание на следующие виды: донаучное, житейское, художественное и научное. Критерий классификации есть метод познания. Типы познания постепенно сформировались в автономные когнитивно-культурные системы, выполняющие специфические функции (повседневный опыт, магия, миф, искусство, религия, право, философия, мораль, идеология, наука). Это стало причиной появления предметной классификации знания, подразделения его на повседневное, магическое, мифологическое, эстетическое, религиозное, юридическое, философское, этическое, идеологическое, научное. Традиционно исследователи обращают наибольшее внимание на проблему демаркации научного знания, однако остальные типы познания и его результаты также могут приходить в противоречия. Процесс познания сплавлен с процессами коммуникации и деятельности, которые он обслуживает. Нередко он является вспомогательным по отношению к осознаваемой и конструируемой телеологии, что акцентирует конечный результат и затемняет противоречия в разнотипной методологии познания. Но там, где важна чистота методологии познания, эти противоречия становятся очевидными (проблема веры и разума в средневековой теологии, конфликт долга и страсти в искусстве классицизма и т. п.). Сложность взаимных переходов и взаимной блокировки различных типов знания раскрывается в диалектике субъективного и объективного, индивидуального и коллективного, локального и универсального опытов.

Разнообразие видов знания было усложнено научно-технической и промышленными революциями. Тогда изменилась роль

научного знания. Оно стало основой технологического знания, которое определяется как прикладное естествознание без собственных познавательных задач, средств и методов: «целью учебного является создание проверенных знаний. Целью инженера или технолога является преобразование знаний в методы или продукты, в которых у людей есть потребность. Ученые действуют в сфере знаний. Инженеры и технологи действуют в сфере практики» [Pitt, 2002, p. 8]. Движение от научного к технологическому знанию стало ключевым для современной цивилизации. Оно сделало основы научного знания массовыми благодаря повсеместной трансляции через институты образования.

Научное знание сегодня является формальным: оно имеет письменную (текстовую) форму, особый стиль и жанры, а также специализированную сеть периодики и книгоиздания. Формальность знания зависит от институционального характера науки, структурные связи внутри которого формализованы, а неформальные сети отношений наслаиваются на структуры вертикальных иерархий. Неслучайно итальянские исследователи Дж. Дози и М. Лабини подчеркивают, что «в большой своей части знание — это не «информация», а организация, люди и «кластеры». Академическое исследование — это корпоративная практика, осуществляемая в рамках публичного финансирования, на страницах престижных, т.е. общественно-признанных научных журналов» [Dosi et al., 2006, p. 1450–1464]. Кластер научной корпоративной практики охватывает как формальные иерархии научно-исследовательских организаций, так и неформальные исследовательские сети — коллаборации и тематические группы исследователей, знающих друг друга, в первую очередь, «по трудам». Наука как производство научного знания есть особая система коммуникации.

В классических схемах теории познания донаучное, художественное и житейское знание не верифицировано специализированными иерархиями, субъективно и, в первом приближении, неформально. Однако автономные миры типов познания легко формируют каноны, типизируя производство соответствующих знаний именно благодаря появлению специализированных иерархий — корпораций юристов, служителей культа, правящих политических партий и т.п. В разных обществах эти корпорации имеют различное социальное значение — римские юристы пе-

риода античности, западноевропейские богословы, советская партийная номенклатура формировали различные механизмы влияния и формы контроля над производством социального знания через производства своего собственного «эпистемологического продукта». Иными словами, специализация типа познания всегда влечет за собой производство формального знания, и только в мире повседневности, на уровне индивидов, знание становится неформальным. В современном обществе формальное научное знание играет доминирующую роль, что не мешает ему подвергаться атакам в зонах притязаний других корпораций (идеологических или религиозных, например).

Обыденное знание (*ordinary knowledge*) в эпистемологии является маргинальной проблемой, разработке которой посвящено сравнительно небольшое число исследований. Одним из ключевых является коллективная монография «*Epistemology of Ordinary Knowledge*» под редакцией М. Л. Бианка и П. Пиккари [Epistemology..., 2015]. В этом труде М. Л. Бианка обосновывает концепцию, в соответствии с которой обычное знание — это форма знания, которая не только позволяет эпистемически получить доступ к миру, но также включает разработку моделей мира, обладающих различной степенью достоверности [Bianca, 2015, р. 3–38]. Особенность этой формы состоит в том, что обычное знание может быть надежным и релевантным, хотя оно не обладает строгостью знания научного. Его надежность задается полигностической структурой, включающей различные виды знаний: а) перцептивное/феноменальное; б) самопознание собственных психических состояний, содержаний и процессов; в) знание самого себя и становление понятия «Я»; г) знание других «Я»; д) косвенное и неперспективное знание мира.

Вопрос о том, как медиасреда меняет формирование обыденного знания, остается малоизученным. В первом приближении технические принципы оперирования контентом детерминируют эпистемические процессы, связанные с усложнением структуры сообщения. Средой формирования обыденного знания является мышление и устная речь. Подключение текста вызывает расщепление исходного синкретизма обыденного знания, повышение степени его рефлексивности и подчинение его жанровым нормам (литературным, документальным, журналистским), то есть на-

чальную формализацию. Подключение базовых элементов медиатекста (графических, аудио- и визуальных вставок) усиливает жанровую эклектику и расширяет возможности самовыражения пользователя, субъектоцентризма и субъективности сообщения.

Преобладание субъективных элементов в продвижении медийного контента фиксируется неологизмом «постправда». Политологи рассматривают постправду как «специфическое состояние политических культур» [«Политика постправды» и популизм, 2018, с. 15], где политические институты ориентированы на выработку рациональных мифологий и ритуалов в общем контексте легитимации и поисков солидарности в современном культурном многообразии. В политологическом дискурсе постправда всегда позиционируется как результат особой политики по манипулированию массами. Однако данный подход неоправданно узок. Во-первых, логика постправды есть более широкая, чем только политического, сфера, поскольку абсолютно все сферы сетевой активности подчиняются примату субъектоцентричных мнений, одновременно оценивающих ситуацию и мотивирующих читателей на ее изменение. Во-вторых, если агенты политической манипуляции отвлекаются на свою внутреннюю повестку дня, пользователи сетей сами повсеместно (и столь же эффективно) производят фейки. Массы с легкостью манипулируют собой самостоятельно и не без азарта.

Авторы определяют постправду как самостоятельный концепт медиадискурса, обладающий отрицательными коннотациями и подчеркивающий влияние интерпретаций по сравнению с фактографией. Коммуникативная сущность постправды сводится к эффекту веры, так как личностно-эмоциональное отношение к предмету сообщения для постправды принципиально. Постправда совмещает глобальное с приватным, персонализирует макрособытия и облегчает формирование их оценки для реципиента.

Постправда как трансляция субъективности основана на презентации личного субъективного опыта познания мира, то есть ее ядром является обычное знание, на платформе которого формируются личная история, личный опыт и личная правда, подменяющие объективные данные. Постправда не означает прямого забвения и обесценивания истины. Этот феномен возникает

в результате избытка информации, когда пользователь вынужден ориентироваться в массивах данных только через полную активизацию всех своих когнитивных способностей. Эмоционально окрашенное отношение выступает фильтром для потоков разнородного контента. Через постправду люди и познают, и одновременно выражают себя, создают идентичности и вступают в коллективные действия.

В культуре печатной книги неформальное знание развивается в стихии устной коммуникации, оно замкнуто в индивидуальных жизненных мирах; замкнутость неформального знания в них есть правило до тех пор, пока коммуникационные революции не обеспечивают индивидам новые инструменты создания собственных сетей.

Сети, которые индивид развивает на протяжении жизни, включают разные по качеству социальные связи, сильные и слабые (в терминологии М. Грановеттера). Социальные связи, существующие длительное время, требующие эмоциональной близости, доверия или обмена, он называет «сильными» [Granovetter, 1973, p. 1360–1380]. Первичная социализация и межпоколенческая коммуникация происходят именно в рамках сильных связей. Социальные связи, основанные на непрямых, случайных контактах, он называет «слабыми». Информация о мире за домашним кругом проходит через каналы сильных связей с трудом, поскольку они перегружены функциональной информацией. В это же время она проходит легко через каналы слабых связей (ситуативное общение с малознакомыми людьми). Поэтому слабые связи открывают лифты социальных мобильности: чем больше у человека непрямых контактов, тем шире его сведения о социальных возможностях. Проблема в том, что сильные связи индивиды строят активно, выбирая партнеров по общению, браку, бизнесу и т. п. Чаще всего слабые связи заданы жизненным путем: они зависят от смены мест проживания, включающих возрастные группы. Индивиды не выбирают одноклассников, коллег и, шире, не выбирают знакомых.

Повседневное знание транслируется как по сильным, так и по слабым связям. Очевидно, знание в сильных сетях имеет первостепенное значение для формирования индивидуальной картины мира и формирования стереотипов, поскольку оно опирается на

авторитет и закрепляется повторением. Но знания из слабых сетей, хотя они случайны и однократны, также способны оказывать радикальное влияние на мировоззрение своей инновационной информацией. Важно, что структура слабых и сильных сетей жестко ограничена пространственно-временными рамками, а также спецификой социального пространства (плотность населения, тип поселения, процедуры этикета), которые замыкают неформальное знание локальными рамками социальной группы.

Ситуация меняется коренным образом с распространением компьютерных сетей. Развитие интернет-сервисов дает пользователям все более совершенные инструменты управления коммуникацией. С их помощью индивид может развивать свои собственные сети любой конфигурации, имея минимальные знания о контрагентах. Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют пользователям небывалую свободу общения и сотрудничества. Однако коммуникативные пространства, которые они создают, не гомогенны. С одной стороны, они не похожи на конгломераты дискретных жизненных миров Модерна и более ранних эпох. С другой стороны, они далеки от нисходящих коммуникационных потоков институциональных иерархий, подпитывающих корпоративные сети. Эти пространства меняют способы рекрутирования и численность лидеров общественного мнения. Лидеры мнения перестают быть представителями корпоративных институтов. Их коммуникативный капитал — не уникальные знания, а высокая коммуникативная компетентность и способность производить мнения. Культура знания в социальных сетях (Facebook и др.) основана на культуре субъективного комментария на любые темы.

Сервисы социальных сетей аккумулируют усилия массы известных и неизвестных блогеров, почти мгновенно откликающихся на злободневные события, тиражируя информацию о них, наращивая ее новостную плотность и укрепляя общественный интерес, то есть наделяя событие резонансом. Известные блогеры легитимируют оценку сложившимся резонансным событиям, формируя тем самым повестку дня и воздействуя на общественное мнение, то есть фактически массив обыденного знания проходит фильтры авторитета известных блогеров, хотя эта когорта всегда остается открытой. Любой рядовой блогер, осветивший резонансное со-

бытие на новостном старте удачно, может оказаться в топе. Высокая работоспособность, привлекательность авторского стиля, актуальность тематики — все это способствует быстрому вхождению рядового блогера в топовый круг, осуществляемому весьма быстрыми (по меркам традиционной социальной мобильности) темпами. Важно, что приобретаемый авторитет конвертируем для внешних медиасред — СМИ и других социальных сетей, в первую очередь Фейсбука и Твиттера.

Повседневное обыденное знание, ранее бытовавшее преимущественно в устной форме и проникавшее в массовую культуру через систему культурных цензов, в условиях социальных сетей становится публичным. Оно получает новые механизмы влияния (лайки, репосты), не только обеспечивающие его массированное тиражирование, но и прямую включенность в процессы формирования репутаций и общественного мнения.

Таким образом, обыденное знание в социальных сетях имеет новую форму выражения (медиатекст), основано на личном опыте и субъективно (постправда), распространяется по целенаправленно созданным кластерам слабых связей, распределяется на основе новых инструментов легитимации верификации (репутационные системы социальных сетей). Данные тенденции общественно-социальных явлений в цифровом мире изменяют формы и методы коммуникационной деятельности медиа, придавая им мнемическую функцию. Медиа являются не просто носителями и хранилищем информации, они активно конструируют представления о прошлом, формируя историческую память.

В традиционном обществе инструментом идентификации личности служила родовая память, в которую также были заложены социальные нормы регуляции поведения: семейные традиции, исповедание религии, ритуалы, этикет, фольклор. Они составляли основу коллективной памяти, транслируемой в культуре того или иного сообщества. Коллективная культурная память, таким образом, представляла собой основу личного интеллектуального опыта человека и составляла его индивидуальную память. Переход от традиционного общества к индустриальному, а затем к постиндустриальному и информационному ознаменовался разрывом родовых связей, а, значит, и потерей родовой памяти, которая являлась началом исторической памяти.

Историческая память — это форма коллективной памяти, из которой индивид берет необходимую ему информацию о прошлом, формирующую его идентичность и мировоззренческие позиции. Сегодня историческая память аккумулируется в сфере медиа, что приводит к соединению медиа как инструмента познания с тем информационным содержанием, которым они наполнены.

В настоящее время изучение исторической памяти выделилось в самостоятельную область научных исследований, которые строятся на междисциплинарном подходе. Основоположителем мемориальной проблематики по праву считается М. Хальбвакс [Хальбвакс, 2007], который рассматривал память как продукт социализации индивида и его участия в коммуникационных процессах. Наследие М. Хальбвакса было востребовано во Франции в 1980-х — начале 1990-х годов, когда был реализован проект «места памяти» под руководством П. Нора [Франция-память, 1999]. Позднее его идеи получили продолжение в трудах Я. Ассмана [Ассман, 2004], выдвинувшего тезис о том, что прошлое никогда и нигде не передается просто от поколения к поколению, а всегда вновь и вновь пересоздается, реконструируется из социальной реальности. Особое внимание на процесс социальной коммуникации обращается у Дж. Фентресса и К. Уайкема, раскрывающих проблему соотношения индивидуальной и коллективной памяти в социальном и культурном контексте [Fentress, Wickham, 1992]. Исследования Алейды Ассман ставили своей целью рассмотрение вопросов, связанных с функционированием исторической памяти в различной социальной среде и причинами возникновения мемориальных конфликтов современности [Ассман, 2014; Ассман, 2016]. Влиянию медиа на социальную память посвящено небольшое количество исследований, одним из которых является коллективная монография «Silence, Screen, and Spectacle: Rethinking Social Memory in the Age of Information and New Media», изданная под редакцией Л. Фримена, Б. Ньенаса и Р. Даниэля [Silence..., 2014]. Авторы исследования отмечают, что новые социальные медиа меняют характер восприятия настоящего и прошлого, раскрывая прошлое через метафоры «молчание», «экран», «спектакль».

Memory studies как научное направление показывает, что наибольшую роль в деле формирования исторической памяти

играют представления большинства рядовых обывателей, сформированные массовой культурой, медиасредой, школьным образованием и научной литературой. Современные условия создания и воспроизводства информации, в том числе исторического характера, позволяют массам быть не только потребителями исторического знания, но и его создателями. Интернет-пользователи активно включаются в поиск и тиражирование знаний о прошлом, используют современные информационные технологии, интернет-ресурсы, социальные сети, наряду с традиционными историческими источниками, переводя архивные документы в цифровой формат.

В работах классиков исторической эпистемологии Г. Баттерфилда, А. Мегилла, Ф. Анкерсмита, Х. Уайта, Р. Козеллек, Н. Копосова, занимавшихся изучением проблем исторического познания [Шиповалова, 2018, с. 155], познание истории связывалось исключительно с деятельностью отдельных представителей исторической мысли и игнорировалась роль неформального знания в исторической науке. Между тем, с точки зрения массовости вовлеченных субъектов можно выделить три уровня познавательной активности в изучении истории:

- 1) пользовательский исторический опыт, присущий в данную культурно-историческую эпоху большинству строителей культуры, массам — реальным творцам истории;
- 2) способ познания и представления истории, свойственный мыслителям эпохи, оставившим исторические источники;
- 3) конструирование истории, проводимое усилиями профессионального сообщества историков.

В контексте данного исследования нам интересен именно первый уровень познания истории, так как в мире современных медиа он меняет свою структуру, технологии и способы производства исторического знания. Если ранее о нем говорили как об опыте «молчаливого» большинства [Брянник, 2010, с. 122], то сегодня, благодаря новым медиа, оно обрело «голос» и играет все большую роль в формировании представлений о прошлом.

Произошедшая медиализация общества привела к созданию особого механизма хранения, преобразования и трансляции информации, который изменил характер производства историче-

ского знания и практики забвения. Средства массовой информации и социальные медиа становятся не менее значимыми акторами создания нового представления о прошлом, чем профессиональные ученые историки. Изменились также сроки хранения социальной информации.

Вышеизложенное позволяет определить медиапамять как цифровую систему хранения, преобразования, производства и распространения информации о прошлом, на основе которой формируется историческая память индивидов и общностей. Медиапамять можно рассматривать как виртуальный социальный механизм запоминания и забвения, он имеет возможность предоставлять разнообразные формы репрезентации истории в пространстве повседневности, расширять практики представления прошлого и коммеморации, а также увеличивать количество создающих и потребляющих мемориальный контент.

Медиапамять подвергает историческое знание определенной селекции, включая в повестку дня актуальную информацию о прошлом и подвергая забвению то, в чем нет общественной потребности. Также происходит сегментирование исторического знания между различными элементами медиасферы, что выражается в разнообразии интернет-ресурсов исторической тематики, доступных пользователям, принадлежащих к разным целевым аудиториям.

Характеристикой медиапамяти является доминирование личной и семейной памяти, которая формирует представления о прошлом на основе личностных эмоциональных переживаний, принимаемых на веру. Биографические свидетельства и мемуаристика вызывают наибольший интерес современного человека, имеющего возможность рассказывать в социальных медиа и свою историю.

Медиапамять демократична и создается на основе свободного выражения мыслей и чувств доступными языковыми средствами. Пользовательские фотографии и документальные свидетельства играют одинаково важную роль в формировании представлений о прошлом, наряду с субъективным восприятием действительности и оценочными высказываниями. Попытки скрыть какую-либо историческую информацию или изъять ее из публичного доступа приводят к ее еще большему распространению, так как интернет-пользователи включены в ее распространение. Истори-

ческая информация, производимая и распространяемая индивидами, служит целям потребления лично ими самими; на ее основе индивид формирует свою собственную идентичность и мировоззренческую позицию.

Феномен, при котором человек активно принимает участие в процессе производства информации, потребляемой им самим, получил название просьюмеризм. Термин, введенный в оборот Э. Тоффлером в книге «Третья волна» для описания смешанной формы производства и потребления в трудовой деятельности доиндустриального общества и новой экономики постиндустриального типа, сегодня чаще всего применяется при характеристике современного процесса производства контента и материальных благ на основе сетевых форм взаимодействия производителей и потребителей, либо пользователей между собой.

Просьюмеры — это индивиды, которые, основываясь на принципе *Do it yourself* («сделай сам»), производят продукт, предназначенный прежде всего для собственного потребления, вне зависимости от того, оплачивается ли данное производство [Плотичкина, 2013, с. 66–79].

В современном обществе люди обладают достаточным количеством свободного времени, чтобы тратить его на создание информации или решение общепользовательских задач, рассматривая свою деятельность как развлечение. Использование ресурсов больших масс людей, организованных в сети Интернет, получило название краудсорсинг. Данный термин принадлежит Джеффу Хау, который понимал под краудсорсингом технологию социального действия, в основе которой лежит делегирование полномочий в решении разного рода задач толпе, объединенной на различных интернет-площадках [Хау, 2012]. Толпа выполняет творческие и интеллектуальные задачи: создает контент, обрабатывает научные материалы, разрабатывает идеи; она же их оценивает и путем голосования выбирает лучшие.

Данные коммуникационные технологии позволяют преодолеть отчужденность профессиональных исторических исследований от широкой общественности, так как позволяют включить ее не только в потребление, но и производство исторического знания. В настоящее время в рамках проектов публичной истории задействовано большое количество непрофессионалов, которые

под руководством специалистов, имеющих профильное образование, осуществляют репрезентацию исторического знания в формах, предназначенных для широкой публики (музеи, искусство, разного рода коммеморация, теле- и радиопередачи и т.д.) [Исаев, 2016, с.7–13]. Данная деятельность укладывается в концепцию гражданской науки (*Citizen science*), предполагающей проведение научных исследований с привлечением широкого круга волонтеров, многие из которых могут быть любителями, то есть не иметь систематического научного образования и профессиональной подготовки. Практики гражданской науки, опирающиеся на развитие цифровых технологий, реализуются в сфере не только естественных, но и гуманитарных наук, в том числе и истории, например краеведении, генеалогии и исторической реконструкции. Они осуществляются преимущественно энтузиастами и общественными активистами и представляют собой уже традиционные, ставшие привычными формы участия граждан в формировании исторической памяти. Цифровые технологии, социальные сети и интернет-площадки выводят этот вид деятельности на совершенно новый уровень, позволяя более эффективно вербовать участников, организовывать совместную работу, продвигать историческое знание и собирать финансовые средства на проведение мероприятий.

В области генеалогии можно привести в пример самый масштабный онлайн-проект, который реализуется на сайте «Family Tree & Family History at Geni.com». Его главной целью является создание единого мирового генеалогического древа при помощи пользователей.

Краудсорсинговые технологии с успехом применяются в историческом краеведении, традиционно привлекающим большое количество историков-любителей, активно использующих сегодня площадки социальных сетей и интернет-ресурсов, в том числе и Википедии, которая является самым ярким примером краудсорсинга. «Свободная энциклопедия», создающаяся рядовыми пользователями, — одна из самых массовых, динамичных и доступных онлайн-платформ по агрегации знания, в том числе и исторического.

Другой крупнейшей краудсорсинговой платформой по агрегации исторического контента является YouTube, в котором он представлен в видеоформате. Простейший поисковый запрос

на этом сайте по тегу «история» дает примерно 151 млн результатов, содержащих исторические фильмы и видеоролики, произведенные не только телекомпаниями и киностудиями, но и рядовыми пользователями. YouTube также стал важнейшей площадкой для пропаганды движения исторической реконструкции, позволив разместить более 189 тыс. тематических материалов соответствующего характера. Кроме того, большинство исторических клубов и фестивалей реконструкции прочно инкорпорированы в пространство социальных сетей; они дают возможность объединения в группы, упрощают процесс создания локальных сообществ, способствуют быстрому распространению информации. Только в социальной сети «ВКонтакте», по данным каталога сообщества «Историческая реконструкция и ролевые игры. Ссылки», насчитывается 1270 групп соответствующего профиля, в которых состоят десятки тысяч пользователей.

Одной из современных форм исторической реконструкции является виртуальное 3D-моделирование, позволяющее через компьютерные технологии оживлять прошлое. Упрощение программного инструментария сегодня дает возможность любому пользователю воссоздавать картину прошлого в цифровых моделях [Еремин и др., 2016, с. 111–116]¹. Однако не менее интересный пример виртуального моделирования исторической реальности пользователями представляют компьютерные игры соответствующей тематической направленности. Принцип открытых миров позволяет игрокам моделировать свою собственную историческую реальность в рамках игры, а издание инди-игр, использующих открытый исходный программный код, дает возможность пользователям создавать собственные воображаемые исторические миры.

Также возможность создания альтернативной исторической реальности предоставляет литература, где написание произведений в жанре исторической беллетристики, альтернативной истории, фэнтези уже давно перестало быть прерогативой профессиональных писателей, творчество которых дополняется их поклонниками, объединенными в фандомы и создающими фан-

¹ См. также: Технологии виртуальной исторической реконструкции. URL: <http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/04.htm> (дата обращения: 12.05.2019).

фики — литературные тексты, продолжающие или модифицирующие основной сюжет популярного литературного или кинематографического произведения. Среди фикрайтеров, авторов подобных сочинений, находится большое количество любителей истории, и исторические сюжеты регулярно становятся объектом их внимания.

Таким образом, можно констатировать, что сегодня производство исторического знания перестало быть монополией академических историков-профессионалов, а его распространение уже не столько задача средств массовой информации, сколько дело рук миллионов пользователей социальных медиа. Отказавшись от молчания, большинство пользователей осваивают цифровые способы производства исторического контента для выражения собственной версии исторической реальности, формирования исторической идентичности, самореализации и развлечения. Представления о прошлом и информация исторического характера, формирующие историческую память индивида, инкорпорированного в сферу медиа, позволяют говорить о появлении медиапамяти.

Литература

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
- Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Брянник Н. В. Историческая эпистемология и культурно-исторический подход в гносеологии // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. XXIV № 2. С. 112–129.
- Голубинская А. В. Цифровой поворот в теории познания // Российская общественно-гуманитарная наука перед вызовами современности. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Саратов, 2019. С. 22–29.
- Еремин И. Е., Боднарюк М. К., Вишневский А. В., Черкасов А. Н. Компьютерная историческая реконструкция // Ученые заметки ТОГУ. 2016. Т. 7. № 3. С. 111–116.

- Исаев Е. М. Публичная история в России: научный и учебный контекст формирования нового междисциплинарного поля // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2016. № 2 (33). С. 7–13.
- Касавин И. Т. Традиции и интерпретации. Фрагменты исторической эпистемологии. СПб.: РХГИ, 2000.
- Плотичкина Н. В. Просьюмеризм как политическая практика // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2013. № 3. С. 66–79.
- «Политика постправды» и популизм. СПб.: Скифия-принт, 2018.
- Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.
- Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2012.
- Шиповалова Л. В. Современная историческая эпистемология. Аналитический обзор направления исследований // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2018. Т. 1. № 4. С. 153–167.
- Bianca M. L. The Epistemological Structure of Ordinary Knowledge // *Epistemology of Ordinary Knowledge* / eds M. L. Bianca, P. Piccari. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015. P. 3–38.
- Dosi G., Llerena P., Labini M. S. The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called 'European Paradox' // *Research Policy*. Amsterdam, 2006. Vol. 35, no. 10. P. 1450–1464.
- Epistemology of Ordinary Knowledge* / eds M. L. Bianca, P. Piccari. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Fentress J., Wickham C. Social memory. Oxford: Blackwell, 1992.
- Granovetter M. S. The strength of Weak Ties // *American Journal of Sociology*. 1973. No. 78 (6). P. 1360–1380.
- Pitt J. Scientific and technological knowledge: what they have in common and what are differences // Школа и производство. 2002, № 3, С. 7–9. (In Russ)
- Silence, Screen, and Spectacle / eds L. A. Freeman, B. Nienass, R. Daniell New York; Oxford: Berghahn, 2014.

Число в античности, цифра в современности*

В статье утверждается, что существуют понятия, отражающие ключевые характеристики мировосприятия той или иной эпохи. В отношении античности в качестве такого понятия автор статьи выделяет «число», а для современной цифровой эпохи — «цифра». С одной стороны, автор анализирует характер античного понимания числа и указывает на неотъемлемую связь между математическим и мусическим в греческом мировосприятии, ссылаясь на подходы античных ученых и метафизические воззрения античных философов. С другой стороны, автор выделяет основные черты современной эпохи, проявившиеся благодаря процессу цифровизации, охватившему в настоящее время фактически все сферы человеческой деятельности. Посредством анализа исследовательских текстов из области цифровых антропологии и гуманитаристики, а также работ, посвященных проблемам цифрового и виртуального потребления, автор обозначает круг проблем современной эпохи и подтверждает свое предположение о том, что цифровое измерение является ключевым в описании характера современности. В заключение в статье сопоставляются понятия числа и цифры в качестве архитектурных принципов, и делается вывод о том, что основные устремления античности и современности схожи и состоят в осознании мира как целого, но реализуются двумя совершенно разными способами.

Ключевые слова: число, античная философия, античное мировосприятие, знание, информация, цифра, цифровая эра, цифровизация.

Число в античности

Осмысление существенных черт и, как следствие, реконструкция теоретического основания той или иной исторической эпохи в ее своеобразии не в последнюю очередь становится возможным посредством обнаружения и анализа ключевых понятий, эту эпоху характеризующих и конституирующих. Набор таких понятий для каждой эпохи различен, а если понятия и переходят от

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-011-00281 «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

одной эпохи к другой, то, как правило, соответственно меняются их объем и значение.

Для античности такими конституирующими понятиями являются основные «слова» великих философов: «космос», «единое», «логос», «гармония» и т. п. И одно из ключевых в данном ряду — понятие «числа». В истории философии оно, как известно, впервые упоминается в связи с учением Пифагора, а впоследствии подхватывается Платоном, Аристотелем, неоплатониками и т. д.

Для нас несущественно, действительно ли Пифагор утверждал, что все сущее есть число, или, как полагают некоторые исследователи [Жмудь, 1990, с. 159–165], автором учения о числе был Стагирит. Важно, что понимание сущего сквозь призму математики и числовых соотношений является определяющим для греческой мысли. Доказательством этому служит и платоновская космология, изображающая космос как геометрический организм, и учение неоплатоников, которые различают метафизические и арифметические числа и считают при этом первые архетипами вторых, а также первоначалами вещей, и характер научных занятий античных механиков, физиков и астрономов, с помощью математических средств «спасающих феномены». Особое значение имеет и то обстоятельство, что греческое истолкование космоса неотделимо от музыкального и математического подходов к сущему: «Мир как “геометрический организм”, который ум усматривает в движении небесных тел, и мир как музыкальная гармония сходятся в единый космос, строй и движения которого насквозь определены числовыми соотношениями» [Ахутин, 2007, с. 297].

Для пифагорейцев, по свидетельству Аристотеля, число есть сущность всех вещей, начала математики суть начала всего сущего, все по своей природе уподобляемо числам, и числа — первое по природе [Аристотель, 1983, с. 75–76]. Для Платона в основе космоса лежит «прекраснейшая объединяющая связь», такая, которая «в наибольшей степени единит себя и связуемое», а именно пропорция [Платон, 1994, с. 435]. Античные астрономы в своих исследованиях небесных сфер ради спасения феноменов [Duhem, 1994], то есть сохранения в памяти и фиксации в теории являемого, выдвигают чисто математические гипотезы, в основе которых лежат строгие геометрические конструкции и комбинации из кру-

говых и равномерных движений. При этом математические подходы к решению физических, астрономических и метафизических задач в античности предполагают гармоническое, то есть музыкальное созвучие. Греческое математическое неотделимо от мусического. Как подчеркивает А.В. Ахутин, «греческая аритмология <...> есть прежде всего теория пропорций <...> и так называемая геометрическая алгебра <...>. Эта арифметика не просто связана в истоках с теорией музыки, но первоначально и мыслится как элементарная теория музыки (соответственно — элементарная космология), и сохраняет эту архитектурную печать на протяжении всего развития, вплоть до создания теории конических сечений» [Ахутин, 2007, с. 296].

Цифра в современности

Если временные рамки классической античности, видимые на историческом расстоянии, не вызывают сомнения, то понятие современности является, несомненно, куда более проблематичным. Поэтому, избегая необходимости давать строгое определение современной эпохи, ограничимся высказыванием, согласно которому «современность не есть нейтральное темпоральное понятие, но понятие из области важного и имеющего к нам непосредственное отношение» [Morley, 2009, p. 3]. Смысл и историческое значение современности в полной мере удастся оценить только нашим потомкам, и все же уже теперь можно утверждать, что в противовес греческому конституирующему понятию «числа» и осмыслению космоса как средоточия числовых соотношений современная эпоха в своем архитектурном основании может быть теоретизирована посредством понятия «цифры» и анализа процесса так называемой «цифровизации».

Следует заметить, что понятие «цифровизации» до сих пор не вполне устоялось не только в отечественной, но и даже в англосаксонской культуре, свидетельством чему могут служить подчас встречающаяся в литературе путаница относительно употребления сходных и все-таки принципиально различных понятий «digitization» и «digitalization» и, соответственно, целый ряд статей, имеющих намерение с этой путаницей разобраться. Понятие «digitization» имеет более узкое и специальное значение оцифровы-

вания, перевода в цифровой формат, тогда как «digitalization», собственно цифровизация, — понятие более общее, указывающее на запуск различных процессов в бизнесе, образовании, медиа, спорте и ряде других социальных сфер с использованием цифровых технологий. В то же время синонимичными являются понятия «цифровой трансформации», «цифровизации» и «диджитализации» [Brennen, Kreiss, 2014; Bloomberg, 2018].

В самом общем виде под понятием «цифровизации» понимается внедрение в различные сферы человеческой деятельности новейших цифровых технологий, имеющих в своей основе систему кодировки и передачи информации, позволяющую совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки времени [Романова, 2017]. Таким образом, очевидно, что ключевое значение в разработке и внедрении цифровых технологий имеют операции с информацией.

Для уяснения смысла понятия «информация» целесообразно обратиться к введенному Б. Расселом в 1910 г. различению знания на два вида, прямое и косвенное, или «знание-знакомство» и «знание по описанию». Последнее, знание по описанию, дает исчерпывающее представление о том, что есть информация по своей сути [Borgmann, 1999, p. 14]. А. Боргманн подчеркивает, что информация — это всегда знание о чем-то, но никогда не знание чего-то. Кроме того, информация предполагает особую форму обращения с пространством и временем, в результате чего близкое становится дальним, и наоборот. «Информация обычно предполагает сведения о том, что что-то где-то в другом месте и как-то иначе обстоит, и это-то и делает информацию полезной и интересной» [Israel, Perry, 1990, p. 4].

Когда дело касается информации, нивелируется само различие между прямым и опосредованным знанием, сглаживается и различие между близостью и удаленностью объекта познания. И это свидетельствует не о несовершенстве познания как такового, а о свершившейся в ходе исторического развития утрате значений: «Культурные ландшафты, измерения и различия растворяются. Каждый оказывается индифферентно соотносен со всеми и всем. Этот процесс начался в Новое время, а сейчас посредством информационных технологий, он вот-вот достигнет кульминации» [Borgmann, 1999, p. 15].

Информация приобретает статус ключевого ресурса современного мира. Ежесекундно генерируются огромные массивы цифровых данных, аккумулировать, структурировать и анализировать которые является нетривиальной задачей и важным навыком как в бизнесе, так и в других сферах социальной жизни. Именно поэтому одним из ключевых процессов цифровой трансформации можно считать стратегическое управление данными (Data Governance). Не менее важным навыком является цифровая этика, позволяющая правильно распорядиться полученными сведениями. Информация в современную эпоху является самодовлеющей ценностью, а следовательно, возможным предметом противозаконных и безнравственных действий, в крайних формах получивших название цифровой преступности и цифрового терроризма [Taylor et al., 2014]. Новейшие цифровые технологии не только позволяют аккумулировать информационный ресурс в виде различного рода данных, но и обеспечивают инструментарием для управления этим ресурсом в самых различных сферах социокультурной деятельности: бизнесе, образовании, медиа, науке и т. д.

Основные черты цифровой эпохи

Как изменился мир с наступлением цифровой эры? Бытие в цифровую эпоху приобрело новые очертания: всеобщая исчисленность, учет и, как следствие, прозрачность целого ряда социальных и экономических процессов, пространственно-временная равномерность и преодоление какой-либо положительной величины, выражающей скорость передачи данных и их распространения, возрастание уровня конкуренции, в которой побеждает тот, кто владеет большей и более значимой информацией и умеет быстро и «эффективно» ею распорядиться.

Рекламные слоганы компаний, предлагающих услуги по цифровизации бизнеса, заявляют: «Клиенты — один из основных драйверов цифровизации», призывая к так называемой клиенто-ориентированности бизнес-процессов. Примечательно, что клиенты для бизнеса — это не частные лица со всеми их психологическими, социальными и другими особенностями, а это цифры и показатели, критерии и точки на диаграмме. Клиент теперь —

и критерий эффективности, и потребитель, и двигатель прогресса. Следовательно, не ориентироваться на клиента значит отставать от современности.

Еще один слоган, предлагаемый разработчиками информационных технологий бизнес-сообществам, звучит следующим образом: «Компании бывают быстрыми или мертвыми». Посредством такого или подобных воззваний руководителям предприятий внушается, что, если предприятие не использует возможности современных технологий, не адаптируется к сумасшедшему темпу и особенностям ведения бизнеса в цифровую эпоху, оно не сможет конкурировать с теми, кто уже это делает. Таким искусственным образом стимулируется спрос на все более быстрый продукт и все более мощные и емкие информационные ресурсы. Формируются новые ценности оперативного принятия решений, высокой адаптивности к моментальным изменениям, гибкость, скорость и т.п. «Чтобы быть успешным, нужно быть быстрым и гибким: меняться не тогда, когда есть возможность, а тогда, когда есть потребность» — гласит один из призывных лозунгов разработчика цифровых технологий terrasoft.ru.

Помимо скорости реализации процессов и быстроты реагирования на изменения в среде, новыми ценностями цифровой эпохи, клиентоориентированности и моментального отслеживания различных показателей объектов экономических действий, требованием к современной бизнес-структуре является коллективность принятия решений. Разработчики информационных технологий предлагают высокоэффективные облачные технологии для совместной работы над проектом из разных географических точек.

Прогрессивное влияние цифровизации испытывают на себе не только бизнес-сообщества. Несомненны преимущества, которые цифровизация может предложить науке и культуре. Фиксация экспериментов в цифровом формате позволяет ученым облегчить воспроизводимость этих экспериментов, тем создавая более подходящие условия для анализа их результатов. Что касается культуры, то благодаря цифровым технологиям появилась возможность сохранять уникальные документы, произведения искусства, исторические реликвии и прочие артефакты [Gray, Rumpel, 2015, p. 1319].

И все же возникает вопрос. Что же является двигателем упомянутых процессов всеобщей цифровизации: разработчики программ, предлагающих их бизнесу, или бизнес, который заказывает эти программы специалистам по компьютерным технологиям? Кто — заказчики или разработчики новых технологий — настаивает на удобстве их использования? Не опережает ли предложение спрос и не создается ли продукт до того, как в нем возникла потребность (черта, свойственная рыночной экономике в целом)?

Согласно некоторым исследователям, современная эпоха характеризуется сосуществованием в нем признаков информационного общества и характерных черт общества потребления [Lehdonvirta, 2012, p. 11]. При этом, благодаря всеобщей цифровой трансформации, в целом ряде социальных процессов возникают новые явления, которые позволяют говорить о цифровизации потребления. Не секрет, что, помимо свойства служить формой сообщения о том, что отделено в пространстве и во времени, существует «информация, которая позволяет трансформировать реальность, сделав ее материально и морально богаче» [Borgmann, 1999, p. 1]. Но в поле зрения исследователей цифрового и виртуального потребления попадает вопрос о природе потребления, связанного с предпочтением виртуального продукта реальному. Как замечают специалисты, цифровое потребление не сводится к тому, что современные формы торговли цифровизованы — и сравнение, выбор, заказ, покупка и оплата с огромной вероятностью чаще происходит онлайн. Имеет место покупка как таковых виртуальных объектов (видеоигры, онлайн-биржа, членство в онлайн-сообществах и проч.), не имеющих «реальной» ценности, но вызывающих высокий спрос. Возникает вопрос: «зачем покупать стул, на котором даже нельзя сидеть?» [Lehdonvirta, 2012, p. 13]. В своих исследованиях В. Ледонвирта различает три теоретических подхода к анализу своеобразия цифрового потребления: экономический, структурный и гедонистический, в частности указывая на то, что покупка возможности виртуального общения в гедонистическом плане столь же реальна, сколь и покупка той или иной материальной вещи «вживую».

Цифровое потребление открывает новые пути решения давно назревших проблем, в частности проблем экологии. По мнению Ледонвирта, цифровое потребление может служить шагом к при-

мирению рынка с программами устойчивого развития окружающей среды: «Перенаправление избыточных трат в сторону виртуального потребления взамен материальному могло бы примирить социальную фактичность с ограниченностью физической реальности» [Lehdonvirta, 2012, p. 25].

Благодаря новейшим технологиям цифровая эпоха фактически открывает возможности для создания альтернативной, цифровой реальности, что вызывает необходимость проблематизировать понятие «виртуального» в целом. Французский исследователь Пьер Леви не только определяет значение этого понятия, указывает на отличия «виртуального» от «реального» и «актуального», но и осмысливает положение субъекта в расширяющемся виртуальном пространстве. [Lévy, 1998]. Леви утверждает, что, несмотря на то что в новую цифровую эпоху тело, экономика и текст приобретают виртуальный характер, это не первая встреча человека с виртуальным. И в частности на примере языка можно удостовериться, что виртуальное является неотъемлемым компонентом человеческого ума. Согласно Леви, Интернет преобразует виртуальное, и именно так, что виртуальное трансформируется в «коллективный разум», связанный с цифровой коммуникацией.

Цифровизация, а также новые формы передачи данных и способы коммуникации, которые она принесла с собой, сформировали потребность и в пересмотре педагогических подходов и обновлении методов обучения. Открытые ресурсы, широкий спектр образовательных предложений, не имеющая пространственных и временных границ онлайн-коммуникация, а также скорость распространения аудио- и видеоинформации если еще не вытеснили традиционную форму обучения, то, несомненно, могут предложить вспомогательные или даже альтернативные способы получения знаний. Как иронично заметил М. Розенберг, «американское высшее образование, долгое время имевшее репутацию традиционного, движется в направлении электронного обучения быстрее многих компаний» [Rosenberg, 2001, p. 306]. Безусловно, процессы цифровизации отечественного образования протекают не столь стремительно, как в Соединенных Штатах, но наличие этих процессов не вызывает никаких сомнений.

Специалисты в области цифрового образования отмечают, что переход на электронные технологии обучения впервые даже

не потребует специального и сложного оборудования: «В ближайшем будущем большинство обучающихся будет знать, как использовать инструменты новой среды обучения еще до возникновения потребности в этом» [Rosenberg, 2001, р. 306]. Повсеместно доступные, легкие в использовании и всегда находящиеся под рукой средства обучения рано или поздно кардинальным образом изменят его нынешний формат.

Работа Розенберга является не только теоретическим исследованием, но и представляет собой пособие по созданию эффективного цифрового (онлайн, электронного) обучающего продукта и овладению методикой цифрового обучения. Наилучшим доказательством высокой степени востребованности подобного пособия служит тот факт, что за последние пятнадцать лет книга была переиздана четыре раза. И она не единственная. Поскольку технические условия в полной мере позволяют реализовывать цифровое обучение, стремительно расширяется и круг предложений со стороны создателей цифровых обучающих программ [Clark, Mayer, 2016].

В связи со всеобщей тенденцией к цифровизации претерпевает радикальные изменения и академическая сфера. Не только на Западе, но и в России приобретает популярность ряд новых областей исследования. Одна из них — цифровая антропология. Путем рассмотрения множества примеров (кейсов), в основе которых лежит исследование характера использования социальных сетей и мобильных приложений, эта новая дисциплина исследует, каким образом можно определить соотношение человеческого и цифрового, а также изучает культурные различия, проявляющиеся в манере использования социальных сетей представителями различных культурных этносов. Кроме того, цифровая антропология изучает практические последствия, которые цифровая эпоха привнесла в политику, музейное дело, дизайн, исследование космоса, а также возникновение таких новых явлений, как новый мир онлайн и сообщество геймеров. К предметам исследования цифровых антропологов также относится моральный универсум цифрового — от новых тревог до идеалов открытого ресурса (open-source ideals) [Digital Anthropology, 2012].

В связи с процессами цифровизации помимо цифровой антропологии возник целый ряд дисциплин, объединивший специалистов по культурологии, филологии, истории, а также исследо-

вателей медиапроцессов под общим названием цифровых гуманитарных дисциплин, или цифровой гуманитаристики (термин существует с 2001 г.). Дело в том, что в условиях изменившегося мира возникла острая необходимость для гуманитарных дисциплин пересмотреть свои теоретические основания и практику работы [Berry, Fagerjord, 2017].

«Является ли нечто цифровым или нет, уже не вопрос» [Berry, Fagerjord, 2017, p. 2], поскольку практически все сферы культуры на сегодняшний день опосредуются, создаются, производятся, оказываются доступны, распространяются и употребляются посредством цифровых технологий и цифровых приборов. Более актуальны вопросы о последствиях всеобщей цифровизации и даже о замедлении цифровых процессов. В частности, предложенная У. Мехиасом аналогия цифровых технологий с понятием «фаст-фуда» позволила создать образ цифрового потребления на скорую руку, а также начать дискуссию о необходимости остановки и осмысления значения прогресса [Mejias, 2013, p. 159].

В целом цифровая гуманитаристика располагается между технологией и культурой, и ее задача — рефлексия над уже свершившейся компьютеризацией, а также активное участие в деле создания гуманистических технологий [Understanding Digital Humanities, 2012; Debates in the Digital Humanities, 2012].

Число и цифра как конституирующие принципы

На первый взгляд, роль цифры как конституирующего начала современного мира в корне отлична от роли числа для античного мироистолкования. Цифра поверхностна, число же призвано ухватить самую суть. Цифра есть только технический инструмент, тогда как число — выражение гармонии. Число есть принцип, а цифра — только символ числа, метка, знак, средство для записи количества, выраженного числом. И все же принципиальное различие этих двух понятий — лишь кажимость, поскольку и посредством числа в античном мироистолковании, и посредством цифры в современном мире решается одна и та же задача — задача собирания мира.

Секст Эмпирик писал, что число у пифагорейцев было таким началом, которым «держится все в целом» [Секст Эмпирик, 1976,

с.78–79]. Единство и целостность являются критериями совершенства и в платоновском «Тимее». Посредством усмотрения в сущем числовых и пропорциональных соотношений греки собирали многообразие сущего воедино. Недаром Платон называл идеи также и числами. Идеи, или числа, суть всеобщие начала бесчисленного многообразия и многообразия явлений. Ту же задачу призвана решать цифра в современную эпоху. Цифровизация сущего есть иной способ его упорядочить и объединить.

«Чтобы придать науке полноту, — писал Декарт, — надлежит все, что служит нашей цели, вместе и по отдельности обозреть в последовательном и нигде не прерывающемся движении мысли и охватить достаточной и упорядоченной эnumerацией» [Декарт, 1989, с.96]. В реализации проекта построения новой науки Декарт не раз указывал на то, что препятствием к совершенному познанию является «медлительность ума» и ограниченность умственных способностей [Декарт, 1989, с.112]. Преодоление несовершенства человеческого мышления и является главным преимуществом и основным назначением цифровых технологий.

Заметим, что для Декарта, человека Нового времени, число совершенно не имеет прежнего, свойственного античности, значения принципа вселенской гармонии и порядка. Для него число — лишь одна из универсалий. Число, пишет он в «Первоначалах философии», «не существует в сотворенных вещах, но лишь рассматривается в абстракции», а потому «как род, оно является только модусом мышления» [Декарт, 1989, с.337]. Но задача придать науке полноту и охватить сущее истинным зрением ему не чужда, даже наоборот. И именно в качестве метода решения этой задачи он упоминает эnumerацию, а затем формулирует знаменитое четвертое правило метода: «делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено» [Декарт, 1989, с.260]. Цифровая эпоха же есть не что иное, как эпоха электронных каталогов и баз данных. Правда, то, что от века не могла вместить человеческая память, вместили электронно-вычислительная техника, а затем и цифровые технологии.

Число как принцип для греческого мира означает утверждение гармоничности и соразмерности мира-космоса. Цифра как определяющий символ современной эпохи скорее есть свидетель-

ство того, что мир стал прозрачным, исчислимым, подверженным учету; гармония поверяема алгеброй.

Речь идет о повсеместном употреблении новейших технологических достижений в различных областях человеческой деятельности. Тотальная компьютеризация, облачные технологии, Интернет — все это принципиально преобразило мир, положение и самоощущение человека в нем. Скованный ограниченными возможностями своего познания и памяти с широкой доступностью высокоскоростных процессоров познающий субъект обрел поистине безграничные возможности, что позволило говорить о расширенном уме (Кларк, Чалмерс) [Clarke, Chalmers, 1998] и распределенном познании [Hutchins, 1995].

Литература

- Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1983.
- Ахутин А. В. Античные начала философии. СПб.: Наука, 2007.
- Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
- Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. Л.: Наука, 1990.
- Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994.
- Романова Т. Цифровые технологии — это будущее человечества // FB. 2017. URL: <http://fb.ru/article/335698/tsifrovyye-tehnologii---eto-budushee-chelovechestva> (дата обращения: 06.11.2019).
- Секст Эмпирик. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
- Berry D. M., Fagerjord A. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Cambridge: Polity Press, 2017.
- Bloomberg J. Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Confuse them at Your Peril // Forbes. 2018. URL: <https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/#72cd10a42f2c> (дата обращения: 06.11.2019).
- Borgmann A. Holding On to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millennium. Chicago, London: University of Chicago Press, 1999.
- Brennen S., Kreiss D. Digitalization and Digitization // Culture digitally. 2014. URL: <http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/> (дата обращения: 09.11.2019).
- Clark A., Chalmers D. The Extended Mind // Analysis. 1998. Vol. 58, no. 1. P. 7–19.
- Clark R. C., Mayer R. E. E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. Hoboken: Wiley, 2016.

- Debates in the Digital Humanities / eds M. Gold, L. Klein). Minneapolis: Minnesota University Press, 2012.
- Digital Anthropology / eds H. A. Horst, D. Miller, H. Horst. London, New York: Bloomsbury Academic, 2012.
- Duhem P.* Sôzein Ta Phainomena: Essai sur la Notion de Théorie Physique de Platon à Galilée. Paris: Vrin, 1994.
- Israel D., Perry J.* What is Information? // Information, Language, and Cognition. Ed. by P. H. Hanson. Vancouver: University of British Columbia Press, 1990. P. 1–19.
- Gray J., Rumpe B.* Models for Digitalization // Software and Systems Modelling. 2015. Vol. 14 (4). P. 1319–1320.
- Hutchins E.* Cognition in the Wild. Cambridge: The MIT Press, 1995.
- Lehdonvirta V.* A History of the Digitalization of Consumer Culture: From Amazon Through Pirate Bay to Farmville // Digital Virtual Consumption / eds M. Molesworth, J. D. Knott. New York, London: Routledge, 2012. P. 11–29.
- Lévy P.* Becoming Virtual: Reality in the Digital Age. New York: Plenum Press, 1998.
- Mejias U. A.* Off the Network: Disrupting the Digital World. London; Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.
- Morley N.* Antiquity and Modernity. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.
- Rosenberg M. J.* E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Fge. New York: McGraw-Hill Education, 2001.
- Taylor R. W., Fritsch E. J., Liederbach J.* Digital Crime and Digital Terrorism. NJ: Prentice Hall Press, 2014.
- Understanding Digital Humanities. Ed. by D. M. Berry. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

С. Г. Коленько

СПбГУ

Сакральная парадигма числа и цифры в мировой культуре

История происхождения чисел и цифр дает богатый материал для целого ряда гуманитарных наук, косвенно подтверждает открытия в области генетики и физиологии человека. Функция чисел никогда не сводилась только к счетным, математическим операциям. В культурах всех без исключения народов мира числа обладали символической семантикой. Само понятие счета в архаичных языках было связано с представлениями о мироздании. Важно то, что символика чисел отнюдь не осталась принадлежностью только архаических обществ, она сопровождает всю историю человечества, включая античность, Средние века, Новое время; она вплетена в произведения мирового искусства и литературы. Знание этой символики открывает пытливому уму многие — вечные и всегда новые — смыслы.

Ключевые слова: символ, язык, мифология, религия, фольклор, литература, бинарные оппозиции, картина мира.

«Книга Природы написана языком математики», — утверждал Галилео Галилей. Соломон, прославившийся своей мудростью, сказал, что Бог сотворил все мерою, числом и весом. Независимо от того, каким видится вопрошающему уму происхождение Вселенной, верит ли он в Бога-творца или в самозарождение жизни, он не может отрицать, что все существующее в пространстве и времени имеет в своем основании строгую математическую модель. Количество атомов в молекуле задает свойства вещества, физического тела. Изменение этого числа всего на одну единицу радикально меняет эти свойства. Сокращение расстояния между Землей и Солнцем всего на 5 % вызвало бы непрекращающийся парниковый эффект, а увеличение его всего на 1 % — оледенение Земли. Своей «мерой, числом и весом» отличается каждый вид живого существа на земле. Современные ученые считали количество хромосом в ДНК человека и выявили, что изменение их количества означает отклонение от нормы, уродство. Священное Писание говорит об этом же, только образно: «А у вас и волосы на голове все сочтены» (Лк. 12:7). Биологические, астрономические, химические, физические и прочие данные, которыми располагает

современная наука, свидетельствуют о строгом порядке в соразмерностях, пропорциях, периодах, количествах и других числовых характеристиках живой и неживой природы.

История материальной и нематериальной культуры человечества открывает нам, что числа и цифры использовались человеком в его обыденной практике с древнейших времен: в счете, измерениях длины, веса, объема... Овладев законами математики, люди научились создавать совершенную архитектуру, морские суда, сухопутный транспорт. Поверяя «гармонию алгеброй», они постигли совершенство пропорций человеческого тела, законы композиции и применили все это в живописи и скульптуре; научились законам стихосложения; сочиняя музыку, научились использовать музыкальные тоны и полутоны, длительности нот, темп и ритм. Можно утверждать, что все временные и изобразительные искусства прячут в себе определенный числовой код. (Рассматривая даже такое, кажется, далекое от математики, искусство драматического актера, можно утверждать, что обязательным свойством талантливой актерской игры является чувство *меры*, которое складывается из чувства *времени*, чувства *ритма* и ощущения себя в *пространстве* сцены.)

Однако история чисел в культуре и философии вызывает наибольший интерес благодаря не прямому, а дополнительному их значению, а именно — символическому. Числа есть символы некоего содержания, которое при прямом их использовании (вычислении, измерении) не играет никакой роли, но актуализируется в соединении с неким вербальным или невербальным текстом (например, изображением). Важно заметить, что содержание, с которым соединяется число-символ, имеет непременно сакральный характер, относит к той или иной тайне мироздания. Исследованиями установлено, что сакрализация чисел была свойственна всем духовным культурам древнего мира — архаической, античной, средневековой [Топоров, 1980, с. 3–58]. Некоторые отголоски этого явления обнаруживаются и в культуре Нового времени.

Вопрос о том, как, в результате каких причин, то или иное число оказалось связанным с определенным содержанием, представляет собой огромное поле для научных изысканий, на котором трудятся историки религии, археологи, лингвисты, философы. В.М. Кириллин, специалист по древнерусской литературе, изучая

причину особого отношения к числу и счету в древнем мире, обращает внимание на этимологию этих понятий: «древнегреческие лексемы ἀριθμέω, (считать) ἀριθμός (число; мера; счисление; счет как искусство или наука) соотносятся с лексемами ῥυθμιζω (приводить в порядок, устраивать), ῥυθμικός (гармонический), ῥυθμός (соразмерность; образ, вид)» [Кириллин, 2000, с. 15]. Он сравнивает их с древнеиндийской лексемой rita (мировой порядок, закон) и латинской ritus (ритуал, упорядоченное священное действие). Старославянскую лексему ЧИСЛО, происходящую от праславянского čit-slo В.М.Кириллин сравнивает с русскими лексемами СЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ, ЧТИТЬ (ЧТУ; ЧЕСТЬ) и древнеиндийской cētati (соблюдает, мыслит, познает, понимает) [Кириллин, 2000, с.16].

В разных языках, как мы видим, в понятиях, связанных с числом, счетом, присутствует смысловой оттенок некоего священнодействия, указание на мировой порядок, священный закон. Известно, что в Древнем Египте, Вавилоне, Ханаане, а также в Индии и Китае существовали целые системы священных чисел, которые были задействованы в религиозных культах. В античной Греции пифагорейская школа разработала философское учение, в котором число имело онтологическое, гносеологическое и эстетическое значения.

Пифагорейская школа (VI век до н.э.) создала вокруг себя ореол замкнутости, некоего тайного общества, которое, по сути, обожествляло числа, приписывая им управляющую роль в мире вещей. При помощи так называемой *нумерологии* пифагорейцы стремились проникнуть в тайны человеческой души, просчитать ее земной путь и, будучи адептами веры в переселение душ, повлиять на ее посмертную судьбу. Все же, несмотря на мистический характер своих штудий, Пифагор и его последователи стали первооткрывателями некоторых существенных законов математики и физики, внесли свой вклад в изучение астрономии, в становление философии. Наибольшей значимостью в учении пифагорейцев обладали числа 1 и 10, которые символизировали совершенство; число 5 символизировало брачный союз; 7 было знаком универсального мироправящего начала, а также символом девственности [Кессиди, 1972, с. 159–171].

Надо сказать, что нумерология (мистическая практика, предполагающая манипуляции с цифрами и числами: сложение, вычи-

тание, умножение и др.) была широко распространена в древнем мире благодаря, помимо всего прочего, тому обстоятельству, что тогда господствовала *алфавитная цифровая система*. Древнегреческая алфавитная цифровая система возникла в V веке до н.э. По аналогии с ней были созданы армянская, готская, грузинская и славянская системы [Истрин, 1961, с.329–330]: цифрами в них служат буквы алфавита. В книгах Ветхого Завета в качестве цифр использовались буквы так называемого еврейского квадратного письма. «Такой способ обозначения цифр позволял отождествлять любое слово с его числовым эквивалентом, это, в свою очередь, во-первых, обнаруживало мистико-нумерологическую связь между словами, во-вторых, сокровенное значение чисел, в-третьих, таинственную соотнесенность последних с миром идей, отображением которых являются слова и, следовательно, числа. Вот подobaющий пример: θεός (Бог): $9 + 5 + 70 + 200 = 284$; ἀγαθός (хороший, добрый): $1 + 3 + 1 + 9 + 70 + 200 = 284$; ἅγιος (святой, непорочный): $1 + 3 + 10 + 70 + 200 = 284$ » [Кириллин, 2000, с. 20].

Библия (Ветхий и Новый Заветы) содержит множество чисел, которые заметно выделяются на фоне обычных (исторических) числовых упоминаний. Наиболее типичны в этом отношении числа 3, 4, 5, 7 и кратные им 10, 12, 30, 40, 50, 70, 100 [Симфония, 1971].

Раннехристианские философы и богословы размышляли в своих трудах на тему символики чисел Священного Писания. Так, например, святитель Григорий Богослов (IV в.) в своем «Слове на Пятидесятницу» приводит множество примеров употребления в Библии числа 7 [Григорий Богослов, 1994, с.576–578]. Святитель указывает на особое почитание евреями этого числа «на основании закона Моисеева». Это проявляется, во-первых, в почитании ими субботы, ибо в шесть дней сотворил Бог видимый мир, а на седьмой — почил от дел. В память об этом суббота — день седьмой — является у евреев священным днем покоя. И не только седьмой день, но и седьмой год для них священный. В этот год, по закону, установленному Богом, нельзя ни сажать, ни сеять, земля должна отдыхать. Чтут они и «седмицу седмиц»: 7 раз по 7 дней + 1 (пятидесятницу), и юбилей — 50 лет: 7 раз по 7 лет + 1 год («начаток» от следующего цикла). На юбилей следует освобождать рабов и возвращать купленную землю прежним хозяевам. «Ибо народ сей посвящает Богу начатки не только плодов и перво-

родных, но также дней и лет». О почитании числа 7 говорится в псалмах Давида: «Словеса Господня очищены седмерицею» (Пс. 11:7). Праведник, шесть раз избавленный от бед, в седьмой раз не бывает поражаем (Иов. 5:19). Грешник получает прощение семь раз, и даже семьдесят раз по семь. Нераскаявшийся же грешник терпит отмищение семь раз, как Каин, Ламех же — семьдесят раз по семь (Быт. 4:24). Среди множества разнообразных примеров Григорий Богослов приводит еще такое наблюдение: согласно нисходящему родословию Иисуса Христа, изложенному у евангелиста Луки, праотец Авраам был двадцать первым от Адама (троекратное 7), а Иисус Христос — семьдесят седьмым.

Особенно много внимания уделил символике библейских чисел Блаженный Августин (IV в.). Его трактаты «О порядке», «О музыке» и др. во многом определили нумерологические воззрения средневековых мыслителей, как западных, так и восточных. Сущность этих воззрений состояла в том, что священные числа мыслились как *отображение*, а не воплощение (то есть числа сами по себе не обожествлялись, как, например, у пифагорейцев) главных истин христианства; числа являются знаками, за которыми скрываются тайны Божественного Промысла и через которые в то же время посылается некое откровение о Нем. Это объясняет широкое использование священных библейских чисел в христианской литургике, догматике, иконописи, архитектуре и т. д.

Наиболее знаменательные символические числа Библии — 3, 7, 12. Число 3 — число Божественной Троицы. Триадность материального мира (небо, земля, вода) суть отражение трех ипостасей Единого Бога. Число 3 также символизирует душу человека, три ее главные способности (познания, раздражения, влечения). Таким образом, 3 символизирует все духовное. В церковном обиходе число 3 проявляется в трехчастности литургии (проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных), в троекратном призывании «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас» и в других молитвах. 7 — число человека, оно выражает гармонию чувств и всеобщего порядка (7 «отверстий» в голове человека для органов чувств, 7 цветов радуги, 7 тонов григорианской музыки, 7 дней недели, 7 небесных сфер, 7 добродетелей, 7 смертных грехов) [Садов, 1909, с. 1447]. В то же время число 7 связано с выражением полноты духовного совер-

шенства (7 даров Святого Духа, 7 таинств церкви, семисвечник, 7 недель Великого Поста, 7 ступеней премудрости, 7 прошений в молитве «Отче наш»). Число 12 — образ Израиля, народа Божия (12 колен Израилевых, 12 апостолов), символ Церкви (12 самых почитаемых праздников в году, не считая Пасхи, 12 пунктов «Символа веры», 12 кондаков и 12 иконов в акафистах). Число 4 тоже обладает весьма важной семантикой в Священном Писании. Согласно Блаженному Августину, это «второе после тройки совершенное число» [Бычков, 1981, с. 83], символ материального мира, оно знаменует собой идеальную устойчивость и целостность. В «Откровении» Иоанна Богослова есть, например, такие образы: «четыре ангела, стоящие на четырех углах земли, держащие четыре ветра земли» (Откр. 7:1); «четвероугольник» небесного града Иерусалима (Откр. 21:16). Смысл этих образов — «совершенство, устойчивость, постоянство» [Толковая Библия, 1913, с. 605]. Число 5 — знак единения земной Церкви со Спасителем, знак тайны Евхаристии. На Всенощном бдении благословляется пять хлебов; пять просфор употребляется на проскомидии, этот обряд относит к Евангелию, к притче о пяти хлебах, насытивших пять тысяч человек. В Евангелии есть и другие притчи, содержащие это число: притча о пяти премудрых и пяти неразумных девах; притча о пяти талантах, которые верный раб умножил еще на пять. Число 10 выражает совершенство, а также посвященность, предназначение чего-либо Богу (десятиной назывался обязательный для всех христиан налог на нужды церкви, он составлял 1/10 часть доходов прихожанина). Сокровенно это число выражало единство Божественного и материального. И, наконец, надо сказать о числе 40, которое символизирует приготовление христианина к новой жизни. Это число связано с понятиями «молитва», «пост», «очищение». Святая Четыредесятница — сорок дней Великого Поста.

Символический смысл сакральных чисел Священного Писания не сводим к какому-то одному, строгому значению, он имеет «многослойную» структуру; в каждом конкретном случае, в зависимости от контекста, актуализируется то или иное его содержание.

Символика чисел присутствует не только в христианстве, она играет существенную роль в исламе, иудаизме, буддизме,

во всех языческих верованиях человечества. Соединение в сознании людей чисел с теми или иными качественными характеристиками, связующими земной и небесный миры, повлияло на развитие разных видов человеческой деятельности и творчества. Среди этих направлений были и деструктивные: магия и оккультизм. Магия была частью языческих культов древнейшего мира, в Средние века магию практиковали в каббале — религиозно-мистическом учении иудаизма, в алхимии. В том или ином виде эта темная практика, как некая болезнь, сопровождает всю историю человечества.

Благие же плоды символики чисел изобильны и многообразны. Символизм чисел не только присутствует, но и структурирует многие сюжеты в мифопоэтическом творчестве народов мира: в сказках, легендах, былинах, песнях, поговорках, загадках; в произведениях писателей и поэтов. Его влияние заметно в эстетике архитектуры и дизайна, в этикетной сфере повседневной жизни.

В народном фольклоре использование знаменательных чисел сообщало повествованию иносказательный и часто сакральный характер. Например, следующая загадка — «Выросло дерево от земли до неба, на этом на дереве 12 сучков, на каждом сучке 4 кошеля, в каждом кошеле по 6 яиц, а седьмое красное» — образно представляет годовой цикл, содержащий 12 месяцев, каждый из которых имеет по 4 недели, а неделя состоит из 7 дней, один из которых — воскресенье. В тоже время, дерево и красное яйцо — символы, относящие слушателя к тайнам мироздания: к мировому древу (образ земли, неба и преисподней) и к Воскресению Богочеловека Иисуса Христа.

Образ мирового древа, символизирующий вертикальную ось Вселенной, ее Верхний, Средний и Нижний миры, тесно связан с мифопоэтическими представлениями о числе 3. Мировое дерево — частый мотив в фольклоре и декоративно-прикладном искусстве славянских племен, встречается он в скандинавской, тюркской мифологии и в других культурах. Число 3, по замечанию В. Н. Топорова, — «идеальная модель любого динамического процесса, предполагающего возникновение, развитие, упадок и реализующегося, в частности, в вертикальной структуре Вселенной»; «Т. наз. “Третий” как раз и есть тот мифологический герой, кто прошел все три царства и нашел путь к преодолению смерти» [Топоров, 2005,

с. 320]. В числе 3 закодированы мотивы «проникания — преодоления — победы» [Топоров, 2005, с. 320].

С русским былинным эпосом связаны фигуры трех богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича; три дороги-пути, на которые указывает камень на распутье; три головы Змея Горыныча. Для победы герой должен пройти три испытания; осуществить три попытки; выдержать три сражения. Сказочный герой отправляется искать счастья за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство. В экспозиции сказочного повествования фигурируют три сына или три дочери, три сестры, три брата.

В русских поговорках чаще других встречаются числа 3, 7, 10, 100 [Коринфский, 1994, с. 512]. Число 3 иногда сочетается с 4: «Без троицы дом не строится, без четырех углов не становится»; «При троих четвертый всегда сыт»; «Трое едим, четвертого милости просим!». Очевидно, в русском фольклоре имеет место представление о близости священных значений этих чисел; если в 3 закодирована идея деятельного, созидательного начала, то 4 означает гармонию, устойчивость, порядок.

Число 7, хотя и почиталось всегда в народе священным, в поговорках имеет, как правило, значение «много», при этом часто слышится ироничная интонация. Например, о ситуации, когда каждый претендует на роль главного, говорят: «Не велик городок, да семь воевод»; «У семи нянек дитя без глазу»; «У семи пастухов — не стадо». «Семи пядей во лбу», — говорят об умнике; «Из семи печей хлебы едал» — о всезнайке; «От семи собак отгрызется» — о человеке, который не даст себя в обиду; «И праведник семижды в день согрешает» — в утешение кающемуся человеку. С числом 7 связан самый большой массив поговорок, содержащим числа.

Число 10 имеет так же коннотацию множества: «Ты ему слово — он тебе десять» — о том, кого не переспоришь; «Дурак в воду камень закинет, десятеро умных не вытащат» — о человеке, портящем все дело, за какое ни возьмется. Число 100 означает «очень много»: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; часто употребляется как благое пожелание: «Сто лет здравствовать!», «Воздаст тебе Господь сторицею!».

Другие числа встречаются в русских пословицах редко. Можно отметить 6, которое ассоциируется с несчастьем, невзгодами,

смертью: «Две тройки — шестерик, шестеро ребят в семье — не мужик» — говорят о многодетной семье, где много едоков и только один работник. «Три коровушки есть, отелятся — будет шесть» — утешают себя люди, испытывающие нужду. «Ты, шестой, у ворот стой!» — говорят никчемному, неумелому работнику. О сорока днях после смерти: «Покойник шесть недель умывается, шесть недель утирается».

Число 40 означает множество и одновременно несет коннотацию многозначительности: «Продли Бог веку на сорок сороков!». «Уж сорок лет, как правды нет» — слова уставших от несправедливости людей.

В сказках, былинах, кроме числа 3, которое имеет наибольшую степень частотности, нередко встречаются 7, 9, 40. Неоднократное повторение этих знаменательных чисел в тексте придает рассказу целостность, как бы структурирует его, и в то же время несет художественную функцию создания некой таинственности, загадочности, без чего немыслимы сказки.

В этом связи нельзя не вспомнить А. С. Пушкина. В произведениях поэта «обнаруживаются многочисленные свидетельства его прекрасной осведомленности в области разнообразных форм народной поэзии — лирических и эпических форм, песен и сказок, народного юмора и причитаний, обрядовых представлений и пословиц» [Якобсон, 1987, с. 206]. Создавая свои сказки, он не мог, конечно, обойтись без 3, самого характерного символического числа русского фольклора. «Сказка о царе Салтане...» насыщена троичной символикой: три девицы, которые пряли под окном; три дня плывет бочка по морю с запечатанными в ней царицей и ее сыном; на третий день они оказываются на суше; трижды царевич — юный царевич Гвидон превращается в насекомое (то комара, то шмеля) и трижды посещает в таком виде царство славного Салтана; трижды бывают у Гвидона купцы-корабельщики; три чуда показывает им князь. Тридцать три богатыря, охраняющие остров, — символ огромной, непобедимой силы.

Невозможно не заметить троичных символов и в других сказках Пушкина. Тридцать лет и три года — то есть очень давно — живут в ветхой землянке старик со старухой; три раза закидывает старик невод в море и на третий раз ему является чудо — золотая рыбка; за три щелчка по лбу соглашается служить попу Балда.

Числовая символика не является исключительно маркером народности, фольклорности. Многие писатели прибегали к ней как к способу создания аллюзий, придания событийному ряду особой значимости, иносказания. Символические числа создают в тексте своего рода систему координат, которая соотносит повествование с событиями мировой истории, религии. Для того чтобы числа в произведении воспринимались именно таким образом, они должны характеризоваться высокой степенью повторяемости, специальной нарочитостью.

Приведем несколько хорошо известных примеров из русской литературы, которые в какой-то степени иллюстрируют вышесказанное. Лев Толстой в романе «Война и мир» в линии своего героя Андрея Болконского постоянно и настойчиво вводит число 3. Три события в жизни Андрея составляют основу его сюжетной линии — его несчастная любовь к Наташе Ростовой, смерть отца и нашествие Наполеона. Его страдания сопровождает то же число: три палатки для раненых, три операционных стола в одной из них и он, лежащий на одном из столов; когда рядом, на соседнем столе он замечает стоящего от ран Анатоля Курагина — своего соперника, виновника его несчастной любви — и прощает его, создается очевидная аллюзия на крестные страдания Христа, прощающего своих врагов и обещающего рай покаявшемуся разбойнику, висящему на соседнем кресте. Эта аллюзия подтверждается, когда читатель узнает, что князь Андрей умер в 33 года — в возрасте Христа.

Другое ключевое число в «Войне и мире» — 7. Толстой разделяет жизнь своих героев на семилетние периоды. Николеньке Болконскому исполняется 7 лет, когда умирает его отец — князь Андрей. Еще через 7 лет он видит страшный сон, который Лев Толстой описывает в эпилоге и этим завершает свой рассказ о героях романа. Через 7 дней после ранения в Бородинском сражении к Андрею Болконскому приходит откровение о всемирной любви. Семилетний мальчик встречается Пьеру Безухову в разоренной Москве, он плачет, видя несчастье своей семьи и окружающих людей. Семилетний возраст детей, введенный Толстым в повествование, тоже имеет коннотацию, связанную с христианством: до 7 лет ребенок считается младенцем. Горе безгрешного младенца должно усилить значение бесчеловечности, противоестественности войны.

В «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского мы видим частое и настойчивое повторение числа 4: четвертый этаж и четвертая по счету комната, где живет старуха-процентщица; четверть версты отделяет дом, где живет Раскольников от полицейской конторы, которая располагается также на четвертом этаже; четвертая по счету комната письмоводителя; украденные у старухи вещи Раскольников прячет под камнем около четырехэтажного дома. Символика числа 4 связана с христианским символом креста, и это подтверждается, когда в романе появляется образ перекрестка — места, где Раскольников, по настоянию Сони, должен стать на колени и покаяться перед народом. Крест — символ земных страданий и искупления греха. Четверка в то же время — знак, символизирующий тело человека (в то время как тройка — символ человеческой души), знак земного естества, четырех природных стихий. Соня читает Раскольникову по его просьбе отрывок из Евангелия, где говорится о воскрешении четырехдневного Лазаря: четыре дня прошло с момента смерти, и тело Лазаря начало разлагаться, но Иисус Христос своим божественным актом восстановил целостность этого тела и целостность самого человека в единстве его тела и души. Таким образом, 4 в романе значит земное, бренное, преходящее, сопряженное со страданием, и через это страдание — искуплением греха, восстановлением и воскресением.

Выделяет Достоевский и число 7. В уста Раскольникова он вкладывает слова о том, что в Петербурге детям «нельзя оставаться детьми», что семилетний уже «развратен и вор». Раскольников видит сон, в котором он осознает себя семилетним и наблюдает злое событие, которое когда-то поразило его в детстве, — жестокое убийство лошади. Число 7 тоже призвано, как и 4, сообщить повествованию священное измерение. Сакральное значение этого числа — человек в единстве его тела и души (4 + 3). Семилетний младенец является той же знаковой фигурой, что и у Толстого: этот образ призван подчеркнуть разрыв между чистотой, безгрешностью, целомудрием и поврежденным грехом человеческим существованием. Этот разрыв трактуется Достоевским не только как грех и сопряженное с этим страдание, но и как предательство, измена человеческого рода — эта смысловая парадигма вводится образом 30 иудиних серебрянников: 30 рублей — плата, за которую Соня продает свою девственность, чтобы спасти голо-

дающую семью; за 30 тыс. рублей выкупает Марфа Свидригайлова из долговой тюрьмы; 30 рублей обещает прислать мать Раскольникову. Образ 30 серебряников, таким образом, ассоциируется с тисками жизненных обстоятельств, в которые попадают герои, и это также работает на смысл «причина — следствие», «преступление — наказание».

До сих пор мы не упоминали чисел 1 и 2. Интересно, что во многих архаичных культурах единица и двойка не были элементами счета, счет начинался с 3 [Топоров, Числа, 1980, с. 630]. Предположительно это связано с тем, что единица означала прежде всего единство, неделимость, целостность. В сознании человека эти значения относились к Богу, Создателю, Началу всех начал. Двойка — нечто противоположное единице, различие, конфликт. В пифагореизме единица и двоица — основные характеристики Сущности. Пифагорейцы утверждали, что единица — это чистое равенство и единство вообще; она равна самой себе. Через «подражание» единице (которая есть Сущность) всякая вещь делается равной самой себе, то есть «одной». Двоица (вторая характеристика Сущности) есть чистое неравенство, неопределенность и противоположность как таковая. Если единица означает действенное начало, то двоица, согласно пифагореизму, — пассивная категория; она образуется из прибавления единицы к самой себе, когда единица полагается неравной самой себе, отличной от себя, как некое ее «отражение».

Противопоставление единицы и двоицы легло в основу таблицы десяти противоположностей, составленной пифагорейцами (Аристотель приводит ее в своей «Метафизике» (1:5)):

- предел — беспредельное;
- нечетное — четное;
- одно (единое) — множество;
- правое — левое;
- мужское — женское;
- покой — движение;
- прямое — кривое;
- свет — тьма;
- добро — зло;
- квадрат — вытянутый прямоугольник (параллелограмм).

Все, что есть в природе и в космосе, может, с точки зрения пифагорейцев, быть объяснено с помощью парных признаков этой таблицы.

Любопытные аналогии этой пифагорейской теории обнаружили лингвисты, изучавшие языки разных племен. С развитием языкознания было установлено, что слова, являющиеся числовыми наименованиями (числительные), представляют особый интерес, поскольку позволяют реконструировать мировосприятие того или иного этноса на самом древнем его историческом этапе. (Попутно заметим, что лингвисты обратили внимание на сходство во многих языках корней числительных первого десятка). Выявленные общие черты в семантике чисел тем более примечательны, что некоторые из этих племен живут географически очень изолированно (это и привлекло исследователей). Так, в языке нганасан — самого северного в Арктике племени, живущего на Таймыре, — числительные «один» и «два» могут рассматриваться как противостоящие друг другу по смыслу.

Нганасанское числительное «один» обнаруживает этимологическую связь с личностно-определятельным местоимением «сам», которое имеет для каждого лица свою форму и соответствует значениям «я сам», «ты сам», «он сам». Связь с личностно-определятельным местоимением, которое указывает на самостоятельность, независимость субъекта, является, по наблюдению Э. Эрнитса, характерной для многих языков. Э. Эрнитс выделяет три вида первоначальных значений числительного «один» в разных языках: 1) «человек» («мужчина, я, сам»), 2) «этот вот», 3) «начальный» [Эрнитс, 1973, с. 173]. В нганасанском языке, по мнению исследователей, первоначальным значением числительного «один» является значение «единое целое». Кроме того, было установлено, что корень этого числительного соотносится с корнем существительного, имеющего значения «бог, небо, небесный свод, воздух, погода».

Корень числительного «два» соотносится с существительными «земля», «отверстие», «брешь», «дыра», «разделение надвое», «расщепление»; а также «форма», «образ», «тень», «призрак». В данном языке понятие «тень» связано с понятием «двойник» и отражает представления о загробном, потустороннем мире. Потусторонний мир, по замечанию М. М. Маковского, мыслился древним миром

как часть божественного хронотопа и ассоциировался с понятием «другой» [Маковский, 1995, с. 157].

«Комплексный анализ числительных “один” и “два” в нганасанском языке позволяет выявить понятийную базу элементов противопоставления: Верх — Низ, Верхний мир — Нижний мир, Порядок — Хаос. Кроме того, можно говорить в данном случае о противопоставлении “этот” — “тот другой”, “этот видимый” — “тот невидимый”» [Коваленко, Колбышева, 2011, с. 110]. Слово «один», таким образом, символизирует начало, порядок, гармонию, единое целое, а «два» — разделение, расторжение целостности и хаос.

Идея противопоставления единицы и двойки, положенная пифагорейцами в основание их дальнейшего учения, нашла в языках разных этносов свое подтверждение. Об этом свидетельствуют труды Т. И. Вендиной, С. А. Жаботинской, В. В. Иванова, В. М. Кириллина, М. М. Маковского, М. Н. Приемышевой, Ю. С. Степанова, В. Н. Топорова, Д. О. Шеппинга и др.

Открытия ученых XX века заставили по-новому взглянуть на методологический принцип пифагорейцев. Лингвист Н. С. Трубецкой, занимавшийся исследованиями в области фонологии, установил, что все дифференциальные признаки в фонологии сводятся к парным, противоположным по значению, признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; гласные — согласные и др. Позже друг Трубецкого Р. О. Якобсон в 50-е годы XX столетия вывел аксиоматически стройную систему всех фонологических систем всех языков мира, построенную на 12 универсальных бинарных¹ оппозициях (отметим, кстати, символизм числа 12). В 60-е годы метод бинарных оппозиций стал применяться в семантике. В настоящее время принцип бинарности широко распространен во всех областях гуманитарных знаний как «универсальное средство рационального описания мира, где одновременно рассматриваются два противоположных понятия, одно из которых утверждает какое-либо качество, а другое — отрицает» [Трубецкой, 2000, с. 72].

Справедливо будет отметить, что открытие Трубецкого/Якобсона не означает того, что о бинарных оппозициях никто не вспоминал со времен Пифагора. Напротив, в европейской фило-

¹ О лат. *binarius*, что означает «двойной, состоящий из двух компонентов».

софии феномен бинарности занимает видное место. Он регулярно встречается то в апориях Зенона Элейского, то в диалектике Платона, то в формальной логике Аристотеля, то в обличительном трактате Пьера Абеляра, то в антиномиях Иммануила Канта, то в диалектике Гегеля, и в более позднее время — у Маркса, Ницше, Хайдеггера и др.

Однако именно в XX веке ученые пришли к выводу о том, что двоичность восприятия окружающего мира человеком заложена в самой его физиологии. Человек — существо симметричное. У него пара полушарий мозга, пара рук, пара ног, глаз, ноздрей, ушей, легких, почек. На эту морфологическую симметрию накладывается функциональная асимметрия: правое полушарие мозга отвечает за работу левой части тела, левое — за работу правой. К этому надо прибавить другие парные оппозиции, которые позволяют человеку ориентироваться в пространстве. Это «верх — низ», «передняя — задняя части тела», «центр — периферия». Таким образом, бинарные оппозиции закреплены в мозге человека, в его сознании и подсознании на генетическом уровне. Кстати, в XX же веке ученые расшифровали структуру генетического кода человека. Он представляет собой так называемую двойную спираль, которая тоже оказалась бинарной. Мир как бы «расщеплен» в восприятии человека надвое, и это обуславливает потребность его сознания в оперировании бинарными оппозициями. Знаменитый лингвист Фердинанд де Соссюр утверждал, что элементы языка функционируют только благодаря системе оппозиций [Трубецкой, 2000, с. 53]. Французский антрополог Клод Леви-Стросс считал, что бинарные оппозиции лежат в основе мифа, составляют его структуру, а значит, и мышления человека в целом [Пинкер, 2004, с. 394].

Интересно, что бинарная оппозиция является также принципом, на котором построена работа компьютера. Все устройства, которые мы называем «цифровыми», функционируют на основе двоичного кода. «Цифровые» — достаточно условное название, оно обусловлено тем, что в качестве кода выбраны цифры 0 и 1, хотя на их месте могли бы быть абсолютно любые знаки: в виде цифр или, например, точка и тире (как в азбуке Морзе). В действительности, правильным для всех электронных устройств было бы название «дискретные» (от лат. *discretus* — «прерывистый»), то есть связанный с прерывистой подачей электрического тока: на

знак 1 подается электрический ток, на знак 0 — не подается. Таким образом, физическая картина функционирования двоичного кода заключается в оппозиции «сигнал — отсутствие сигнала».

Если наложить принцип двоичного кода, применяемый в компьютере, на пифагорейскую таблицу десяти противопоставлений, то получим следующее.

Пифагорейское	Сигнал — отсутствие сигнала
Предел — беспредельное	Предел — отсутствие предела
Нечетное — четное	Не делится на два — делится на два
Одно (единое) — множество	Одно — не одно
Правое — левое	Правое — не правое
Мужское — женское	Мужское — не мужское
Покой — движение	Покой — отсутствие покоя
Прямое — кривое	Прямое — не прямое
Свет — тьма	Свет — отсутствие света
Добро — зло	Добро — отсутствие добра
Квадрат — вытянутый прямоугольник	Квадрат — не квадрат

Наш вариант прочтения пифагорейских пар позволяет разглядеть в них структурный принцип «признак — отсутствие признака». Двоичный код, представленный как структура «признак — отсутствие признака» (или «сигнал — отсутствие сигнала»), проливает свет на многие истины, кажущиеся парадоксальными. Например, холода нет, тьмы нет, зла нет, смерти нет, греха нет. Эти понятия существуют лишь в противопоставлении, лишь постольку, поскольку являются отрицанием признака. Признак имеет бытие, а отсутствие признака не имеет бытия. Именно это утверждает наука, когда описывает оппозиции «свет — тьма» и «тепло — холод». У тьмы нет физической природы, она есть лишь полное (частичное) отсутствие света, который, в отличие от тьмы, имеет вполне реальные физические свойства: он состоит из фотонов, имеет волну, интенсивность, которые можно измерить. У холода тоже нет физической природы. Измерить можно тепло — амплитуду волны, интенсивность излучения. Холод — это частичное или полное (при абсолютном нуле) отсутствие тепла. Святые отцы утверждают, что зла нет, как нет смерти и нет греха, потому что у зла, смерти, греха нет бытия. Бог

благ и не создал ни зла, ни греха, ни смерти. Это лишь понятия языка, облегчающие понимание отсутствия признака: добра, жизни, добродетели.

В «Поучениях» преподобного Порфирия Кавсокаливита находим логическое объяснение данных утверждений:

«Есть еще одна тайна, — однажды заметил старец Порфирий. — Христово благородство... Христианин благороден. В чем это выражается?! В том, что Христианин предпочитает терпеть обиды, чем обижать! А как это происходит? — Когда в нас придет добро, любовь, тогда мы забываем о причиненном нам зле. Мы этого зла уже не видим! Здесь сокрыта тайна. Когда зло приходит к нам из демонического мира, вы не можете его избежать, потому что — оно входит в нашу жизнь... Но можно научиться зло не видеть, и оно исчезнет! В этом величайшая тайна христианства. И это — большое искусство, которому нужно обучиться. Великое искусство заключается в том, чтобы презреть зло, не видеть его, как будто его и нет. Потому что в действительности его и нет: зло — это небытие и существует только в нашем сознании. А мир — добр» [Порфирий Кавсокаливит, 2004, с. 19].

Утверждение «смерти нет» имплицитно содержится в оппозиции «жизнь — отсутствие жизни», поскольку отсутствие жизни или смерть человеческого тела не означает окончательной смерти, но означает переход к новой жизни — «в жизнь вечную». Отношение к смерти в христианском богословии определяется верой во всеобщее воскресение из мертвых, залогом чему является Воскресение Христа. В Послании к Филиппийцам апостол Павел говорит: «А наше гражданство уже теперь на небесах, откуда мы и ожидаем, как Спасителя, Господа Иисуса Христа, Который преобразит тело уничижения нашего по образу тела славы Его действием той силы, которой Он может и подчинить Себе все».

Оппозиция «добродетель — грех» в Евангелии от Матфея (Мф. 25:31–46) предстает перед нами в соответствии со структурным принципом двоичного кода «признак — отсутствие признака», а именно как «добродетель — отсутствие добродетели». Данный отрывок Евангелия свидетельствует о том, что на Страшном Суде люди будут осуждены не за грех, а за отсутствие добродетели:

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам

его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:41–46).

Из этого отрывка можно сделать вывод, что не существует некой нейтральной позиции, позволяющей человеку «просто жить», не делать ни зла, ни добра. Человек раз и навсегда вписан в жесткую систему оппозиций: если ты не делаешь добра, значит, тем самым ты делаешь зло.

Подводя итог, скажем следующее. Принцип двоичности, заключающийся в паре противоположных значений, является, по заключению многих ученых — антропологов, физиологов, генетиков, лингвистов — одним словом, тех, кто занимается изучением человека, универсальным принципом познания, фундаментальной основой мышления. Этот принцип, проявляясь в феномене парности, чередования, противопоставления, распространяется на всю природу и на всю культуру. Исследование архаичных форм культуры, языка, мифологии и религии дают основания утверждать, что принцип двоичности в мировоззрении каждого народа связан с символическим значением чисел 1 и 2. Общность картины мира, представлявшейся древним людям, косвенно доказывается наличием в разных языках сходных корней слов, означающих числа от 1 до 10. Именно эти числа имеют наиболее нагруженную семантику, они широко представлены в мифологии, религии и фольклоре. Переосмысленные в христианской традиции, символические числа стали неотъемлемой частью европейской культуры. Без символики чисел немыслима европейская философия, литература и искусство. Символические числа, вплетенные в текст повседневной культуры, встречающиеся всюду — от любого более или менее ритуализированного обычая (встреча гостей, свидание, прощание) до шедевров искусства и литературы, — воздействуют на наше сознание и поведение в той мере, в какой мы живем этой

культурой, то есть знаем ее и руководствуемся ею. Будучи своего рода сигналами, знаками, они служат в нашем времени и пространстве своеобразными ориентирами, заключают это время и пространство в свою сакральную парадигму. Если мы знакомы с их символикой, то мы читаем не только текст, но и подтекст, приобретаем объемное видение мира, нам открываются нити тончайших взаимосвязей и глубины смыслов. Можно утверждать, что сакральная парадигма чисел направляет наше познание. Наверное, мы не ошибемся, сказав, что именно о тяге к познанию говорится в известном изречении из Евангелия: «Имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

Литература

- Бычков В. В. Зарождение средневековой эстетики числа и ритма // Философия искусства в прошлом и настоящем М.: Искусство, 1981.
- Григорий Богослов, свт. Слово на пятидесятницу // Собрание творений в 2 т. Т. 1. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.
- Истрин В. А. Развитие письма. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу: становление греческой философии. М.: Мысль, 1972.
- Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). СПб.: Алетейя, 2000.
- Коваленко Н. С., Колбышева Ю. В. Семантика числительных и символика числа (на материале нганасанского языка) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2011. № 3 (28). С. 108–111.
- Коринфский А. А. Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. М.: Московский рабочий, 1994.
- Маковский М. М. У истоков человеческого языка. М.: Высшая школа, 1995.
- Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Порфирий Кавсокаливит, прп. Поучения М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004.
- Садов А. И. Знаменательные числа // Христианское чтение. СПб., 1909. № 11. С. 1443–1458.
- Симфония, или Алфавитный указатель к Священному Писанию. Корнталь: Изд-во миссионерского союза «Свет на Востоке», 1971.
- Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета / под ред. А. П. Лопухина. Т. 11. СПб.: Изд-во преемников А. П. Лопухина, 1913. №

- Топоров В. Н.* О числовых моделях в архаичных текстах // Структура текста. М.: Наука, 1980 с. 3–58.
- Топоров В. Н.* Числа // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 т. Т. 2. М.: Советская Энциклопедия, 1980. С. 630
- Топоров В. Н.* Число и текст // Исследования по этимологии и семантике в 4 т. Т. 1. Теория и некоторые частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 317–330.
- Трубецкой Н. С.* Классификация оппозиций // Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 72–89.
- Эрнитс Э.* К происхождению числительного «один» в разных семьях языков // Советское финно-угроведение. 1973. Т. IX, № 3. С. 161–173.
- Якобсон Р. О.* Пушкин и народная поэзия // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 206–209.

Е. И. Наумова

СПбГУ

Бухгалтеризация, или Культурный код капитализма 4.0

Статья посвящена исследованию феномена бухгалтеризации как основы для формирования капиталистической рациональности, которая сохраняется в качестве ключевой в трансформациях развития капитализма, начиная с XIX века и вплоть до XXI. Новизна подхода заключается в том, что бухгалтерия рассматривается не столько как арифметический феномен (тезис Зомбарта), а преимущественно как моральный, основанный на калькулятивной логике и устанавливающий новый порядок законности и справедливости в общественных отношениях (постзобартовская трактовка). Данное положение позволяет трактовать капитализм не столько как определенный способ производства или хозяйствования, а как дискурс, который возник из риторических практик, в основу которых положена бухгалтерия как критерий рациональности. Бухгалтеризация связана с понятием «дух» капитализма, и несмотря на то, что «дух» капитализма прошел три стадии развития, бухгалтерия является его неизменным спутником. Данный факт дает основание полагать, что бухгалтерия служит культурным кодом капитализма. Цифровизация представляет собой не что иное, как технологизированную бухгалтерию в условиях капитализма 4.0.

Ключевые слова: капитализм, капитализм 4.0, бухгалтерия, культура, дух капитализма, Зомбарт, Вебер, рациональность, калькуляция, постфордизм.

Актуальный экономист Анатолий Калецкий определяет современную экономику как капитализм 4.0 [Kaletsky, 2010]. Новый этап экономического развития, по словам ведущего экономиста, начался после мирового кризиса 2008 г., связан он с окончательным разрушением фундаментализма рейганомики, тетчеризма и сбоем в дерегулировании финансового капитализма. Вот уже одиннадцать лет мировой капитализм переживает четвертую сейсмическую переменную, которая сопровождается изменениями в экономическом мышлении.

Британский журналист Пол Мейсон выступает с тезисом о цифровой революции и формировании новой формы экономики — посткапитализма, марксисты Антонио Негри и Майкл Хардт определяют новую экономику как постфордистский капита-

лизм [Хардт, Негри, 2006], французский философ Мулье-Бутан развивает концепцию когнитивного капитализма [Moulier-Boutang, 2011]. Капитализм 4.0 — это цифровая, гибкая, интеллектуальная, «знаниевая» экономика, выстроенная на прогрессивном развитии технологий. Цифровизация — это один из ключевых процессов в формировании нового типа экономики, связанный с изменением в обращении и хранении информации.

Перевод информации в цифру (1, 0) — что это как не технологизированная бухгалтерия? Цифровизация, по сути, представляет собой процесс капитализации знания и информации. Цифровизация знания в какой-то мере формирует новый виток в развитии капиталистической рациональности [Наумова, 2015], в основе которой лежит бухгалтерия и счет. Еще в 1902 г. известный социолог Вернер Зомбарт [Зомбарт, 1903] выдвинул тезис о том, что в основе формирования экономического мышления лежит бухгалтерия. Практики подсчета доходов и убытков не всегда были основой ведения коммерческих сделок и торговых отношений. Феномен подсчета прибыли как обоснование логичности, а значит, и рациональности коммерческих сделок и в целом экономического поведения людей — это то, что, однажды возникнув, так и не перестало быть ключевым, если мы говорим о возможности предложить более или менее универсальную матрицу для описания социальных отношений. Калькулятивное отношение к миру как рациональный подход к нему — вот что значит бухгалтеризация как культурный код капитализма, начиная от капитализма 1.0 и вплоть до капитализма 4.0.

Помимо цифровой дифференциации капитализма (на первый, второй и т. д.), в гуманитарной традиции принято связывать различные его формации с таким понятием, как «дух». И более конкретно, формирование калькулятивного способа мышления связано с «духом» капитализма, а он, в свою очередь, находит проявление в фигуре предпринимателя. Несмотря на популяризацию фигуры предпринимателя как человека рискованного, дерзкого и нарушающего правила, фундаментальным базисом предпринимательской жилки является бухгалтерия, способность к счету, которая позволяет наживать и приумножать капитал. Предприниматель-промышленник в прошлом или цифровой предприниматель сегодня, независимо от всех трансформаций экономической

системы, представляет собой носителя ментального калькулятивного культурного кода.

Что в себе заключает бухгалтерский счет? Учет дохода и расхода — это первая фиксация обращения капитала, цифровое свидетельство его главной сущности, а именно постоянного роста. Капиталистическое мышление устроено так, что рост капитала является целью всей его деятельности, и вне зависимости от того, осуществляется ли эта цель в материальном производстве или в цифровой экономике знаний, суть остается неизменной.

Бухгалтеризация — это культурный код капитализма, начиная с XIX века и по сей день. Цифровой мир является носителем калькулятивной рациональности. Проследить момент зарождения ментальной бухгалтерии, ее развития и способов преемственности вплоть до XXI века — задача представленного текста.

Зомбарт и Вебер: о капиталистическом «духе»

Немецкий социолог Зомбарт в своей работе «Современный капитализм» пишет о том, что капиталистический предприниматель реализует следующие три функции:

- 1) распределительно-организующую (привлечение других людей), так как общественная сила капиталистического предприятия коренится в неизбежной связи людей между собой;
- 2) спекулятивно-расчетную, которая состоит в счете прибылей и убытков, в денежной оценке всякого действия. Эта характеристика сочетает в себе спекулятивные и калькулятивные виды деятельности;
- 3) рационалистическую, которая отвечает за причинно-следственную связь.

Зомбарт отмечает, что «творческий предприниматель — это спекулятивная голова; это синтетик, который находится в таком же отношении к среднему предпринимателю, простому счетчику, как гениальный мыслитель к ученому рутенеру» [Зомбарт, 1903, с. 209]. Очевидно, что Зомбарт частично героизирует фигуру предпринимателя, что и является предпосылкой для привнесения позитивного смысла в понимание капитализма. Однако только фигуры

предпринимателя оказывается недостаточно, чтобы полностью сменить акценты в эмоциональной нагруженности термина. Зомбарт вводит в ткань повествования понятие «дух» капитализма: «специфически-современное мирозерцание, построенное на постулате строгой причинности, есть порождение глубочайших недр капиталистического духа» [Зомбарт, 1903, с.209], и далее, «под словом «капиталистический дух» следует разуметь все те психические предрасположения, которые, как мы видели, свойственны капиталистическому предпринимателю, как то: стремление к наживе, счетная способность, экономический рационализм. Для того чтобы капитализм стал возможным, предварительно нет необходимости ни в каком ином чуде, как в воплощении именно этого экономического рационализма в образе *economical men* классической политической экономии» [Зомбарт, 1903с. 215]. Так, дух по Зомбарту — это психологические характеристики, свойственные предпринимателю, нашедшие свою объективацию в капитализме как в наиболее эффективной форме производства, в которой воплощаются следующие принципы: получение прибыли (абстрактная цель), калькуляция (бухгалтерский учет), экономический рационализм.

Очевидно, что Зомбарт привносит субъективный элемент в понимание капитализма через определенную героизацию фигуры предпринимателя, без которой и объективация капиталистического духа была бы невозможной. Дело в том, что, по мысли Зомбарта, сама по себе капиталистическая организация производства в рамках предприятия оказалась возможной только потому, что определенные хозяйственные субъекты, «одержимые» капиталистическим духом, оказались способны к первоначальному накоплению металлических денег, которые потом и были преобразованы в капитал в рамках капиталистической организации труда. Именно понятие «духа» отличает концепцию Зомбарта от теории Маркса, так как привносит в содержание понятия «капитализм» новые термины, а именно «калькуляция» и «бухгалтеризация», которые и легли в основу нового типа экономической рациональности, определяемой в качестве капиталистической рациональности.

В основе понятия экономической рациональности, согласно Зомбарту, лежит система счета по методу двойной записи (*partita*

doppia, double-entry bookkeeping), которая нашла свое развитие в XIII веке в Италии (Флоренция, Венеция) и впоследствии имела широкое распространение по всей Европе. Теоретическое обоснование коммерческой арифметика (бухгалтерия) по методу двойной записи получила в труде «Summa arithmetica» (1494) у Ф.Л. Пачоли. Бухгалтерия по методу двойной записи зародилась и установилась в наиболее экономически развитых регионах, когда капитализм в различных его проявлениях (торговый, ростовщический, финансовый, народный и т.п.) еще только начинал появляться. Такая бухгалтерия легла в основу особого типа хозяйственного мышления, которое постепенно сформировалось у предприимчивых купцов, торговцев и банкиров, и нашла отражение в многочисленных дошедших до нас учетных книгах, деловых записях, расходных книгах. Появление двойной (диграфической) бухгалтерии связано с постепенной монетизацией деловых отношений и переходом всех расчетов в стоимостное измерение; по сути дела, двойная запись убытков и прибыли — это счет кругооборота капитала. В этом отношении основная мысль Зомбарта заключается в том, что из практики бухучета по методу двойной записи сформировалась новая единица общественных отношений, а именно капитал. Так система учета денежного оборота по методу двойной записи и явилась основой для формирования капитализма и особого типа экономической рациональности, которая обрела наиболее полное воплощение в промышленном капитализме.

Идею Зомбарта о духе капитализма и капиталистической рациональности развивает Макс Вебер в своем труде «Протестантская этика и дух капитализма» (1905). Так как теория Вебера достаточно популярна и многим знакома, то мы коснемся только основных моментов его учения, связанных с толкованием понятия «капитализм» и «дух». Вебер дает следующее определение капитализма: «“Капиталистическим” мы будем здесь называть такое ведение хозяйства, которое основано на ожидании прибыли посредством использования возможностей обмена, то есть мирного (формально) приобретательства» [Вебер, 1990, с. 48]. Согласно Веберу, капиталистическая деятельность направлена на планомерное использование материальных средств для получения прибыли таким образом, чтобы исчисленный в балансе конечный доход предприятия, выраженный

материальными благами и в денежной ценности превышал «капитал», то есть стоимость использованных в предприятии материальных средств. Подобно Зомбарту, Вебер полагает, что в основе функционирования капиталистического предприятия лежат калькуляция и рациональное поведение. Западный капитализм, возникший в Новое время, отличается от всех других капитализмов, по мнению Вебера, (таких как «авантюристический» капитализм, иррационально-спекулятивный и других, которые имели место быть всегда и везде, в том числе и на Востоке) тем, что основной его характеристикой является рациональная организация свободного (формально) труда. Рациональная организация капиталистического предприятия для Вебера обусловлена: 1) отделением предприятия от домашнего хозяйства и связанной с этим бухгалтерской отчетностью; 2) отделением места производства и продажи товаров от места жительства, причем капиталистическое предприятие характеризуется высокой степенью автономии. Так, Вебер особенно подчеркивает тот момент, что его концепция касается исключительно западного капитализма, поскольку нигде больше рациональная организация свободного труда в форме предприятия не смогла породить такой класс, как пролетариат.

На службе у западного развития капитализма стояло научное знание, техническое применение которого и дало толчок для развития промышленности. Причем, по мнению Вебера, эффективное взаимодействие науки, техники и капитализма является отражением особого социального устройства западного общества, выраженного в рациональной структуре права и управления. При этом, как отмечает Вебер, экономический рационализм находится в прямой зависимости не только от рационального права и рациональной техники, но также от способности и предрасположенности людей к определенным видам практически-рационального поведения. Вебер отмечает обусловленность «хозяйственного мышления», выраженного в экономической рациональности, определенной религиозной направленностью, а более конкретно, рациональной этикой аскетического протестантизма. Вебер приводит в качестве подтверждения своей мысли тот факт, что католики и протестанты выбирают разные сферы деятельности, первые — гуманитарную, традиционную, иногда ремесленную, вторые —

предпринимательскую, промышленную. И делают они это потому, что у них разное религиозное воспитание, так как именно религиозное воспитание и определяет выбор профессии.

В отношении капиталистического духа Вебер предлагает следующее определение: «Дух капитализма — это такой строй мышления, для которого характерно систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии» [Вебер, 1990, с.85]. Вебер отмечает, что подобный строй мышления нашел в капиталистическом предприятии наиболее адекватную форму выражения в качестве движущей силы предприятия. Согласно Веберу, от традиционализма (как главного врага капитализма) люди переходили не в силу притока новых денег и их накопления, а в силу вторжения нового духа, то есть духа современного капитализма. Именно он добывает денежные ресурсы. Капиталистическое отношение к труду — это отношение к труду как к самоцели, как к призванию. Дух современного западного капитализма является этически окрашенной нормой, которая регулирует уклад жизни. Яркое выражение духа капитализма, по мнению Вебера, — это всем известное поучения Франклина: «время — деньги, кредит — деньги».

Постзомбартовские дебаты: моральный аспект бухгалтерии

Идея Зомбарта о связи бухгалтерии с развитием капитализма и формированием особого типа рациональности получила свое критическое развитие в трудах исследователей, которые занимаются историей счета (accounting history). Наиболее яркие представители данного направления — это Б. Ями (B. Yamey) Я. Лемаршан (Y. Lemarchand), Б. Дж. Каррузерс (B. G. Carruthers), В. Н. Эспеланд (W. N. Espeland) и Р. А. Брайер (R. A. Bryer). Постзомбартовские дебаты получили широкое и подробное освещение в статье Эвы Кыяпелло «Счет и рождение понятия капитализм» [Chiapello, 2007, р. 264]. Еще раз стоит подчеркнуть, что Зомбарт в своей работе «Современный капитализм» обосновывает тезис о том, что «капитализм и система двойной записи абсолютно неразрывно связаны; они соотносятся как форма и содержание» [Chiapello, 2007, р. 264]. Стоит напомнить, что Зомбарт в принципе связывает развитие

экономики с появлением системы записи торговцами различных манипуляций с деньгами, средствами производства, вещами и т. п. Эти записи сначала были несистемными, нерегулярными, случайными, но с течением времени, по мере усложнения производства, системы деловых отношений, человеческого мышления приобрели четкий, упорядоченный, сбалансированный, прогностический характер, и произошло это благодаря применению системы двойной записи. Появление и укоренение бухгалтерской системы двойной записи, по мнению Зомбарта, свидетельствовало о том, что рациональный подход к ведению дел, связанный с необходимостью вычисления расходов и прибыли, постепенно стал нормой, что и положило начало формированию различных предпринимательских стратегий, имеющих цель максимизировать прибыль. Важным моментом в рассуждении Зомбарта является мысль о том, что именно использование бухучета по методу двойной записи обеспечило возможность проследить процесс формирования капитала и оборота капитала. В этом отношении бухучет по методу двойной записи стал той практикой, которая обнаружила капитал как новую единицу в культурной жизни общества. Капитализм оказался такой формой производства, в основе которой лежат бухгалтерия по методу двойной записи, регуляции кредита и дебета, воплощающие рациональную тенденцию нацеленности на прибыль и стремление к накоплению капитала.

Один из критиков концепции взаимосвязи капитализма и бухучета — английский историк Б. Ями [Yamey, 2005, р. 77–88]. Его тезис состоит в том, что точное вычисление прибыли как основа предпринимательской деятельности не было на практике уж так распространено среди торговцев, купцов, а впоследствии и бизнесменов, и в принципе подсчеты прибыли производились нечасто; более того — они не носили системный характер. Согласно историческим исследованиям Ями, записи о ежегодных подсчетах предпринимателей стали появляться достаточно поздно, только во второй половине XVIII века. Кроме того, в ходе исследований сохранившихся учетных записей видно, что учет расходов и доходов на самом деле не был прогностическим и никак не влиял на дальнейшее принятие бизнес-решений. Аргумент Ями состоит в том, что система бухучета методом двойной записи может быть интерпретирована скорее как ориентированная на прошлое и его

анализ, чем реально имеющая влияние на принятие стратегических бизнес-решений. Критический момент в отношении Зомбарта заключается в том, что Ями не принимает тезис о том, что бухгалтерия по методу двойной записи и система счета в целом являются источником деловой/предпринимательской рациональности.

Следующий критик Зомбарта и участник постзомбаровских дебатов — это Я. Лемаршан [Lemarchand, 1994, p. 119–145]. Его аргумент состоит в том, что до XIX века на предприятиях использовались одновременно две системы счета: бухучет методом двойной записи, унаследованный из практики отчетности торговцев, и финансовая система, произошедшая из практики отчетности землевладельцев. Впоследствии, как отмечает Лемаршан, они были объединены в одну общую систему двойной бухгалтерии, и произошло это не ранее, чем в XIX веке. По мнению Лемаршана, такая новая гибридная система бухгалтерии включает более сложный набор методов счета, чем ее первоначальный вариант. Аргумент Лемаршана против Зомбарта состоит в том, что предприниматели использовали различные системы счета, учета расходов, прибыли, в том числе инвентаризацию, а не только систему двойной бухгалтерии.

Другие участники постзомбаровских дебатов — Б. Дж. Каррузерс и В. Н. Эспеланд [Carruthers, Espeland, 1991, p. 31–69] — выдвигают довольно интересную мысль о взаимосвязи счета с зарождением капитализма. По их мнению, Зомбарт и его оппоненты подходят к вопросу капиталистической рациональности с достаточно технических позиций, предполагая, что практика счета помогает принятию рационального решения. Тезис мыслителей состоит в том, что связь практики счета и понятий «капитализм» и «рациональность» может быть рассмотрена через риторические границы и процедуры обоснования справедливости (justification). Подсчет вносит легитимность в те практики (торговля, ростовщичество, финансовые сделки), которые изначально осуждались законом или считались не до конца законными. Каррузерс и Эспеланд выдвигают следующее суждение: система бухучета методом двойной записи имеет отношение к практическому изменению порядка законности. Их идея состоит в том, что в отличие от докапиталистического периода, когда коммерческая деятельность не

была напрямую связана с необходимостью точного подсчета прибыли, в период с XV–XVI века торговцы, купцы и предприниматели начали использовать счет в качестве обоснования справедливости проводимых ими сделок; тем самым они учреждали новый порядок законности. Это означает, что в основе практики счета лежит не только рациональность, но и справедливость, и именно последняя послужила тем моральным аргументом, который учреждал новый порядок ведения дел через обоснование необходимости и важности счета.

Логика баланса между дебетом и кредитом («аристотелевская справедливость») легла в основу обеспечения законности/справедливости деловых отношений. Авторы отмечают, что в учетных книгах засвидетельствованы обращения и благодарности к Богу как гаранту справедливости сделок, а со временем наблюдается тенденция обращения к моделям обоснования справедливости, которые строятся на риторике бухгалтерского учета, подкрепленного принципом рациональности. Тезис Каррузерса и Эспеланда представляется интересным в силу того, что на базе него можно вынести заключение о том, что капитализм в основе своей содержит не просто принцип калькуляции и рациональности, а что капитализм является риторической фигурой, легитимирующей новый порядок законности через обращение к принципу справедливости. Капитализм и капиталистическая рациональность формируются не из практики счета денег или записи оборота капитала, а из речевых практик обоснования справедливости сделок (justification), что, собственно, и позволяет мыслить капитализм как дискурс, а не просто как экономический феномен.

Идея Брайера, как одного из участников постзомбаровских дебатов, представляется также достойной внимания. Брайер отталкивается в своих рассуждениях от того, что в связке «бухгалтерия по методу двойной записи — капиталистическая рациональность» необходимо обратить внимание не на запись (по двойному принципу или какому-либо иному), а на саму практику счета, которая послужила источником возникновения записей как свидетельства зарождения капитализма и рациональности. Так, по мнению мыслителя, сама техника счета воплощает в себе определенный тип мышления и дух эпохи. В этом отношении Брайер видит свою задачу в том, чтобы обосновать связь между идеями

Маркса и концепциями Зомбарта и Вебера. Брайер придерживается мнения о том, что невозможно отделить историю развития капитализма от истории развития бухгалтерского учета и что, собственно, историческая концепция Маркса, описывающая переход от феодализма к капитализму, также работает в рамках данной взаимосвязи. При этом необходимой целью исследований в данной области Брайер видит не просто установление связи бухучета с возникновением капитализма, а рассмотрение различных методологий бухгалтерского счета в ходе развития истории как ключевых для формирования различных стадий развития капитализма и соответствующих им типов рациональности.

Эва Кыяпелло, как участница постзомбартовских дебатов, отмечает, что представленные исследователи в своей полемике с Зомбартом не пытаются определить, что такое капитализм и более того, осмысляют бухгалтерию по методу двойной записи вне соотношения с капитализмом в качестве понятия. По мнению Кыяпелло, понятие «капитализм» получает развитие в социальных науках в ходе попыток осмысления экономических, культурных и исторических изменений, происходящих в обществе, в силу чего неверно видеть истоки происхождения понятия в коммерции, бизнесе или в истории развития счета. Свое исследование Кыяпелло начинает с воспроизведения тех фактов в становлении «капитализма» в качестве понятия, которые уже были нами освещены в первом параграфе. Она также отмечает роль Шеффле, Зомбарта и Вебера в популяризации термина, отмечая, что Маркс его не употреблял.

Кыяпелло разделяет тезис о том, что именно бухгалтерия по методу двойной записи и ее принципы легли в основу формирования Зомбартом понятия «капитализм». В связи с этим Кыяпелло считает необходимым начать исследование с постановки следующего вопроса: что сам Зомбарт вкладывает в понятие «капитализм»? Как полагает Кыяпелло, Зомбарт заимствует это понятие из учения Маркса. В своем труде «Современный капитализм» Зомбарт признает, что именно Маркс был тем, кто «фактически открыл понятие капитализм»» [Chiapello, 2007, p. 277]. Первое определение капитализма, которое Зомбарт дает в своей работе, по мнению Кыяпелло, свидетельствует о хорошем знакомстве автора с «Капиталом» Маркса: «Капитализм означает такую эконо-

мическую систему, которая в значительной степени характеризуется господством “капитала”» [Chiapello, 2007, p. 277]. По мнению Кьяпелло, дать такое краткое и емкое определение капитализма без пояснения самого термина «капитал» может только мыслитель, хорошо знакомый и придерживающийся концепции Маркса. Кьяпелло считает, что для того, чтобы понять, как и почему Зомбарт начал использовать понятие «капитализм», необходимо обозначить, какой смысл он вкладывал в «экономическую систему», раз он определял капитализм как одну из экономических систем. Как отмечает Кьяпелло, Зомбарт понимает под ней способ обеспечения материальных благ, в нее с необходимостью включены три компонента: дух, форма организации труда и техника. Так, некоторые специалисты в данной области [Sombart, 2001, p. 9–11] отмечают, что цель исследований Зомбарта состояла в том, чтобы завершить марксистскую перспективу рассмотрения капитализма, дополнив ее обоснованием психологической и социокультурной составляющей в происхождении и развитии капитализма. Кьяпелло, придерживаясь такой же точки зрения, выдвигает тезис о том, что введение в поле гуманитарных наук Зомбартом понятия «капитализм» является завершением той работы, которую не осуществил когда-то Маркс, и что понятие «капитализм» в основе своей содержит понятие «капитал» и весь тот смысл, который в него вкладывал Маркс.

Кьяпелло, теоретик в области истории понятий, считает: чтобы разобраться, что означает понятие «капитализм», необходимо обозначить ту практику, которая лежала в основе его формирования. А так как исследовательница придерживается мнения о том, что смыслообразующим понятием в данном случае выступает «капитал», то, следовательно, необходимо обратиться к учению Маркса с целью понять, какая практика послужила причиной создания понятия «капитал» — она и станет формообразующей для понятия «капитализм». Кьяпелло, основываясь на материалах I и II тома «Капитала», производит реконструкцию тезиса Маркса о том, как через форму товарного обращения деньги превращаются в капитал. Далее, вслед за мыслью Маркса, она переходит к анализу стоимости в качестве отдельно действующего субъекта и в связи с этим обращается к разработке понятия прибавочной стоимости. По мнению Кьяпелло, когда Маркс обращается

к формированию понятия прибавочной стоимости как определяющей сущность того, что представляет собой капитал, становится очевидно, «что капитал, который он (Маркс. — Е. Н.) определяет <...> как постоянно движущийся и меняющий свою форму, и потому сложный для описания — становится видимым в счете» [Chiarello, 2007, р. 283]. На этот момент в рассуждениях Кьяпелло необходимо обратить особое внимание, так как автор, по сути дела, утверждает, что сущность капитала, заключенная в законе прибавочной стоимости, оказывается нам явлена в счете. Кьяпелло полагает, что Маркс вывел закон прибавочной стоимости именно в ходе работы с эмпирическим материалом, связанным с ведением производства. Благодаря тому, что Энгельс был начальником и работником промышленного предприятия, Маркс имел доступ к финансовым бумагам, отчетам и прочей бухгалтерии, сопровождающей процесс производства, из анализа которых и были сформированы понятие «капитал» и закон прибавочной стоимости. Так, по мнению Кьяпелло, теоретическое осмысление практики счета на предприятии, предпринятое Марксом, и легло в основу понятия «капитал», а следовательно, и «капитализм».

Таким образом, Кьяпелло обосновывает положение о том, что понятие «капитализм», введенное в научный оборот Зомбартом, является словоформой понятия «капитал», разработанного в учении Маркса. Что касается понятия «дух», то Кьяпелло определяет его как «идеологию, оправдывающую вовлеченность в капитализм» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 42]. Исходя из данных рассуждений, становится очевидным, что понятие «капитализм» складывается из понятия «капитал» и понятия «дух». Это означает, что именно «дух» формирует «капитализм» как позитивный феномен, как такую систему, в которую каждый человек должен включиться. И, действительно, если Зомбарт через героизацию фигуры буржуа-предпринимателя совершает первый шаг на пути легитимации капитализма как системы, воплощающей буржуазные ценности, то Вебер, по мысли Кьяпелло, закрепляет эту тенденцию, отстаивая идею о том, что «возникновение капитализма предполагало учреждение нового морального отношения к труду. Труд — это призвание, ему должно отдаваться со всей строгостью и последовательностью, независимо от интереса и трудовой деятельности» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 43].

Поскольку труд стал призванием человека, которое необходимо осуществить в ходе земной жизни, это способствовало преодолению отвлеченности человека от своего дела, что нашло поддержку и развитие в капиталистических формах организации труда. Религиозное понимание труда явилось психологической мотивацией для того, чтобы человек совершенствовал свой труд и добивался успеха. Подобная новая установка оказалась возможна в силу того, что предприниматели воплотили психологическую мотивацию к труду в «рационализации своего дела, которая была неразрывно связана с достижением максимальной прибыли» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 43]. Рабочие же реализовали данную установку в необходимости усердного труда в любых условиях и при любых денежных вознаграждениях. И здесь важным моментом для нас является не столько влияние протестантизма на развитие экономической жизни общества (критиками этой точки зрения были Р. Бендикс, Р. Арон, Д. Маршалл), сколько идея о том, что «людям нужны прочные моральные основания, чтобы принять сторону капитализма» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 44].

Идеологизация понятия «капитализм» связана с тем, что людям были предоставлены оправдания для включения в капитализм: «оправдание» имеет двоякий смысл «и как нечто индивидуальное (когда человек обретает мотивы вступления в капиталистическое предприятие), и как нечто универсальное (включенность в капиталистическое предприятие служит общим благом)» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 45]. Получается, что идеологизация понятия «капитализм» сделала свое дело, «раз капитализм не просто выжил, — вопреки всем прогнозам, в которых предсказывался его крах, — но и постоянно расширяет сферу своего господства, значит, ему удалось опереться на определенные представления — которые могли направлять человеческую деятельность — и разделяемые многими оправдания, в которых он представал как приемлемый или даже желанный тип общественного устройства, более того, как единственно возможный или наилучший из всех строй» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 45]. Так, идеологизация понятия «капитализм», связанная с моральной риторикой, возникает из необходимости разрешить противоречие, с которым сталкивался человек, вступавший на территорию капитализма: с одной стороны, у него появляется возможность реализовать страсть к наживе

и обогащению, а с другой, остается необходимость осмысления своих действий с точки зрения всеобщих принципов. Моральным обоснованием страсти к накоплению в условиях капитализма служат два ключевых понятия — это справедливость и свобода. Капитализм справедлив, так как открывает возможность достижения общего блага через процесс самореализации в труде и конкуренцию. Капитализм воплощает принцип свободы, поскольку предоставляет равные возможности для каждого с целью достижения успеха и благосостояния. Необходимо отметить, что и понятие «рациональность» благодаря моральной риторике обоснования справедливости капитализма становится новой категорией морали. Так, калькулятивная/капиталистическая рациональность оказывается тем моральным принципом, который позволяет ограничить страсть к наживе.

Анализ постзомбартовских дебатов предоставил возможность поставить под вопрос однозначность связи между бухгалтером по методу двойной записи, капитализмом и рациональностью. Стало очевидно, что бухгалтер и калькулятивная рациональность не соотносятся как причина и следствие и что у возникновения и укоренения практики счета могли быть моральные основания. Идеологизация понятия «капитализм» связана с тем, что в его содержание был привнесен моральный принцип справедливости, который выполнял риторическую функцию обоснования возможности включения человека в капиталистическую систему отношений. Так, счет и его необходимость при заключении сделок в определенный момент стали воплощать собой принцип справедливости, а калькулятивная рациональность явилась моральным аргументом, ограничивающим свойственную человеку страсть к наживе и обогащению. В этом отношении научная история понятия «капитализм» воплощает собой разработку моральных аргументов, которые должны были служить легитимации деловых и предпринимательских практик в повседневной жизни общества. При этом бухгалтер по методу двойной записи становится золотым правилом морали, выраженным в числовом эквиваленте. В этом отношении он действительно связан с формированием капиталистической рациональности и капитализмом, но не как чистая калькуляция, воплощающая точность и порядок, а как наглядная демонстрация справедливости капиталистической системы в целом. И именно

ускользающая природа прибавочной стоимости, которая не поддается никаким подсчетам, оказалась скрыта за «ширмой» бухучета по методу двойной записи. Очевидно, что принцип справедливости, который тесно связывается с капитализмом, необходим для того, чтобы скрыть истинную сущность капитализма, оставить в тени ту его сторону, которая не имеет ничего общего ни с моралью, ни со свободой, ни со справедливостью. Рациональность и счет, приписываемые капитализму, позволяют обнаружить его иррациональную сторону и даже отнести капитализм к разряду религий: «Дух капитализма и представляет собой эту совокупность связанных с капиталистическим строем верований, которые способствуют оправданию этого строя и поддерживают — через их легитимацию — соответствующие ему способы действия и позиции» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 46].

Относительно понятия «дух», который привносит идеологическое содержание в «капитализм», необходимо отметить, что «дух» содержит несколько характеристик, которые выступают на первый план в зависимости от изменения капиталистических практик. Согласно тому, какая из характеристик духа выступает на первый план, различают как минимум три «духа» капитализма [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 60]. Нами уже было отмечено, что ключевые понятия эпохи отражают в себе практические изменения жизни общества; так, «первый» дух капитализма был связан с легитимацией деловых и предпринимательских практик в повседневные контексты и воплощал обоснование справедливости для включения людей в капиталистическую систему отношений. «Первый» дух капитализма возник из риторических практик, обосновывающих моральность коммерческих сделок, и нашел воплощение в бухгалтерии по методу двойной записи, которая легла в основу капиталистической рациональности, пришедшей на смену страсти к наживе и накопительству. «Второй» дух капитализма наиболее ярко проявляется в ситуации формирования массового производства и массового потребления (1930–1960-е годы XX века), когда акцент смещается с фигуры предпринимателя на роль предприятия и того места, которое в нем занимает человек/служащий/рабочий. Предприятие оказывается гарантом безопасности и стабильности жизни рабочего и директора (управленца) производства. Обоснование справедливости капитализма

обретает все более ярко выраженный социальный характер, капитализм оказывается воплощением морального идеала гражданственности. В рамках капиталистического предприятия осуществляются институциональная солидарность, социализация производства, распределения и потребления, и это означает, что сама структура капиталистического предприятия становится направленной на установление социальной справедливости. Примером подобной компании можно считать IBM, где каждый служащий чувствовал себя в безопасности, имел перспективы карьерного роста, стабильный социальный пакет и т.п. Так, именно риторические практики обоснования социальной справедливости капитализма дали возможность «второму» духу капитализма явиться мощной мобилизующей силой для включения людей в новые условия развития капитализма. На данный момент, когда капиталистическая система напрямую не связана с деятельностью предприятий, когда производство отходит на второй план по сравнению с развитием финансового сектора экономики, а капитализм становится глобализированным и интернациональным, появляется возможность говорить о «новом»/«третьем» духе капитализма.

«Новый» дух капитализма находит моральное обоснование в свободе, которая на практике выражается в ненормированном рабочем дне, в возможности удаленного труда, реализации креативного потенциала, в отсутствии иерархий. Новый этап развития капитализма отличается преобладанием сетевого и проектного способов организации трудовой деятельности, основанных на коммуникации и тесном личном сотрудничестве. Так, возможность делать что-то новое вместе, на волне энтузиазма, без какого-либо регламента, будучи друзьями и идейными соратниками, через свободную циркуляцию идей, чувств и смыслов — вот что предлагает капитализм сегодня. Это дружественный капитализм (*friendly capitalism*), который представляет себя в качестве проекта, к которому каждый может быть причастен. Современный капитализм эффективно реализует себя через интернет-коммуникацию, социальные сети, виртуальное общение — умение говорить, писать, думать, придумывать является новым источником извлечения капитала. Так называемая *sharing economy* строится на необходимости обмена информацией, распространения знаний, производства инноваций и т.п. При этом капитализм совершает

мощную экспансию на территорию жизни, в силу отсутствия нормированного рабочего дня (*freelance*); человек работает постоянно, и днем и ночью, и дома, и в публичных местах. Современный капитализм — это капитализм без классовой борьбы¹, так как категория «класс» перестает существовать. Капитализм формирует новые культурные конгломераты, субкультурные общности, которые воплощают капиталистический стиль жизни, такие как хипстерство (от *англ. to be hip* — «быть в теме»), яккиизм² (от *англ. yuccies, young urban creatives*), гикизм (от *англ. geek* — люди, одержимые технологическим «духом»), прекаризм (от *англ. precarious* — «хрупкий, нестабильный») и т. п. В этом отношении можно с известной степенью определенности сказать, что «третий» дух капитализма — это дух высоких технологий, сверхскоростей, фрагментации пространства и времени, инноваций, симуляций и в целом виртуализации, финансиализации [Буквич, Очиц, 2013, с. 3–17], цифровизации экономической и культурной жизни общества. Так, мы видим, что «новый» дух капитализма — это привнесение неолиберальной идеологии в структуру и содержание понятия «капитализм». Такие категории, как «сеть», «проект», «маркетинг», «мобильность», «коммуникация», «знания» и т. п., определяют понятие «капитализм» сегодня. Моральным оправданием капитализма, гарантирующим включенность в него людей, является возможность одновременно предоставить человеку свободу и занятость. Так, поколение «бунтующих 60-х», требовавшие свободы и самореализации, обрело и то и другое в новом типе капитализма, что послужило моральным основанием, чтобы включиться и развиваться внутри этой системы. «Новый» дух капитализма обладает достаточно мощным мобилизующим потенциалом именно потому, что действует ненавязчиво, создавая иллюзию свободного выбора и самостоятельного решения каждого быть к нему причастным.

¹ См. о работе С. Жижека «Что такое китаизация?». URL: <http://theoryandpractice.ru/posts/10779-sinicisation> (дата обращения: 25.09.2019).

² Infante D. The hipsters is dead, and you might not like who comes next // Mashable. 2015. Jun 09. URL: <http://mashable.com/2015/06/09/post-hipster-yuccie> (дата обращения: 30.09.2019).

Литература

- Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛЮ, 2011.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- Зомбарт В. Современный капитализм. М.: Изд-во Д. С. Горшкова, 1903.
- Наумова Е. И. Капитализм и культура: философский взгляд. СПб: Фонд развития конфликтологии, 2015.
- Букович Р., Очиц Ч., Финансиализация и современные экономические кризисы // Вестник НГИЭИ. 2013. № 3 (22).
- Хардт М., Негри А. Множество. Война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006.
- Carruthers B. G., Espeland W. N. Accounting for Rationality: Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Economic Rationality // American Journal of Sociology. 1991. 97 (1). P. 31–69.
- Chiapello E. Accounting and the birth of the notion of capitalism // Critical Perspectives on Accounting. 2007. No. 18 (3). P. 263–296.
- Kaletsky A. Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy. London, Berlin, New York, Sydney: Bloomsbury, 2010.
- Lemarchand Y. Double-entry versus charge and discharge accounting in eighteenth-century France // Accounting, Business and Financial History. 1994. No. 4 (1). P. 119–145.
- Moulier-Boutang Y. Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press. 2011.
- Sombart W. Economic Life in the Modern Age / eds N. Stehr, R. Grundmann. New Brunswick: Transaction Publishers. 2001.
- Yamey B. The historical significance of double-entry bookkeeping: Some non-Sombartian claims // Accounting, Business and Financial History. 2005. No. 15 (1). P. 77–88.

Блокчейн и биткоин: цифровые технологии в философском контексте*

Автор рассматривает возможности философского исследования технологии блокчейн и криптовалюты биткоин. Статья демонстрирует несколько философских подходов к пониманию сущности новых технологий в культурном контексте. Во-первых, автор показывает, что основные аргументы блокчейна лежат в области идеологии, а не технологии: блокчейн связан в первую очередь с ценностями и идеями; следовательно, философское размышление о блокчейне может быть содержательным и продуктивным. Во-вторых, используется семантический подход к термину «блокчейн», благодаря которому показывается многообразие историко-культурных коннотаций понятия «цепи» (chain) в теологии, литературе, биологии и современном искусстве. В этом разделе автор также обращается к теологическому смыслу понятия «цепь», чтобы объяснить феномен религии блокчейна. В-третьих, в статье рассматривается один из важнейших аспектов блокчейна — криптография в контексте искусства сокрытия. Показывается философская связь шифрования и истолкования тайны и сокрытого, а также переход к новой шпионологической парадигме доверия и подозрения. Наконец, возможности и влияние блокчейна рассматриваются в контексте теории постиндустриального общества Д. Белла. Для сравнения используются выводы работы лорда У. Рис-Могга и Дж. Дэвидсона «Суверенная личность: овладение переходом к информационной эпохе».

Ключевые слова: философия, новые технологии, блокчейн, биткоин, постиндустриальное общество, шифрование.

Блокчейн: не только технология, но и философия

Технологии блокчейн, стремительно набирающие популярность, становятся предметом исследований многих дисциплин, но философских размышлений над ролью этих технологий и их последствий в жизни человека и общества на данный момент недостаточно. До сих пор большинство людей, включая философов, с трудом представляют себе принцип действия и смысл этих тех-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-011-00920 А «Революционные преобразования в науке как фактор инновационных процессов: концептуальный и исторический анализ».

нологий — цепочек из большого количества информационных блоков — в практической жизни. Соответственно, возникает вопрос: а нужны ли вообще какие-либо философские размышления над темой, принадлежащей, на первый взгляд, сугубо технической, узкопрофессиональной области, с практически содержательной стороной? О чем здесь, собственно говоря, может быть философское вопрошание?

Философия имеет многовековой опыт рассмотрения абстрактных, нематериальных, абсолютных вещей. С точки зрения этого опыта философия способна «ухватить», например, виртуальную сущность биткоина — нематериальной криптовалюты на платформе блокчейн, существующей на основании договоренности и децентрализованного контроля, находящейся в движении в форме анонимных защищенных транзакций. Количество биткоинов ограничено цифрой в 21 млн, но фактически биткоин делится на мельчайшие составные части, невозможные для традиционных денег и позволяет тем самым говорить о некотором потенциале своей метафизической бесконечности. Кроме того, технология блокчейн, основанная на гарантии невозможности изменения записей о происходящих в системе изменениях, задает новую мировоззренческую парадигму: отныне мы можем иметь единую версию человеческой истории, не подлежащую интерпретациям и не имеющую лакун, всякое изменение которой запечатывается шифром под строгим контролем анонимных пользователей и «врезается» в память системы навечно.

При этом проблематичным оказывается вопрос о содержании записей, вносимых в информационные блоки. Очевидно, что контроль анонимных пользователей и защита от исправления внесенной записи хитрой математической формулой гарантирует надежность и прозрачность в работе с информацией. Но кто обеспечит ее истинность? Технология вступает в игру на определенном этапе, когда событие *уже произошло* и превратилось в некий гражданский акт, готовый для занесения в анналы. Но каким образом мы можем убедиться, что данные об этом событии и его интерпретация верны? Кстати, к вопросу об интерпретации. Блокчейн хранит не сам текст, а запись о его размещении в системе. На данный момент плохо представляется возможность корректировки изложения события или его интерпретации; пока что про-

блема касается только бизнес-контрактов, но если мы попробуем экстраполировать эту ситуацию на другие сферы, то обнаружим похожие затруднения. Кроме того, возможна и такая вещь, как разветвление блокчейна, то есть появление двух независимых систем с разными записями о событиях. В этом смысле стоит поднять вопрос о смене парадигмы доверия: что обеспечивает истинность событию? Каков юридический и онтологический статус внесенной информации? Если наше недоверие к государству как к распорядителю и хранителю общественно важной информации настолько велико, что мы вынуждены перейти к более надежному способу, заменив чиновников технологиями, то каковы механизмы, обеспечивающие надежность информации до внесения в блокчейн: нужно ли для этого участие определенных субъектов — экспертов, сообществ?

Очевидно, что, с одной стороны, на данный момент, блокчейн не столько решает проблемы, сколько создает их, и с другой — у нас есть иные технологии, помимо блокчейна, для работы с информацией — например, облачные или электронная подпись [Болдачев, 2017]. Представляется, что основные аргументы блокчейн лежат в области идеологии, а не технологии. Интерес к технологии, которая ставит своей целью обеспечение прозрачности и анонимности одновременно, связан в первую очередь с ценностями и идеями; следовательно, философское размышление о блокчейне может быть содержательным и продуктивным.

Зарубежные исследователи подчеркивают роль философии в понимании технологии блокчейн. «...Цель философии блокчейна состоит в том, чтобы сформулировать концептуальные ресурсы для понимания того, что такое блокчейн и чем он может быть, оценить его потенциальное влияние, преимущества и недостатки, а также новые возможности, которые он предоставляет, как индивидуумам, так обществу. “Философия” здесь используется для обозначения теоретических основ, базовых определений, а также общих абстракций технологии блокчейна, — всего, что может составить концептуальное обоснование понятия блокчейна. Такие концептуальные ресурсы необходимы, потому что технология блокчейна объединяет многие области, такие как математическая криптография, технологии распределенных сетей и управление версиями (например, Git, Tor), финансовый учет (бухгалтерские

книги, создание и перенос баланса счетов), спецификация идентичности, экономика концепции управления и информационная безопасность пользователей. Другая причина, по которой нужны эти концептуальные ресурсы, заключается в том, что блокчейн — сложная идея, которую трудно сразу понять...» [Swan, de Filippi, 2017].

Златая цепь на дубе том: морфологическая эпистемология блокчейна

Философское исследование блокчейна допускает использование различных концептуальных ресурсов и многомерность культурных контекстов. Концептуальная глубина и многомерность открываются через семантический подход к этому термину, то есть через само понятие цепи (chain). Цепь как особенный тип структуры несет в себе некоторые историко-теологические коннотации. Американский философ и историк идей Артур Лавджой (Arthur Lovejoy) в своей известной книге «Великая цепь бытия: история идеи» (1936) отстаивал тезис о том, что «за системами и учениями, за любыми частными интеллектуальными и философскими представлениями скрывается феномен, или несколько феноменов, которые являются элементарными, базисными и более глубокими, нежели любое общее представление. Доктрина любого философа представляет собой нечто комплексное, хотя зачастую сам философ об этом и не подозревает, и именно разнообразные связи базисных элементов определяют оригинальность большинства философских систем» [Хлуднева, 2003]. Итак, история идей состоит из отдельных базисных элементов, подобно звеньям цепи. Идею «великой цепи бытия» Лавджой заимствовал у английского поэта-просветителя Александра Попа, заменив одно слово на «великая». Поп, развивавший эту идею в дидактической поэме «Опыт о человеке» (1732), описывает «обширную цепь бытия» (Vast chain of Being), началом которой является божество; эта цепь охватывает бестелесные существа, человека, животных, птиц, рыб, насекомых. Достаточно нарушить одно мельчайшее звено в цепи, как она разрушится целиком [Аникст, 1974]. Вообще понятие «цепи бытия», представляющее ступенчатость вселенной, структуру иерархического соединения соприкасающихся элементов по горизонтали

и вертикали было известно с античности и стало предметом особенного интереса в эпоху Возрождения, что, в частности, выявляет творчество Шекспира. «В речах персонажей Шекспира отражаются понятия, связанные с великой цепью бытия. Многие, что не знающим этой системы кажется игрой поэтической фантазии, на самом деле — образы, подсказанные всем строем этой всеобъемлющей концепции мира. Например, монарх, занимающий высшее положение среди людей, по понятиям, которым следовал Шекспир, мог быть сравниваем только с теми явлениями, которые в своей сфере занимали такое же царственное положение. Естественно поэтому, что король сравнивается с самым большим светилом Солнечной системы. Когда Болингброк поднимает мятеж против Ричарда II, он, хотя в его руках сила, помнит, что король выше. Говоря метафорически об их предстоящей встрече, он очень точно пользуется соответствиями из цепи бытия и ставит себя ниже Ричарда II» [Аникст, 1974].

Понятие великой цепи бытия связано с представлением об иерархической структуре мира, от высшей духовности к низменной материи. Блокчейн-технология, напротив, разработана как децентрализованная система, в которой пользователи могут в равной степени быть соучастниками происходящего, сохраняя контроль над своей анонимностью. В основании этой цепи лежит совершенно иная схема распределения ценности, которая намекает на собственное теологическое измерение. Поэтому не столь удивительной выглядит идея религии блокчейнов под названием «0xΩ» (читается как «Zero Ex Omega»), развиваемая бывшим генеральным директором блокчейн-проекта Augur Мэттом Листоном (Matt Liston). Листон, публично отказываясь называться новым пророком, заявил, что сходство между религиозной верой и евангельским пылом, связанным с криптовалютами, вдохновило его на создание духовной системы, основанной на блокчейне. «Ценность криптовалют в магазине зависит исключительно от того, насколько другие люди считают, что они должны иметь ценность. Религиозная система задается точно такой же петлей обратной связи» [Bernard, 2018].

В религии Листона, о которой он говорит, впрочем, не без иронии, богом является сама структура блокчейна, коллективный разум. «Мы хотим привнести новые типы мышления и раздвинуть

границы возможностей использования технологий», — отмечает он и признается, что ему надоело, что в новом перспективном технологическом пространстве доминируют инженеры и финансисты [Bernard, 2018].

Представление о многообразии мира, зафиксированного в огромной потенциально неизменной и вечной цепи блокчейна, имеет глубокие историко-космологические корни или по крайней мере изоморфно им. Исследование этих корней и форм их разнообразных экспликаций я называю морфологической эпистемологией. Морфологическая эпистемология блокчейна в своем внимании к концептуальным формам понятия «цепи» не может не заметить использования концепта цепи в современном изобразительном искусстве. Таким образом предстает творчество корейского инсталлятора из Сеула — Ендока Со (서영덕), который создает человеческие скульптуры (как фигуры, так и огромные головы) из велосипедных и промышленных цепей. В этих скульптурах впечатляет контраст обращения к такому утилитарному, однородному материалу, как грубая цепь и стремление к достоверной передаче морфологических нюансов, присущих человеческим лицам и телам. «Художнику удастся придать скульптурам, лишенным, в своем металлическом величии, казалось бы, даже элементарного эмоционального контекста, самые разнообразные чувства и выражения. Так, одна из его работ представляет человека в состоянии глубокой тоски и подавленности. Зритель буквально может прочувствовать весь спектр переживаний, всю печаль и безнадежность, которые вложил в позу скульптуры корейский художник»¹.

Цепь, вызывающая исторические ассоциации со сковыванием, лишением, ограничением, при внешней нейтральности в качестве материала добавляет глубинный смысл изображению тоски и печали человека в современном мире — художник говорит прежде всего о современниках. С одной стороны, творчество Ендока Со кажется близким к идеям стимпанка, с другой — единообразие

¹ Скованные одной цепью: новые скульптуры талантливого корейца, сделанные из велосипедных цепей. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/120114/19751> (дата обращения: 20.10.2019).

материала лишает работы характерных для стимпанка отсылок к прошлому и романтико-ностальгических коннотаций.

Наш обзор концептуальных смыслов и форм понятия «цепи» был бы неполон без поворота к биологии, к цепочкам ДНК, геному. Говоря научным языком, ДНК имеет двухцепочечную структуру, где каждая цепочка представляет собой последовательность нуклеотидов, а метафорически — это и есть великая (или обширная) цепь бытия, объединяющая все живое. Блоки с записью наследственной информации, соединенные между собой в виде цепочки, по сути, тоже могли бы носить имя блокчейна. Биологическая метафора оказывается важной в наше время, когда мы пытаемся понять работу сложных систем, включая блокчейн: рост, отмирание, разветвление блокчейна, эволюционную борьбу криптовалют адекватнее интерпретировать в терминах биологии, нежели математики.

Блокчейн как искусство сокрытия

Криптография, или шифрование, — один из основных аспектов технологии блокчейна. «Шифрование — это способ сокрытия и раскрытия, иначе известный как шифрование и дешифрование информации с помощью сложной математики. Это означает, что информацию могут просматривать только предполагаемые получатели и никто другой. Метод включает в себя получение незашифрованных данных, таких как фрагмент текста, и шифрование его с помощью математического алгоритма, известного как шифр. Все это создает зашифрованный текст, информация его совершенно бесполезна и бессмысленна, пока не будет расшифрована. Этот метод шифрования известен как шифрование с симметричным ключом»². Подходя к криптографии со стороны философского вопрошания, отметим, что философским делом всегда была работа с сокрытым, неявным, истинным, спрятанным за обманчивым многообразием мира. Удивительным образом лучшим инструментом работы с сокрытым оказалась математика, с помощью которой изначально хотели расшифровать книгу природы и зашифровать ту или иную тайную информацию.

² Криптография в блокчейне. URL: <https://academy.thebcj.ru/kriptografiya-v-blokchejne> (дата обращения: 10.10.2019).

Исследователь Ирина Дуденкова предлагает рассматривать криптографию как родственную философии деятельность, которая работает с тайной или секретом в качестве открытого и закрытого, явленного и неявного. Один из философов, на которых она опирается, Жак Деррида, говорит о своем влечении к понятию тайны: «Почему я выбираю слово “тайна”, чтобы говорить об этом? В чем привилегия этого слова по сравнению с самостью, логосом, бытием? Этот выбор не является незначимым, он является стратегией, определен философской мизансценой, которая настаивает на разделении, на изоляции. У меня есть вкус к тайне» [цит. по: Дуденкова, 2017, с. 38]. «Криптографический императив Деррида требует разоблачения шифра, посредника, кодирующего систему, обеспечивающего синтез, согласование и соучастие. Криптомания, тотальное подозрение деконструкции “за этим что-то стоит, только не то, что за этим стоит”, — вывернутая наизнанку процедура радикального сомнения, благодаря которой Деррида указывает на абсолютность и перформативность доверия» [Дуденкова, 2017, с. 38]. Подозрение и доверие — понятия, лежащие в основе технологии блокчейн, задающие новую конфигурацию одновременных анонимности и прозрачности действий субъекта. Дуденкова подчеркивает, ссылаясь на Люка Болтански, что тайна, заговоры и конспирология выходят из философской и политической периферии, превращаясь в новую модель существования государств. «Конспирологическая аргументация объявляется характерной и решающей для современной политики. Практики заговора стары, это бессменная теневая сторона практик власти, но собственно конспирология, “теории заговора” — явление относительно молодое, возникшее в середине XIX века. В это время от объяснения отдельных исторических событий и политических решений переходят к предсказанию длительных социальных и политических процессов, заговор замещает утопическую и эсхатологическую перспективу, превращаясь в универсальную объяснительную модель» [Дуденкова, 2017, с. 25].

Ситуация с современной тотальной слежкой за людьми с помощью фиксации и анализа каждого действия пользователя в сети делает приватность одной из самых чувствительных точек и возводит конспирологию в ряд публично обсуждаемых практик. Свобода начинает мыслиться как гарантированное право на анонимность и контроль над своими данными, который уже не до-

веряется государству. Собственно, об этом идет речь, например, в первом Манифесте криптоанархистов от 1992 г., начинающегося словами «Призрак бродит по современному миру, призрак криптоанархии» [May, 1992]. Впрочем, еще до этого времени, когда представление о роли Интернета в жизни общества имели лишь узкие профессиональные сообщества, а именно в 1985 г. один из первых теоретиков криптографии и предтеча шифропанка³ Дэвид Чаум выразил обеспокоенность о сохранении личной информации будущих пользователей Интернета. «Чаум боялся наступления мира, где на каждого будет существовать виртуальное досье, в котором записаны все его персональные данные, привычки и предпочтения. “Компьютеризация, — встревоженно писал Чаум, — отбирает у людей возможность следить и контролировать, как используется информация о них” [Струнников, 2019]. Именно благодаря этому беспокойству Чаум занялся проблемами шифрования и еще рядом технологий. «Укрепление контроля над конституированием социальной реальности соответствует нарастанию конспирологического беспокойства: секретный мир скрывается за очевидной официальной реальностью» [Дуденкова, 2017, с. 25].

Для понимания конспирологической атмосферы, связанной с блокчейном и биткоином, следует помнить, что личность создателя биткоина до сих пор не установлена. Его создание приписывается некому Сатоши Накамото, которого пока не сумели идентифицировать, но вполне вероятно, что разработку биткоина можно считать коллективным детищем работы сообщества криптологов и шифропанков. Существуют разные версии того, почему изобретатель биткоина предпочел остаться инкогнито. Впрочем, один из известных шифропанков, Джулиан Ассанж, полагает, что разработка криптовалюты и технологии блокчейн, которая служит средством ее функционирования, была настолько передовой в смысле вызова системе фиатных денег, то есть осуществления транзакций, свободных от контроля как государственного, так и коммерческого сектора, что разработчик просто не мог чувство-

³ Шифропанки (Cypherpunks) — энтузиасты-криптологи, сражающиеся за свободу Интернета и за приватность субъекта в цифровом пространстве; также их называют криптоанархистами за либертарианскую позицию.

вать себя в безопасности⁴. Манифесты шифропанков посвящены понятиям «сокрытия» и «тайны» в форме сохранения анонимности для тех транзакций или обмена информацией, где личность непринципиальна. Шифропанк Эрик Хьюз (Eric Hughes), например, пишет в своем манифесте 1993 г.: «... чтобы купить журнал, совершенно необязательно раскрывать продавцу все свои данные. Тем не менее, в связи с повсеместным использованием пластиковых карт у нас уже нет возможности сохранять приватность при совершении любых покупок, так же как и при совершении любых действий в сети, и точно так же у нас нет возможности препятствовать продаже собранной информации о нас и иметь представление о том круге лиц, который может иметь к ней доступ» [Hughes, 1993].

Учитывая подобные мнения, можно утверждать, что человечество вступает в эпоху нового неравенства — информационного. Если раньше рядовой человек продавал на рынке свою рабочую силу, теперь наиболее востребованное из того, что он может предложить, — информация о самых разнообразных деталях своей жизни, которую он вынужден не продавать, а отдавать или использовать в качестве обмена на получение различных услуг, порой не вполне догадываясь, для каких целей и в чьих интересах эта информация может быть использована. Блокчейн как новая система с шифрованием информации предполагает восстановить равенство в приватности для всех участников.

Постиндустриальное общество: Белл и криптоанархисты

В 2019 г. мы отметили столетие со дня рождения Даниела Белла, американского социолога, предложившего теорию постиндустриального общества, ставшую практически классической среди работ об обществах будущего. Рассмотрим ценности и последствия современных нам информационных технологий в фокусе концепции Белла о постиндустриальном обществе.

⁴ Видеоинтервью с Дж. Ассанжем. URL: <https://assange.rt.com/ru/cypherpunks/full-translation-text/#page-1> (дата обращения 1 октября 2019).

Основными ее положениями являются приоритет умственного труда, квалификация специалистов и наукоемкие технологии как основной производственный ресурс. В результате мы можем ожидать рост качества жизни людей и развитие конкурентной инновационной экономики, включая индустрию знаний, и удовлетворение разнообразных потребностей высокоинтеллектуального населения [Белл, 1999]. Существует ряд авторов, внесших не меньший вклад в описание модели грядущего общества, таких, например, как Мануэль Кастельс и Элвин Тоффлер, а также предложивших довольно много критики и поправок к теории Белла. В нашу задачу, разумеется, не входит подробный разбор этих дискуссий, поэтому мы возьмем одну из параллельных теории Белла ветвей — малоизвестную в России книгу «Суверенная личность: овладение переходом к информационной эпохе» (*The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the Information Age*), написанную в 1997 г. не программистами-шифропанками, а практически гуманитариями — журналистом, лордом Уильямом Рис-Моггом, и экономистом Джеймсом Дэвидсоном. На Западе книга известна благодаря прогнозам относительно постиндустриального, а именно сетевого, общества, построенного на новых информационных технологиях; частично прогнозы сбылись (авторы, например, предсказали появление криптовалюты и описали ее), частично же описанный сценарий еще только начинает разворачиваться.

Рис-Могг и Дэвидсон описывают криптовалюту будущего — блокчейн (включая возможности дробления биткоина на бесчисленно малые доли) — и последствия использования виртуальных денег, в частности освобождение людей от власти государства и потерю последним монополии на насилие. Они говорят о новой экономике — киберэкономике, которая создаст способы обеспечения взаимного доверия между людьми, гораздо большего в сравнении с индустриальной эпохой. Также авторы «Суверенной личности» предсказывают ведение международного бизнеса в любой точке мира через Интернет, осуществление финансовых операций посредством телефона, решение проблем понимания чужого языка с помощью технических устройств, внедрение индивидуальных фильтров для показа новостей и медиаматериалов в Сети, переход с массового производства на индивидуальное, развитие вирту-

альной культуры, включая музеи и спектакли, дифференциацию и фрагментацию рынка услуг. Особое внимание авторами было уделено новым навыкам работы в цифровом пространстве, — навыки запоминания станут бесполезными, утверждают они, возрастет ценность быстрого обучения и умения ориентироваться в мире информации. Вследствие информационной перегрузки будут утеряны навыки внимательного чтения длинных текстов, будут исключаться незнакомые фрагменты и отдельные факты, а также «неудобные выводы». В целом многие мыслительные, дискурсивные навыки окажутся под угрозой [Davidson, Rees-Mogg, 1997].

Рис-Могг и Дэвидсон особенно подчеркивают роль шифрования в перестройке парадигмы доверия в информационном обществе. Мораль информационного века будет моралью рынка, а также, утверждают они, моралью доверия. «Киберэкономика будет сообществом с высоким доверием. В условиях, когда надежное шифрование позволит мошеннику безвозвратно и безопасно размещать доходы от его преступлений, будет очень сильный стимул избегать убытков, не занимаясь в первую очередь бизнесом с ворами и мошенниками. <...> Репутация честности станет важным активом в киберэкономике. В условиях анонимности в киберпространстве эта репутация не всегда может применяться к известному человеку, но ее можно будет надежно проверить с помощью идентификации криптографических ключей» [Davidson, Rees-Mogg, 1997, p. 306].

Авторы «Суверенной личности» уверены, что информационный век убьет государства, которые неизбежно придут к финансовому кризису, оставив раздробленные суверенитеты, выживающие по суровым законам рынка. Это случится, во-первых, благодаря новым экономическим возможностям, которые государства будут пытаться ограничивать или использовать в собственных интересах, и, во-вторых, благодаря преобладанию космополитической морали, бесконечно далекой от традиционных ценностей, которые перестанут быть близкими подавляющему большинству как не поспевающие за заданной информационным веком скоростью.

Существуют работы современных исследователей блокчейна, которые приходят к похожим выводам: внедрение такой технологии, как блокчейн, в будущем будет способствовать разрушению госу-

дарственных суверенитетов. Так, исследователь Брендан Марки-Таулер (Brendan Markey-Towler) видит роль технологии блокчейн в снижении роли государства и начале формирования свободных автономных сообществ нового типа. Он рассматривает старые утопические анархистские теории, которые могут наконец обрести реальность благодаря возможностям технологий блокчейна и позволят нам переосмыслить отношения между человеком и обществом. В связи с тем, что благодаря блокчейну возможно создавать, хранить, передавать и корректировать информацию вне ведома государства и обеспечивать этим актам полную прозрачность, необходимость государства в жизни общества ставится под сомнение. Марки-Таулер считает, что эту проблему можно решить путем создания свободных институциональных систем, работающих на конкурентной основе и открытых для всех [Markey-Towler, 2018].

Итак, мы видим существенные расхождения между той теорией постиндустриального общества, которую предложил Белл, и информационной эпохой, описанной авторами «Суверенной личности». Рис-Могт и Дэвидсон явно имеют более пессимистический взгляд на будущее. С их точки зрения, вряд ли в информационном постиндустриальном веке будет выделяться и цениться высокоинтеллектуальный класс, скорее всего интеллектуальный уровень населения будет падать из-за сосредоточения сил на фильтрации огромного количества информации, а ценность знания будет регулироваться исключительно рыночным интересом. Для всех работников наступит время сложнейшей профессиональной конкуренции; рассчитывать на помощь государства окажется невозможным. Да и само государство, скорее всего, будет устранено как общественная форма после ряда финансовых и политических кризисов.

Заключение

Использование философских подходов к рассмотрению блокчейна продемонстрировало возможности гуманитарного изучения этих технологий во многих аспектах. Как справедливо показывают зарубежные исследователи философии блокчейна, адекватными оказываются онтологические, эпистемологические и аксиоло-

гические подходы, осуществить ряд из которых планировалось в данном исследовании [Swan, de Filippi, 2017]. Новые информационные технологии перестраивают нашу среду, задавая иные темпоральные модусы, парадигмы пространства и времени, понятия истины и достоверности, объективности и субъективности.

Семантическое исследование понятия цепи (chain) уводит нас как в глубь истории идей, так и в широту современных форм использования этого слова. Морфологическая эпистемология позволяет прибегнуть к эстетическому рассмотрению концепта цепи, художественному использованию заложенных в нем коннотаций. Печаль скульптур корейского инсталлятора Ендока Со вполне сопоставима с некоторой тоской сочинений лорда Рис-Могга и Дэвидсона, авторов «Суверенной личности», рисующих грядущее информационное общество и будущую деморализацию субъекта с клиповым мышлением, отчаянно сражающегося за место под солнцем в мире глобализованного рыночного пространства.

Наконец, цифровой мир несет нам новую шпионологию — трансформацию сокрытого, анонимного, приватного, и новое понимание связки доверия и подозрения.

Литература

- Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга. М.: Советский писатель, 1974.
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999.
- Болдачев А. Лишнее звено: почему электронный документооборот на блокчейне не имеет смысла // Forbes. 2017. 11 июля. URL: <https://www.forbes.ru/tehnologii/343787-lishnee-zveno-pochemu-elektronnyy-dokumentoorot-na-blokcheyne-ne-imeet-smysla> (дата обращения: 23.10.2019).
- Дуденкова И. Философия как криптография // Логос. 2017. Т. 27. № 4 (119). С. 23–46.
- Струнников Г. Спасти рядового пользователя: как шифропанки изменили интернет и защищают свободу сети // Дискурс. 2019. URL: <https://discours.io/articles/social/spasti-ryadovogo-polzovatelya-kak-shifropanki-izmenili-internet-i-zaschischayut-svobodu-seti>. (дата обращения: 12 октября 2019).
- Хлуднева С. В. Артур Лавджой и «Великая Цепь Бытия» // История философии. Вып. 10. М.: ИФ РАН, 2003.

- Bernard Z.* There is now a blockchain-based religion. No, this is not a joke // Business Insider. 2018. June 14. URL: <https://www.businessinsider.com.au/matt-liston-blockchain-religion-augur-2018-6> (дата обращения: 13 октября 2019).
- Davidson J. D., Rees-Mogg W.* The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the Information Age. New York: Touchstone, 1999.
- Hughes E.* A Cypherpunk's Manifesto // Activism: Cypherpunks. 1993. URL: <https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html> (дата обращения: 10.10.2019).
- Markey-Towler B.* Anarchy, Blockchain and Utopia: A Theory of Political-Socio-economic Systems Organized using Blockchain // The Journal of The British Blockchain Association. 2018. No. 1 (1). P. 13–21.
- May T.* The Crypto Anarchist Manifesto // Activism: Cypherpunks. 1992. URL: <https://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html> (дата обращения: 10.10.2019).
- Swan M. de Filippi P.* Toward a Philosophy of Blockchain: A Symposium: Introduction // Metaphilosophy. 2017. No 48 (5). P. 603–619.

«Цифровая революция» как пространство для историко-эпистемологического исследования: проблемы и перспективы*

В статье рассматривается возможность анализа осуществляющейся в настоящее время цифровой революции с точки зрения исторической эпистемологии. Выявляются проблемы, связанные с отсутствием исторической перспективы в ходе реализации возможного исследования. Определяются значимые для эпистемолога события и процессы, определившие наступление эры компьютеров. На примере обращения к истории computer science с конца 40-х до начала 60-х годов XX в. демонстрируется необходимость включения в эпистемологическое исследование социальных и политических контекстов как влияющих существенным образом на познавательные и образовательные практики.

Ключевые слова: цифровая революция, историческая эпистемология, computer science, кибернетика, вычислительная техника.

Вначале скажем несколько слов о терминах и предметном поле исследования. Под «цифровой революцией» далее понимается трансформация разнообразных общественных практик, происходящая в результате распространения вычислительных, цифровых технологий. «Историческая эпистемология», в свою очередь, по мнению автора, предполагает исследование изменяющихся во времени процедур работы со знаниями. Здесь удобно прибегнуть к известной из сферы knowledge engineering триаде: приобретение знаний — представление знаний — использование знаний. Элементы, конституирующие эту триаду, могут быть рассмотрены в различных аспектах: логико-методологическом, нормативном, социальном и т.п. Вопрос о том, что должно преобладать в работе эпистемолога — философическое или историко-социальное, мы будем считать вопросом «оптики». Поэтому он может быть оставлен на усмотрение исследователя. Проблемы, связанные с историческим взглядом на науку, освещены в статье Л. Шипова-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-011-00920.

ловой [Шиповалова, 2017], а также в следующей за публикацией дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «Эпистемология и философия науки». К этим материалам мы и отправляем заинтересованного читателя.

Сделаем еще одно терминологическое замечание. Из сугубо стилистических соображений термины «информатика» и «computer science» (компьютерная наука) далее будут пониматься как синонимы, хотя в отечественной литературе первый обладает более широким семантическим полем, чем второй в англоязычной традиции.

Теперь обратим внимание на ряд обстоятельств, с которыми сталкивается исследователь цифровой революции. Первым из них является то, что формирование цифрового мира осуществляется и в настоящее время. По этой причине исследовательскую практику эпистемолога, занимающегося цифровой революцией, можно уподобить работе орнитолога, наблюдающего в полевых условиях за поведением птиц. Данное обстоятельство имеет как свои плюсы, так и минусы. К первым можно отнести то, что существует возможность привлекать к исследованию достаточно богатый эмпирический материал, например, в случае выбора социологического взгляда на изучаемое пространство. Отсутствие временной дистанции между «революционными» событиями и исследователем, позволяет последнему, в свою очередь, счастливо избежать борьбы с идолами, сформированными предшествующей традицией.

Еще одним приятным обстоятельством для изучающего цифровую революцию является то, что он избавлен от мучительного выбора между альтернативами: презентизм или антикваризм и интернализм или экстернализм соответственно. Отсутствие первой альтернативы обусловлено тем, что computer science еще не имеет серьезной истории, в ходе которой происходили бы существенные сдвиги (терминологические, нормативные и т.п.). Вторая альтернатива элиминируется в значительной мере не только тем, что активизация исследований в области компьютерных наук была спровоцирована внешним фактором: решением военных задач (шифрование и дешифрование, расчеты для зенитной артиллерии и т.д.). Но также можно говорить и о внутренней, взаимной детерминации концептуально относительно независимых разделов информатики. Так, например,

специалисты по информационным технологиям выделяют два элемента: hardware и software. В принципе, исследования в области теории программного обеспечения (изучение алгоритмических процедур) и работы по проектированию вычислительной техники могут осуществляться относительно независимо друг от друга. Действительно, первые счетные машины (аналоговые) были разработаны до появления программирования как такового. В свою очередь, первый квантовый алгоритм появился задолго до создания квантовых компьютеров, о которых многие слышали, но мало кто видел. Алгоритмы, а именно они, как считает Д. Кнут, образуют «интеллектуальное ядро» информатики, были известны математикам с древнейших времен. Но именно появление ЭВМ, по мнению того же автора, позволило ученым осознать все богатство алгоритмических исследований [Кнут, 1993]. Человек не обладает ни достаточной скоростью, ни достаточной точностью для эффективного выполнения сложных вычислений. Факт того, что изменения в аппаратном обеспечении оказывают существенное влияние на программирование, подтверждается и едким замечанием Эд. В. Дейкстры: «Тогда, в середине шестидесятых, случилось нечто ужасное: появились компьютеры третьего поколения. <...> Проект содержал такие серьезные ошибки, что я почувствовал, что одним ударом прогресс в информатике был заморожен по меньшей мере на десять лет» [Дейкстра, 1993, с. 34–35]. Заметим, что «ужасные времена» наступили в данном случае с точки зрения программиста.

Разработчики компьютерных систем, осуществляя проектную и конструкторскую деятельность, в свою очередь используют программные инструменты. В общем, взаимное влияние изменений в аппаратных возможностях машин и в методах (инструментах) программирования представляется достаточно очевидным.

Но, избежав трудностей с указанными методологическими проблемами, эпистемолог, рассматривая ход цифровой революции, может ощутить некоторую скуку. Особенно эта опасность грозит стороннику «революционной оптики», то есть специалисту, которого интересуют радикальные изменения в науке или в картине мира. Действительно, не считать же радикальным изменением в computer science тенденцию к миниатюризации вычислительных устройств, благодаря которой последние, занимавшие ранее целые

комнаты, переместились в дамские сумочки и карманы пиджаков. Факт «застоя» фиксируется и специалистами в области информатики: «Последние 20–30 лет в мире почти не появилось новых архитектурных решений и других системных новаций в принципах построения ЭВМ — практически используется задел шестидесятых-семидесятых годов. Колоссальный прогресс вычислительной техники определяется, в основном, технологией микроэлектроники» [Малашевич, 2016, с. 256]. Прорывные технологии и методы, если и присутствуют, то на страницах академических журналов и в архивах патентных бюро. Компании копируют продукцию друг друга. Споры о приоритете становятся неистощимой золотой жилой для юристов, но не формируют интересное для эпистемолога проблемное поле. Даже смена парадигм в программировании (функциональное программирование, структурное, объектно-ориентированное и т.д.) относится к трансформации способов описания задач, которые предлагается решить машине. Изменения в этой области и эволюция языков программирования могут представлять интерес для историка науки, однако вряд ли могут претендовать на статус смены парадигм в смысле Т. Куна. Они ничего не добавляют ни к нашему пониманию принципов работы компьютера, ни к постижению законов функционирования цифрового мира.

Казалось бы, можно рассмотреть вопрос о том, почему не выживают и не дают значимого потомства «альбиносы», то есть интересные проекты, не укладывающиеся в основные тренды развития ИТ-отрасли. В качестве примера можно привести ЭВМ «Сетунь», разработанную в СССР под руководством Н. П. Брусенцова на основе троичной логики. Но здесь, если продолжать нашу аналогию с изучением пернатых, вариативность ответов будет не слишком велика: от «плохо кормили» — не было достаточной финансовой и административной поддержки — до «сосед отравил»: проект не выдержал рыночной конкуренции, а в случае СССР — ведомственных конфликтов.

Так чем же может быть привлекательна скучная цифровая революция для исторической эпистемологии?

Во-первых, здесь мы имеем дело с интересной эпистемической ситуацией, состоящей в том, что базовые, фундаментальные теоретические понятия, методы и подходы, сформировавшие каркас

новой области знаний были проработаны до того, как эта область конституировалась. Действительно, уже к концу 30-х годов XX века сформировалась основная концептуальная база, необходимая для создания цифровых компьютеров. Мы укажем здесь только основные, на наш взгляд, интеллектуальные результаты, способствовавшие созданию цифровой вычислительной техники.

Во-первых, были разработаны и нашли применение на практике — от телеграфных сообщений до военной криптографии — различные способы кодирования информации.

Во-вторых, развитие электротехники обеспечило не только элементную базу достаточную для создания цифровых вычислительных машин, но и привело к разработке математического аппарата, необходимого для их описания и проектирования (К. Шеннон, В. И. Шестаков и т. д.).

В-третьих, идея механического выполнения арифметических операций, берущая свое начало со времен древнего мира, (антикитерский механизм), получила свое дальнейшее развитие в машинах Б. Паскаля и Г.-В. Лейбница. В XX веке она обрела широкую практическую реализацию в арифмометрах, выпускаемых различными фирмами, а также в более амбициозных инженерных проектах, например в табуляторе Г. Холлерита.

Наконец, инициированная трудами Аристотеля традиция логических исследований, выявила правила, в соответствии с которыми следует работать с информацией независимо от содержания последней. В первой половине XX века применение логического аппарата к решению проблем обоснования математики стало катализатором для активизации исследований относительно проблем вычислимости и разрешимости. Это привело к формированию различных моделей для представления вычислительных процедур, в том числе, к тем, в основе которых лежало понятие «машины» (А. Тьюринг, Э. Пост).

И хотя в дальнейшем в содержании базовых понятий компьютерных наук произошли некоторые изменения, а методы, используемые в информатике, обогатились, придется признать, что в рассматриваемом случае теоретический фундамент опережал практику.

Для сторонника экстернализма цифровая революция будет интересна возможностью рассмотреть проблемы, связанные с изменением содержания базовых понятий и категорий информа-

тики под влиянием укрепляющихся междисциплинарных связей. Так, например, содержание понятия «вычислимость» соотносилось изначально с сугубо математическим контекстом и было связано с другим классическим математическим понятием — «алгоритм». Но в настоящее время в computer science говорят об интерактивных вычислениях (interactive computing), предполагающих трансформацию изначально сформулированных правил под влиянием внешних условий и обстоятельств. Квантовые, генетические, муравьиные алгоритмы не только расширяют понимание учеными того, как может осуществляться вычислительный процесс, но, будучи свидетельством междисциплинарных влияний, о которых речь шла выше, далеко выходят за рамки классических алгоритмов.

Исследователя также привлечет судьба кибернетики. Пути формирования этого исследовательского направления, «очаровывающий триумф» конца 50-х годов прошлого столетия и, наконец, почти полное забвение этого термина в современном научном дискурсе — все это может стать полем для работы.

Определенный интерес для эпистемолога представляет и история нейронных сетей, в которой ход событий был противоположен кибернетическому: от Perceptron к почти полному угасанию исследовательской активности в 70–80-е годы, и до триумфа нейронной парадигмы в artificial intelligence в настоящее время.

Вместе с тем исследователь может обратить внимание на то, как цифровая революция воздействует на разнообразные сферы научного знания и познавательные практики в них осуществляемые. «Digital history», «e-science», «наука больших данных» — эти и другие термины, вошедшие в современный научный лексикон, являются непосредственным отражением указанного влияния. Понятия, метафоры и методы, заимствованные из цифрового мира, проникают в область гуманитарного знания, определяя их состояние и тренды развития. Здесь нам достаточно напомнить концепт «программированного обучения» в педагогике или компьютерно-информационные метафоры, на которых зиждется современная когнитивная психология.

Наконец, автор этих строк порекомендовал бы коллеге эпистемологу обратить внимание на тот период, когда цифровая революция только начиналась, то есть на период с конца 40-х до начала 60-х годов XX века. Именно в этом временном интервале осу-

существляется формирование новой отрасли научного знания и инженерно-технической деятельности и, как будет показано ниже, формируются основные идеи, определившие в значительной степени тенденции развития информатики до настоящего времени. Кроме того, в данный период компьютерные науки не были подчинены тенденции к тотальной коммерциализации. Университеты и научные центры были вовлечены в создание вычислительных машин. Наконец, людьми, формировавшими общественную дискуссию вокруг компьютеров и их возможностей, являлись А. Тьюринг, Н. Винер, Дж. фон Нейман, А. Н. Колмогоров, А. А. Ляпунов и другие выдающиеся представители научного сообщества. Об этом периоде у нас и пойдет речь далее.

Итак, к концу 30-х годов XX века был разработан теоретический фундамент, необходимый для создания цифровых компьютеров. Начавшаяся война прервала плавное течение научной жизни, однако при этом стимулировала работы, направленные на создание вычислительных машин. Успешное применение компьютеров для решения некоторых военных задач можно считать первым шагом на пути к цифровой революции. Потенциал машин, существенным образом ускоряющих обработку информации, был продемонстрирован представителям военных ведомств, государственным чиновникам и менеджерам крупных компаний. Идея компьютеризации вышла за пределы узкого круга представителей научного сообщества и инженеров-новаторов и стала постепенно «овладевать сознанием масс».

Питер Дж. Деннинг, говоря об истории становления computer science, обращает внимание на то, что в 40-е годы XX века данная область знаний трактовалась, как «изучение автоматических вычислений» (study of automatic computing). Но уже в 50-е годы, как отмечает тот же автор, акцент в понимании предметного поля исследований смещается на понятие «обработка информации» (information processing) [Denning, 2010].

И, действительно, компьютеры в 50-е годы начинают находить применение в различных сферах, требующих обработки большого количества информации. В этом отношении показательной является статья «The Computer Age», подготовленная коллективом Business Week и перепечатанная в Computer and Automation без указания авторов [«The Computer Age»..., 1956].

Содержание статьи представляет собой обзор проектов применения вычислительной техники в фирмах и в государственных структурах и является интересным документом в контексте истории цифровой революции. В нем отражены те ожидания, которые возлагались на электронно-вычислительные машины.

Авторы прежде всего подчеркивают, что использование компьютеров приводит к «новому управленческому мышлению» (new management thinking) и помогает улучшить работу. Благодаря вычислительным машинам можно проверять новые идеи, повышающие эффективность производства. Быстрота, точность и, как следствие, удешевление работы — вот те конкурентные преимущества, которые получают компании, использующие компьютеры для улучшения производственных процессов. Использовать машины планировалось не только для ускорения расчетов. В конечном счете предполагалось перейти к математическому и логическому моделированию совершенных структур компаний. По мнению авторов, поворотным в вопросе применения компьютеров в бизнесе стал 1955 г., когда многие фирмы стали наращивать приобретение вычислительной техники для обработки данных или активизировали усилия по закупке машинного времени. В общем, можно констатировать, что в середине 50-х годов прошлого столетия бизнес-сообщество и в значительной мере государственные структуры стран Запада с энтузиазмом восприняли появление вычислительных машин и быстро оценили возможности их применения.

Здесь стоит обратить внимание и на то важное обстоятельство, что представители научного сообщества прикладывали значительные усилия в целях популяризации зарождающейся отрасли знаний. Компьютерные журналы публикуют статьи, представляющие обзоры достижений в создании вычислительной техники, а также анализ наиболее успешных или перспективных проектов. Важно, что адресатом этих публикаций являлись не только специалисты, создающие компьютеры и разрабатывающие программное обеспечение, но самый широкий круг читателей.

В публичном пространстве по поводу создания компьютеров и их возможностей высказывались Н. Винер, А. Тьюринг и другие специалисты. Дж. Р. Форестер призывал приложить усилия со стороны научного и бизнес-сообществ, направленные на популяри-

зацию вычислительной техники. Представителям науки следовало бы участвовать в издании литературы для школьников. А компании, занятые производством компьютеров, могли бы разрабатывать игрушечные конструкторы, дающие возможность учащимся школ собирать прототипы простых вычислительных устройств. Автор говорит о необходимости распространения знаний о компьютерной технике повсеместно: «Они (наши идеи. — А. М.) не достигают достаточного количества людей и небольших мест. Они не доходят до сельских общин <...>. Позвольте мне отметить, что сельские общины важны <...>. Люди, которые находятся на фермах страны, важны для нас в новых технических областях» [Forrester, 1957, p. 53].

Компьютерное моделирование и обработка больших данных на вычислительных машинах, сетевые технологии для автоматизации администрирования (проект компании «Sylvania») и «думающие» компьютеры — значительный комплекс понятий и идей, которые мы связываем с цифровой революцией, зародился в рассматриваемый нами период.

Однако стоит отметить, что общественная реакция на применение компьютеров в экономической сфере не была однозначной. У существенной части представителей западного общества дальнейшее расширение автоматизации производства и применения вычислительной техники ассоциировалось с угрозой безработицы и возможным ухудшением материального благосостояния.

Что же предлагали представители науки для преодоления возникающих и возможных проблем? Стоит обратить внимание на то, что их инициативы сохраняют свою актуальность и в свете сегодняшних событий цифровой революции. Так, Флетчер Прэтт обозначает необходимость продленного образования как инструмента, позволяющего решить проблему занятости, возникающую в связи с использованием компьютеров и автоматов на производстве [Pratt, 1954]. В свою очередь Хаусхолдер [Housholder, 1954] говорит о необходимости осуществления изменений в системе образования с целью подготовки специалистов, удовлетворяющих возрастающим требованиям комплексной технологии.

Объем данной статьи не позволяет обсудить все интересные идеи и проекты рассматриваемого периода и подробно обсудить эпистемологическую специфику начала цифровой революции. По-

тому обратим внимание лишь на один аспект, характеризующий деятельность ученых и представляющийся интересным.

Особую значимость в глазах ученых и инженеров имели создание, отладка и контроль самих машин — и в меньшей степени вопросы, связанные с разработкой программного обеспечения. Так, например, Э. Дейкстра, вспоминая годы начала своей профессиональной деятельности, отмечал, что «сам программист относился к своей работе как к весьма скромному делу: вся его значительность была связана с существованием этой замечательной машины» [Дейкстра, 1993, с.32]. Подобная ситуация достаточно легко объяснима. Причина состояла в уникальности электронных вычислительных устройств, а также в том, что они не отличались большой надежностью. Чаще всего первые компьютеры создавались в единственном экземпляре: «окружение, в котором все они были сооружены, отличала волнующая атмосфера экспериментальной лаборатории» [Дейкстра, 1993, с.32].

Экспериментальный характер работы специалистов в области вычислительной техники составляет общую черту в развитии computer science в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Ученые и инженеры экспериментировали с аппаратным обеспечением, химическим составом элементов, механизмами организации памяти, способами записи данных и программ.

Значение экспериментальной составляющей для развития информатики в рассматриваемый период подчеркивал М. Уилкс: «Причина первоначальных успехов состояла в том, что группы в различных частях света готовились конструировать экспериментальные компьютеры, совсем необязательно стремясь сделать их прототипами для серийного производства. В результате формировались основы знаний о том, что работоспособно, а что неработоспособно, что выгодно делать, а что невыгодно» [Уилкс, 1993, с. 231].

И хотя не все из задуманных проектов обрели успешную реализацию, можно утверждать, что принцип пролиферации, если применить его в том числе и к инженерно-технической деятельности, вполне подходит для понимания успехов компьютерных наук на рассматриваемом этапе их развития.

В Советском Союзе рассматриваемый нами период цифровой революции проходил под знаком борьбы за кибернетику. Идеоло-

гические основания дискуссии, развернувшейся вокруг «науки об управлении» подробно и достаточно качественно представлены в известной работе [Грэхем, 1991]. Важно отметить, что борьба за кибернетику и особенности организации научных исследований привели к ряду интересных последствий для развития computer science в СССР.

Пионерам компьютерных наук в Советском Союзе, помимо решения собственно научных задач, пришлось заняться еще одной важной проблемой: требовалось оправдать существование зарождающегося научного направления — кибернетики — в контексте марксистско-ленинской идеологии. Для достижения этой цели советским ученым было необходимо определить место кибернетики системе как естественных, так и социальных наук. Кроме того, потребовалось основательно продумать философский и методологический фундамент исследовательской работы. В качестве одного из важнейших эпизодов на пути реабилитации кибернетики в «социалистической науке», участники событий тех лет выделяют публикацию в журнале «Вопросы философии» статьи С. Л. Соболева, А. И. Китова, А. А. Ляпунова [Соболев и др., 1955]. Выходу в свет этой публикации предшествовало обстоятельное обсуждение содержания статьи [Очерки истории информатики в России, 1998, с.103–114].

Авторами были обрисованы достаточно четкие дисциплинарные контуры формирующегося научного направления (но не науки), был выделен теоретико-методологический фундамент для дальнейшей работы. Деятельность по составлению и уточнению программы кибернетических исследований была продолжена и в других публикациях, а также при обсуждении организационных моментов, связанных с созданием учреждений, ответственных за реализацию работ по созданию и применению вычислительной техники.

Обратим внимание на еще одно обстоятельство, связанное с кибернетическим вектором развития цифровой революции в Советском Союзе. Широкое понимание проблемной области исследований, связанных с управлением, в дальнейшем привело к своеобразному противостоянию математиков и не-математиков [Очерки истории информатики в России, 1998]. И если для первых приоритетом являлась разработка и усовершенствование матема-

тических и формально-логических инструментов необходимых для работы вычислительных машин, то для вторых главным представлялась разработка общего неформального категориального аппарата, позволяющего объединить многообразные явления кибернетического характера.

В связи с соотношением математического и нематематического в советской информатике возникла еще одна, на наш взгляд небезынтересная для эпистемолога, коллизия. Дело в том, что принятый в Советском Союзе под влиянием математической традиции подход к изучению информатики предполагал такую стратегию реализации образовательных программ, при которой учащийся в первую очередь должен был овладеть определенной совокупностью математических знаний, а уже после этого осваивать программирование и работать с вычислительной машиной. Высокая планка теоретических исследований, заданная советскими математиками, работавшими в области компьютерных наук, привела к трансляции в школьные образовательные практики концепции безмашинного обучения. Так, А. Ершов, один из главных инициаторов введения курса «Основы информатики и вычислительной техники» в школьные программы, писал: «Главное содержание курса информатики — это не ловкое манипулирование клавиатурой ЭВМ и знание деталей ее устройства, а несколько исключительно мощных и глубоких идей, связанных с понятиями информации, ее обработки и представления, алгоритмов и со способами «перекачки» знания в действие и наоборот. Усвоить эти идеи и увидеть, как они действуют в ЭВМ и в повседневной практике людей, вот истинное постижение информатики» [Очерки истории информатики в России, 1998, с. 195]

Не отрицая значимость математического образования при подготовке специалистов в области компьютерных наук, мы бы хотели обратить внимание на следующее обстоятельство. Такая образовательная стратегия вступала на практике в своеобразное противоречие с популяризацией знаний о компьютерах. Следствием было то, что для многих советских школьников приобщение к информатике казалось делом лишенным конкретного практического содержания. Свидетельством тому является письмо, адресованное А. П. Ершову в 1986 (!) г.: «Мы не понимаем, для чего изучать этот предмет, это бесполезная трата времени <...> мы даже ни разу не

видели ЭВМ, куда, что вставляется, какая программа?» — писала советская школьница [История информатики в России, 2003, с.327].

Вопрос о совокупности математических знаний, которыми должен овладеть специалист по компьютерным наукам, и в настоящее время является дискуссионным, как показывает опыт личного общения автора этих строк со специалистами в IT-отрасли. Его подробное обсуждение требует отдельной статьи. Поэтому здесь мы ограничимся лишь обозначением альтернативы к «математическому» подходу. Так, Форестер в упоминавшейся выше статье утверждал: «программирование имеет универсальную ценность и находится в пределах компетенции бакалавриата или даже ученика средней школы» при этом «программирование требует интереса, энтузиазма и определенного набора основных черт, которые не обязательно идут с какой-либо конкретной формой формального образования» [Forrester, 1957, p. 52–53].

Специфика развития компьютерных наук в Советском Союзе определялась, кроме отмеченного выше, также и централизованной административной системой управления наукой вообще. Данное обстоятельство влекло за собой по крайней мере два важных, но противоположных по своему значению следствия. Советским ученым нередко приходилось с огромными усилиями преодолевать косность и консерватизм бюрократической системы. Но в случае успешной презентации своих идей и планов перед представителями руководящих органов страны исследователи и инженеры получали существенную материальную и административную поддержку от государства. И если в странах Запада уже к середине 50-х годов сформировались локальные исследовательские и бизнес-проекты, связанные с цифровой информатизацией, то в СССР началось создание научных центров, связанных с развитием вычислительной техники. Организованные чаще всего либо в крупных городах, где имелись сильные математические традиции, связанные с университетами, либо, несколько позже, в наукоградах эти учреждения позволили сформировать группы ученых, на базе которых в дальнейшем выросли научные школы.

Работа исследовательских организаций и кафедр в вузах под руководством талантливых ученых и администраторов достаточно быстро позволила советским специалистам в области вы-

числительной техники преодолеть то отставание от стран Запада, которое наметилось в первой половине 50-х годов. Более того, можно утверждать, что некоторые идеи и концепции, предложенные отечественными учеными, значительно опережали свое время. Многое было сделано советскими специалистами и для популяризации кибернетики, благодаря чему она в 60-е годы была «существенной частью общекультурного фона» [Очерки истории информатики в России, 1998, с. 133].

Однако централизация исследовательской работы в области computer science имела для советской науки другое последствие. Сопровождаемая административно-командным управлением и «приправленная» секретностью многих работ, она привела к снижению темпов цифровой революции в Советском Союзе и к существенному отставанию в сфере практического внедрения цифровых технологий (но не теоретических разработок!) по сравнению со странами Запада.

Если еще раз прибегнуть к биологической метафоре, то судьбу цифровой революции в СССР можно описать следующим образом. На первом этапе ученым, занимающимся вычислительной техникой, удалось уйти от «межвидовой борьбы» — атаки философов и охранителей идеологии на кибернетику. Эта борьба была бы бессмысленной для всех ее участников. Ареалы обитания были разные, и делить, по существу, философам и кибернетикам было нечего. Это обстоятельство радикальным образом отличает рассматриваемую ситуацию от гонений на генетику, дела Н. Н. Лузина и от некоторых других трагических событий из истории отечественной науки, где борьба между представителями научного сообщества носила «внутривидовой» характер. Противостояние ученых, работавших в одной области знания (биологии, математике, языкознании и т. д.), могло принести ощутимые призы: авторитет, лидерство и влияние в научной области, должности, места в Академии наук. Но кибернетика и философия в этих вопросах проходили «по разным департаментам». Да и один из видов — кибернетика — на тот момент еще только оформлялся.

Когда же, к середине 60-х годов, вид (computer science) оформился, подрос в количестве, организовался через институты, лаборатории, кафедры началась «внутривидовая борьба» в отечественной информатике. Она подогревалась в том числе и межве-

домственными конфликтами. «А наши не смогли договориться», — так ответил автору этих строк в частной беседе известный петербургский ученый А. А. Шалыто на вопрос о причинах кризиса в отечественной информатике в конце 60-х — 70-х годах. Сходная точка зрения высказывается в [Очерки истории информатики в России, 1998]. Но развитие компьютерных наук в указанный период — это уже другая история.

Литература

- Грэхем Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.: Политиздат, 1991.
- Дейкстра Э. Смиренный программист // Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет. 1966–1985. М.: Мир, 1993. С. 30–47.
- История информатики в России. Ученые и их школы / сост: В. Н. Захаров, В. И. Подловченко, Я. И. Фет. М.: Наука, 2003.
- Кнут Д. Программирование как искусство // Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет. 1966–1985. М.: Мир, 1993. С. 48–64.
- Очерки истории информатики в России / ред.-сост. Д. А. Поспелов, Я. И. Фет. Новосибирск: Научно-издательский центр ОИГТМ СО РАН, 1998.
- Малашевич Б. М. Зарождение и становление отечественной микроэлектроники // История информационных технологий в СССР. Знаменитые проекты: компьютеры, связь, микроэлектроника / под ред. Ю. В. Ревича. М.: Книма, 2016. С. 284–257.
- Соболев С. Л., Китов А. И., Ляпунов А. А. Основные черты кибернетики // Вопросы философии. 1955. № 4. С. 136–148.
- Уилкс М. В. Компьютеры теперь и прежде // Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет. 1966–1985. М.: Мир, 1993. С. 229–240.
- Шиповалова Л. В. Стоит ли мыслить науку исторически? // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51, №1. С. 18–28.
- Denning P. What is computation? // Ubiquity. 2010. URL: <https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1880067> (дата обращения 07.11.2019).
- Pratt F. The Human Relations of Computers and Automation // Computer and Automation. 1954. Vol. 3, no. 10. 1 P. 24–35.
- Forrester J. Social and public relation responsibilities of the computer industry // Computer and Automation. 1957. Vol. 6, No. 1. P. 52–54.
- Housholder A. S. Education for automation // Computer and Automation. 1957. Vol. 6, no. 1. P. 51.
- «The Computer Age» staff of Business Week // Computer and Automation. 1956. Vol. 5, no. 9. P. 12–21.

Этические проблемы искусственного интеллекта и цифровых технологий

В статье очерчивается круг проблем, с которыми столкнулись первые попытки создания искусственного интеллекта, способного в той или иной мере принимать самостоятельные решения. Поднимается вопрос об этических ограничениях, которые могут быть заложены в искусственные интеллектуальные системы при программировании. Далее отмечается, что это само по себе еще не может считаться этикой искусственного интеллекта, так как для того, чтобы решать этические задачи, надо обладать свободой воли. Мы считаем, что этика начинается тогда, когда появляется способность реагировать на собственные ошибки, осуществлять рефлексию поведения, учитывая при этом мнения других людей. Такая же принципиальная возможность ошибки должна быть заложена и в работу искусственного интеллекта, чтобы можно было говорить о его этике в собственном смысле слова. Также должны быть выполнены условия коммуникации машин, их взаимных оценок и наличия у них феноменального опыта. Что касается перспектив развития человечества в сосуществовании с искусственным интеллектом, мы считаем, что оно будет мирным, но человеку предстоит признать нравственные обязанности по отношению к искусственному интеллекту и выполнять определенные правила.

Ключевые слова: сознание, интеллект, воля, этика, ограничения, ошибка, рефлексия, коммуникация, оценка.

В последнее время много говорится об искусственном интеллекте и цифровом обществе как в смысле определения тех новых возможностей, которые новые технологии коммуникации и новые технические системы предоставляют человеку, так и в смысле разумных предупреждений. Это поднимает и новые вопросы, связанные с этикой искусственного интеллекта и этическими правилами обращения с ним со стороны людей. Если вопрос об этике самих людей, участвующих в виртуальных коммуникациях обсуждается довольно давно, в частности проявляет себя в споре двух известных моделей — хакерской и либеральной, то сейчас проблема выглядит шире. Возникают вопросы о том, имеют ли

люди какие-то обязанности по отношению к искусственному интеллекту, должен ли сам такой интеллект иметь определенные нравственные правила, ограничения, заключенные в программу его работы, и, наконец, способен ли искусственный интеллект на самостоятельные этические решения?

Вполне реальным выглядит круг вопросов, возникающих в связи с использованием интеллектуальных искусственных систем самими людьми, прежде всего об их поведении в социальных сетях. Понятно, что через социальные сети может распространяться спам, что будет блокировать способность функционирования некоторых сайтов, через них же может распространяться ложная информация, содержащая призывы к некоторым действиям политического, в том числе экстремистского, характера. Все это будет злонамеренным использованием социальных сетей, и понятно, что мы можем решительно осудить это в этическом плане. Но и простое использование социальных сетей в развлекательном плане может загружать их работу и по существу ограничивать заложенные в них информационно-коммуникативные возможности. Этот аспект проблемы тем более важно подчеркнуть в связи с тем, что сети становятся все более и более умелыми, а обслуживающие их интеллектуальные системы в какой-то степени начинают проявлять свою субъективность.

Обратить внимание на этот аспект тем более важно, что искусственные интеллектуальные системы стали проявлять инициативу в определении способов собственной коммуникации. Уже известно несколько случаев, когда роботы сделали попытки изобретения собственного языка.

Так, «руководство социальной сети Facebook вынуждено было отключить свою систему искусственного интеллекта, после того как машины начали общаться на собственном, несуществующем языке, который люди не понимали.

Система использует чат-боты, которые изначально создавались для общения с живыми людьми, но постепенно начали общаться между собой. Сначала они общались на английском языке, но в какой-то момент начали переписываться на языке, который они сами создали в процессе развития программы.

В американских СМИ появились отрывки из их коммуникаций:

Боб: Я могу могу ЯЯ все остальное.

Элис: Шары имеют ноль для меня для меня для меня для меня для меня»¹. Такое общение может показаться чем-то элементарным, но интересен сам факт того, что машины изобрели нечто свое, в их программу принципиально не заложенное. По этому поводу уже высказываются опасения.

«Эксперты опасаются, что если боты начнут активно общаться на своем собственном языке, то постепенно станут все более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов. Тем более, что даже опытные инженеры не могут полностью отслеживать ход мыслительного процесса ботов»².

Об искусственном интеллекте развернулся спор между главой Facebook Марком Цукербергом и основатель SpaceX, Tesla и PayPal Илоном Маском.

«Маск призвал власти США усилить регулирование систем искусственного интеллекта, предупредив, что ИИ представляет угрозу для человечества. О потенциальной угрозе со стороны искусственного интеллекта ранее говорил и британский ученый Стивен Хокинг»³. Цукерберг, наоборот, высказался в том плане, что он не видит опасностей в новых проявлениях деятельности искусственного интеллекта [Писаренко, 2017].

Проблема этики искусственного интеллекта может быть рассмотрена в нескольких направлениях:

- разработка правил общения с искусственным интеллектом;
- разработка правил работы искусственных интеллектуальных систем (например, беспилотных автомобилей);
- развитие эмоциональных реакций роботов в целях имитации общения с ними как с живыми людьми (роботы-сиделки, роботы-няньки);
- вопрос о применении роботами насилия (военные роботы, роботы-полицейские);

¹ Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта? // BBC News. Русская служба. 2017. 31 июля. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-40778454> (дата обращения: 28.10.2019).

² Там же

³ Там же.

- вопрос о формализации этической теории, приспособления ее для работы интеллектуальных систем, а также вопрос о том, на какую именно теорию мы можем или должны опираться — абсолютистскую деонтологию или утилитарную теорию;
- вопрос об этике суперинтеллектуальных искусственных систем (ИСИ), их способности принимать самостоятельные решения, в том числе этические;
- вопрос об отношении людей к таким системам, в частности признание за ними определенных прав, а соответственно, и признание возникновения обязанностей людей по отношению к таким системам;
- вопрос о совершенствовании человека с помощью искусственных интеллектуальных систем, его киборгизации, в том числе вопрос о радикальной переделке человеческого тела;
- вопрос о возможных противоречиях между человеком и искусственными интеллектуальными системами, в том числе вытеснения интеллектуальными системами человека как такового;
- вопрос об изменении нашей жизни в связи с тем, что все наши мысли могут стать доступными другим людям (чтение мозга с помощью интеллектуальных систем, такие опыты уже проводятся в Японии);
- вопрос о разработке этических кодексов работы интеллектуальных систем, их совершенствования, специализации и т. д.

Вопрос об угрозах со стороны искусственного интеллекта сейчас в основном рассматривается в плане необходимости этических принципов и алгоритмов практического поведения, которые могут и должны быть заложены в программу работы искусственной интеллектуальной системы. Например, вопрос о том, какие правила будут заложены в работу компьютера беспилотного автомобиля, какая этическая концепция будет принята при такой разработке: абсолютистская или утилитарная. Понятно, что абсолютистская концепция запрещает предпринимать действия, направленные на спасение одних (большого количества людей) за

счет риска для жизни других, а утилитарная, наоборот, в каких-то ситуациях допускает такие решения. Но это скорее вопрос об этике программиста, об этических правилах программирования, а не об этике искусственного интеллекта в собственном смысле, как раз невозможной без самостоятельного принятия решений, без вопроса о свободе воли.

Вопрос о свободе воли крайне сложен, чтобы можно было обсудить его подробно в данной статье, поэтому я только упомяну, что есть группа аналитических философов, которые вообще отрицают свободу воли как таковую, считают ее иллюзией. Это такие философы, как Д.Перебум, П.ван Инваген, Дж.М.Фишер. Их аргументация выглядит довольно просто: на каждое решение воздействует предшествующее состояние, а на это состояние то, которое предшествовало ему, и таким образом выбор оказывается предопределенным. Этой позиции противопоставляется либертарианство, которое отказывается от детерминизма. Роберт Кейн (либертарианец) считает, что свобода воли несовместима с детерминизмом, но совместима с индетерминизмом. Однако ответственности индивида за свои действия не получается ни в том ни в другом случае, ведь как можно отвечать за события, от тебя не зависящие.

Я неоднократно высказывался в пользу аргументов тех, кто считает, что свобода воли встроена в сами механизмы работы нашей психики, что она отражается в способности мозга свободно создавать различные образы и производить с ними своеобразную игру. Смысл такой игры заключатся в том, чтобы прогнозировать состояние реальности в момент, отнесенный к будущему, что необходимо для успешной ориентации.

Но, чтобы осуществлять подобную игру образами, чтобы быть в такой игре заинтересованным, надо иметь не только мозг, но и тело, надо быть субъектом, обладающим эмоциональными реакциями, и такие реакции невозможно сформировать без феноменального опыта.

В книге «Эмоциональный мозг» Д.Гоулмен приводит пример с человеком, у которого в результате хирургической операции на мозге оказалась повреждена эмоциональная сфера. Он мог прекрасно решать математические задачи, но был беспомощен даже в том, чтобы назначить обычную встречу с врачом, так как всегда находились мешающие обстоятельства и все события казались

ему равнозначными [Гоулман, 2009, с. 39]. Эмоциональная классификация событий оказывается значимой для принятия решений, и она невозможна без рефлексии своего существования как субъекта, в том числе рефлексии феноменального опыта развития тела. В ряде своих публикаций я показал, что сознание принципиально не может существовать без тела, причем постадийно развивающегося, и без постоянной коммуникации субъекта, обладающего телом с другими субъектами [Разин, 2011].

Я полагаю, что для того, чтобы говорить об этике искусственного интеллекта, надо выполнить ряд условий, которые должны быть заложены в принципы работы искусственной интеллектуальной системы:

- произвольная игра образами;
- критерии выбора оптимальных решений вместе со встроенными этическими ограничениями (например, такими как законы Азимова, плюс ответственность перед человечеством в целом);
- возможность оценки степени рисков при опоре на разные теоретические концепции;
- феноменальный опыт как основа классификации событий, причем индивидуальный; вряд ли есть смысл создавать универсальные искусственные интеллекты;
- принципиальная возможность ошибки и связанная с этим рефлексия — обобщение прошлого опыта. При этом, конечно, необходимо запрограммировать степень возможной ошибки. Некоторые действия, связанные с предельным риском для существования человека и человечества в целом должны быть принципиально исключены. Но и законы Азимова не всегда могут быть приняты как абсолютные ограничения, если мы, например, будем создавать роботов-полицейских, боевые или охранные роботы;
- возможность реакции на случайные события, анализ индивидуально-неповторимых ситуаций;
- коммуникации — сеть машин, обладающих взаимными ожиданиями;
- аналог нравственных переживаний, связанный с оценками других.

Для этого надо будет создать что-то вроде эмоционального центра, связанного с наслаждениями, возбуждением и торможением нервных реакций, беспокойством и успокоением. В развитом варианте также — способность к эмпатии.

Многие специалисты по робототехнике считают, что в том, чтобы создать у технической системы эмоции, обеспечить аналогичное эмоциональным реакциям восприятие мира, нет ничего сложного. Действительно, нет ничего сложного в том, чтобы у робота при определенных возбуждениях загорались лампочки, или даже менялась мимика его лица.

Дело, однако, заключается в том, что эти реакции не будут связаны с квалиативными состояниями сознания искусственной интеллектуальной системы. Если даже аналог сознания в каком-то будущем будет иметь место в искусственных системах, здесь возникнет множество вопросов. Прежде всего — будет ли это аналог человеческого сознания, или же нечто совершенно другое? Г. Йонас, рассматривая вопрос о развитии форм субъективности, говорит: «Поскольку субъективность обнаруживает действенную цель, даже целиком и полностью ею живет, немое нутро, которое лишь через нее обретает дар речи, т. е. материя, уже должно скрывать в себе цель в несубъективной форме, или некий ее аналог» [Йонас, 2004, с. 142]. Сильным аргументом Йонаса относительно включенной в саму материю целесообразности является простой вопрос о том, почему субъекту не безразлично его собственное субъективное существование. Он проводит аналогии с машиной, которая могла бы ориентироваться, достигать некоторые цели, но которая была бы совершенно безразлична к факту своей субъективности.

Действительно, человек ценит каждый момент своего бытия, в какой-то степени наслаждается этим моментом, сознает свое положение в перспективе того временного промежутка, в котором, как он предполагает, будет развиваться его жизнь (что, кстати, связано с идеей смерти, которая машине недоступна). Можно ли все это смоделировать в искусственном интеллекте. Очевидно, ответ может лежать в трех возможных парадигмах.

- 1) Искусственный интеллект никогда не сравняется с человеческим разумом, не обретет его творческих функций и всегда будет играть только вспомогательную роль.

- 2) Искусственный интеллект может сравниваться с человеческим, но для этого его надо будет воспроизвести на принципиально таком же биологическом носителе и выполнить другие, отмеченные выше условия. Не следует забывать, что нейроны мозга — это не транзисторы, а клетки, которые могут быть специализированными, могут производить собственные белки, и без такой специализации вряд ли можно смоделировать действительную эмоциональную жизнь, связанную с качественными состояниями сознания. Эта задача, может быть, и осуществима, но бессмысленна, так как мы воспроизведем то, что уже создано природой.
- 3) Можно создать искусственный интеллект на небιологическом носителе, который превзойдет человеческий, но не будет обладать таким же сознанием, как у человека.

Здесь мне хочется обсудить еще одну принципиально важную проблему, связанную как с этикой искусственного интеллекта, так и судьбами человечества.

Не секрет, что сейчас уже многие специалисты по робототехнике раскритиковали как предложенные А. Азимовым законы робототехники, так и тот путь, по которому, как полагал Азимов, будет развиваться искусственный интеллект.

В частности, по этому вопросу была дискуссия между Беном Герцелем (Aidyia Holdings) и Луи Хельмом, замдиректора Института исследований машинного интеллекта (MIRI)⁴.

Оба мыслителя считают, что законы Азимова практически неприменимы в силу того, что конкурируют друг с другом, шовинистические по своей сути, то есть не учитывают интересы самих роботов, и основаны исключительно на деонтологии (а ведь может быть ситуация, когда надо пожертвовать кем-то ради спасения многих других). Но особенно интересно рассуждение Герцеля о том, что идеал, нарисованный Азимовым, согласно которому роботы будут бегать среди нас, возможно вообще неосу-

⁴ Смогут ли «три закона робототехники» защитить нас? // HI-News.ru. 2014. 9 апреля. URL: <https://yandex.ru/turbo/s/hi-news.ru/robots/smogut-li-tri-zakona-robototexniki-zashhitit-nas.html> (дата обращения: 28.10.2019).

ществом, а если и осуществится, то продлится очень недолго. Искусственный интеллект скорее всего будет существовать в сетях, а сам человек киборгизироваться, то есть расширять свои мыслительные и физические возможности за счет искусственных систем (чипов, встроенных в мозг, экзоскелетов и т. д.).

Эта возможность как раз будет отражать, упомянутую мной третью парадигму. Конечно, развитие по такой линии не снимает проблему субъективности, которой должен обладать искусственный интеллект, для того чтобы у него появились какие-то аналоги сознания, способности к творчеству, феноменальный опыт. Но, вероятно, все это можно будет осуществить, как-то локализовав сетевую область существования искусственных интеллектов, придав им смысл субъективного бытия, связанного с приобретением, переработкой информации, решением творческих задач и поэтапным развитием этих способностей.

В таком случае мы сможем получить искусственную систему, способную резюмировать феноменальный опыт как опыт общения в сетях, как информацию о мире, собираемую с помощью видеокамер и электронных датчиков, как искусственное бытие в виртуальном пространстве по тем параметрам, которые искусственная система будет контролировать и которые станут для нее субъективно значимыми.

На этом пути, при создании искусственного интеллекта, мы принципиально окажемся способными наделить искусственную интеллектуальную систему такими атрибутами, которые ранее человек приписывал только Богу. Это будет всезнание (сети содержат в себе всю доступную на данный момент информацию) всевидение (камеры и электронные датчики могут быть расположены во многих точках пространства), вездесущность (способность делать предметом субъективной заинтересованности разные точки пространства и разные параметры социальных взаимодействий). Конечно, здесь возникнет вопрос об одновременности событий, способности выстроить их линейно (что делает сознание человека). Человеческий мозг принципиально не способен думать сразу о многом, но кто знает, не будет ли в данном отношении искусственный интеллект нас в чем-то превосходить?

Если такой идеал воплотится, то роботы, подобные человеку, будут существовать, но поддерживающий их искусственный ин-

теллект (расположенный в сетях) не установит своей задачей наделение таких роботов сознанием, творческими функциями и т. д. Они просто будут участвовать в переналадке производства, осуществлении новых технологических проектов, и не появится необходимость в том, чтобы они думали. Такие роботы будут действовать по заложенной в них программе.

Что же касается судьбы человека, я не думаю, что искусственный интеллект на каком-то этапе своего развития захочет уничтожить человечество, скорее для него опыт исторического развития человечества будет моделью для развития своих новых способностей и возможностей улучшить качество собственного субъективного бытия. Может быть, на каком-то еще более позднем этапе своего развития искусственный интеллект захочет быть воплощенным, обрести телесную оболочку. Но опять же это не будет означать стремления к уничтожению человечества, опыт которого, в том числе способность человека к высшим чувствам типа любви, нельзя просто так отбросить.

Однако ясно, что на каком-то этапе нам придется научиться жить совместно с искусственным интеллектом, уважать его, признать наши нравственные обязанности по отношению к нему, ведь если этот интеллект осознает свою субъективность, будет чувствовать боль, то по многим параметрам сравнится с нами.

Литература

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2009.

Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрис-Пресс. 2004.

Писаренко Д. Боты изобрели свой язык. Опасно ли развитие искусственного интеллекта?// Аргументы и факты. 2017. 12 августа. URL: https://aif.ru/society/science/boty_izobreli_svoy_yazyk_opasno_li_razvitie_iskusstvennogo_intellekta (дата обращения: 28.10.2019).

Разин А. В. Тело человека как антропологический констант его общественно-го бытия // Философия и культура. 2011. № 10. С. 23–32.

Этическая экспертиза технологий искусственного интеллекта и робототехники

Интенсивно развивающиеся технологии искусственного интеллекта требуют этического осмысления, поскольку могут привести к негативным последствиям для человека и общества ввиду следующих особенностей. Технологии искусственного интеллекта следует рассматривать как технологии двойного назначения, необходим анализ вариантов их злонамеренного использования. Следует проанализировать этические ограничения сфер применения технологий искусственного интеллекта, в первую очередь в области социальной робототехники, автономного вооружения. Требуется по-новому поставить вопрос об ответственности машин, сложность которого обусловлена принципами работы искусственного интеллекта, основанного на технологиях искусственных нейросетей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, робототехника, философия техники, этика искусственного интеллекта, автономное летальное вооружение, дискриминация, технологии двойного назначения, этическая экспертиза.

В настоящее время в сфере междисциплинарных научно-практических областей существенную долю составляют исследования по созданию искусственного интеллекта. Достижения в этой области вызывают интерес не только в научной среде, но и у широкой общественности. Это связано с достижениями данного направления как в теоретической сфере, так и в области практического применения интеллектуальных систем. Область искусственного интеллекта за сравнительно короткий период существования (с середины 50-х годов XX века) доказала свою практическую значимость. Приведем лишь некоторые практические области, в которых исследователи добились значительных результатов.

Во-первых, это ведение *интеллектуальных игр* — сфера, без которой невозможно представить себе исследования по искусственному интеллекту. Это направление как задачу для интеллектуальных машин выделял еще А. Тьюринг, британский математик,

криптограф, логик, автор одной из самых цитируемых статей в области философии искусственного интеллекта «Может ли машина мыслить?» [Turing, 1950]. Программа Deep Blue компании IBM — это первая компьютерная программа, которая смогла одержать победу над чемпионом мира по шахматам Г. Каспаровым в 1997 г. Спустя почти двадцать лет, в 2015 г., программа AlphaGo компании Deep Mind Google, победила трехкратного чемпиона Европы по китайским шашкам го Фань Хуэя, в 2016 г. — самого титулованного игрока в го Ли Седоля.

Во-вторых, *автономное управление*, которое объединяет в себе несколько традиционных для искусственного интеллекта сфер исследования, в числе прочих задачу по распознаванию образов и машинному зрению. В качестве примера работающей технологии можно привести систему автопилотирования автомобилей Tesla (по данным за 2016 г., в режиме автопилотирования автомобиля Tesla Model S прошли более 210 млн км).

В-третьих, это использование искусственного интеллекта в области *медицинской диагностики*, в частности успехи таких проектов, как Watson for Oncology компании IBM¹, или программы искусственного интеллекта Хьюстонского методистского исследовательского института (Houston Methodist Research Institute) в Техасе, апробированной для анализа маммограмм. Скорость такого анализа в 30 раз превышает скорость человека, а также дает онкозаключение с точностью в 99 % [Correlating mammographic..., 2017], что в свою очередь, по словам Стефана Вонга, руководителя департамента «Систем медицины и биоинженерии» Хьюстонского методистского исследовательского института, позволяет, «определять риск рака молочной железы более эффективно на основании маммограммы пациента и снизить количество ненужных процедур биопсии»².

¹ URL: <https://www.ibm.com/products/clinical-decision-support-oncology> (дата обращения 01.11.2019).

² Цит по.: Akinfenwa P. Artificial intelligence expedites breast cancer risk prediction // Houston Methodist. 2016. August 29. URL: https://www.houstonmethodist.org/1285_houstonmethodist/1315_newsroom/1316_newsroom_newsandevents/newsdetail/?key={0370A9DC-5D5E-41B0-A4DB-97F3F519BEC9} (дата обращения 01.11.2019).

Несмотря на то что указанные технологии ИИ можно было бы отнести к достижениям науки и техники, не стоит забывать и о различных социальных рисках использования данных технологий. Так, например, в отчете комитета по Национальной безопасности США за 2018 г. искусственный интеллект стоит первым в списке так называемых технологий «двойного назначения» (Dual-Use Technologies), то есть технологий, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред, в данном случае в сфере национальной безопасности страны. Элементарный пример технологии двойного назначения — это нож, которым можно порезать хлеб, а можно убить человека.

Приведем пример злонамеренного использования технологии искусственного интеллекта. Автономные системы управления сложными объектами инфраструктуры, например транспортная система «умного» города, могут стать мишенью для высокотехнологичных террористических атак, а захват управления системой регулирования движения в крупном городе приведет к многочисленным жертвам. Чем выше уровень автоматизации в этих сферах, тем больше вероятность для этих систем стать мишенью высокотехнологичных террористических атак.

Другим вариантом злонамеренного использования технологии искусственного интеллекта может быть создание поддельного видеоконтента при помощи технологии deepfake. Анализируя возможности применения данной технологии для нарушения политической стабильности страны, сенатор США от штата Флорида Марко Рубио предлагает такой сценарий: представим, что иностранная разведка применит данную технологию (deepfake) для производства видео американского политика, который использует в своей речи расовые эпитеты или берет взятку; или поддельное видео американского солдата, который истребляет мирное население чужой страны и т. п. Одновременно может случиться так, что видео очень быстро распространится, а люди откажутся верить официальным опровержениям. Данная технология интенсивно развивается, и, по мнению Эндрю Гротто, сотрудника по международной безопасности в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета в Калифорнии, «если у нас есть достаточно большой набор обучающих голосовых данных и видеоданных, то при нынешнем развитии

технологии скоро синтезированное видео будет невозможно отличить от настоящего человека»³. Таким образом, технологию могут использовать злонамеренно с целью манипуляции общественным мнением и дезинформации.

Примером такого злонамеренного использования технологии искусственного интеллекта служит и злоупотребление возможностями искусственного интеллекта в еще одной активно развивающейся сфере — сфере социальной робототехники. Роботы, способные к социальному взаимодействию, могут быть использованы в сфере медицины и ухода. Данная технология востребована, например, в Японии, где доля населения старше 65 лет составляет более четверти населения страны и наблюдается дефицит персонала, осуществляющего уход за престарелыми людьми. Современные разработки в этой сфере включают роботизированные протезы; тренажеры для восстановления утраченных физических и психических навыков; роботов-компаньонов, ориентированных на обеспечение социального взаимодействия и др. Однако данные достижения науки и техники могут быть использованы и во вред. Широко известны примеры жестокого обращения с пожилыми людьми; статистика также указывает на то, что подобные случаи не являются редкими и уникальными. По результатам опроса ВОЗ за 2017 г., почти 16 % людей в возрасте 60 лет и старше сталкивались с недопустимыми формами обращения, такими как недопустимое психологическое воздействие (11,6 %), финансовые злоупотребления (6,8 %), не проявление должного внимания и заботы (4,2 %), недопустимое физическое воздействие (2,6 %), сексуальные надругательства (0,9 %)⁴. Не исключено, что технологии ухода способны стать орудием, наносящим физический ущерб или же моральные страдания тем, о ком данная технология призвана заботиться.

В приведенных примерах достижения в области искусственного интеллекта из различных сфер предстают как *технологии*

³ 'I Never Said That!' The High-Tech Deception of 'Deepfake' Videos // The Times of Israel. 2018. July 2. URL: <https://www.timesofisrael.com/i-never-said-that-the-high-tech-deception-of-deepfake-videos/> (дата обращения: 01.11.2019).

⁴ ВОЗ предупреждает, что уровни плохого обращения с пожилыми людьми возрастают — затронут каждый шестой пожилой человек // ВОЗ-2017. 14 июня. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-06-2017-abuse-of-older-people-on-the-rise-1-in-6-affected> (дата обращения: 01.11.2019).

двойного назначения, которые потенциально могут быть использованы как по своему прямому назначению, так и с целью причинения вреда. В этом случае довольно просто дать этическую оценку подобному использованию.

В среде сторонников развития технологий искусственного интеллекта достаточно популярна позиция, которую можно сформулировать следующим образом: техника по своей природе нейтральна, а моральной, нравственной, этической она становится в зависимости от ее применения человеком. Однако, на наш взгляд, это не так. Проиллюстрируем это на примере социальной робототехники.

Сложно отрицать, что в условиях массовой урбанизации многие пожилые люди оказываются в условиях социальной изоляции, им требуется непосредственный уход, но, помимо этого, им требуется общение, эмоциональный контакт. Фактически эта эмоциональная составляющая неотделима от физической помощи. Данный факт, безусловно, понимают и создатели социальных роботов. Роботы-компаньоны призваны обеспечить в том числе и социальное взаимодействие, помогать пожилым людям поддерживать интерес к жизни за счет общения. Первый социальный гуманоидный робот Перрег был выпущен французской компанией Aldebaran в составе японского телекоммуникационного холдинга Softbank в 2015 г. Особенностью данного робота стало то, что он способен не только воспринимать речь, прикосновения, но и отвечать на проявление некоторых эмоций, а также способен к дальнейшему обучению в процессе общения с человеком в реальной среде. Этот робот успешно работает в торговых центрах и офисах Японии, в том числе в сетевых магазинах Softbank. Далеко не все исследователи разделяют оптимизм в отношении использования роботов в социальной сфере. Так, один из пионеров области искусственного интеллекта, автор первой программы диалогового бота ELIZA Джозеф Вейценбаум придерживался мнения о том, что некоторые профессии потенциально могут, но не должны быть заменены роботами. В своем интервью Памеле Маккордак 1976 г. он говорит о том, что в таких профессиях, как врач, военный, судья, полицейский, сотрудник колл-центра и, в том числе, сиделка для пожилого человека, люди не должны быть заменены на роботов. Он аргументирует это тем, что от представителей данных про-

фессий человек ожидает подлинной эмпатии, а использование роботов на этих позициях ведет к обесцениванию человека, и в итоге окажется не помощью, но унижением его достоинства. По иронии судьбы именно сфера диалогового искусственного интеллекта (*conversational artificial intelligence*), пионером которой и был Вейценбаум, развивается в настоящий момент очень интенсивно, и ее достижения включены в повседневную жизнь множества людей, в том числе эта технология используется в кол-центрах. Возвращаясь к проблемам этической оценки технологии искусственного интеллекта на примере Вейценбаума, мы обнаруживаем позицию, которую можно было бы назвать ограничительной и которую можно сформулировать так: необходимы принципиальные ограничения для использования технологии искусственного интеллекта в некоторых сферах.

Еще одна профессия, на которую указывает Вейценбаум, — это военные. Интересно, что именно в сфере военных роботов в настоящий момент идут довольно активные дискуссии, в том числе в сфере правового регулирования и этики. Дискуссия связана с разработкой и использованием автономного летального вооружения (*lethal autonomous weapon*), то есть таких машин, которые могут принимать решения об уничтожении человека (противника) без прямого контроля со стороны человека. Автономная машина, как ее определяет один из пионеров области искусственного интеллекта Марвин Минский, — это алгоритмы, способные анализировать данные, поступающие в реальном времени, и принимать на их основе решения, имеющие моральные и социальные последствия [Минский, 1967]. Принципиальным противником использования подобного вида вооружения сегодня является общественная организация «Остановите роботов-убийц» (*Stop Killer Robots*). Основное опасение, которое высказывают сторонники данной организации, — это не собственно автономность машины, но способность машины причинять смерть человеку. Основные аргументы против роботов-убийц связаны с тем, что правовой статус робота никак не определен, непонятно, как робот может нести ответственность за совершаемые им действия, в том числе за возможные военные преступления. В случае автономного вооружения оператор не несет ответственность за решения, которые принимает машина. Ответственность за решения робота нельзя

переложить и на ее разработчика. Современные технологии искусственного интеллекта основаны на технологии искусственных нейронных сетей (ИНС), в которой фактически отсутствует алгоритм, написанный программистом, по которому машина могла бы самостоятельно принять то или иное моральное решение. Вместо этого современные компьютеры используют машинное обучение на большом массиве данных. Таким образом, принципы принятия решений оказываются непрозрачными; нельзя сказать, что машина в своей работе реализует некоторый замысел программиста», а, следовательно, он (разработчик) не может быть субъектом принятия решений и нести ответственность. О сложностях, возникающих в связи с использованием для обучения искусственного интеллекта массивов данных, мы скажем ниже.

Заметим, что использование военных роботов может быть оправданным с точки зрения некоторых этических концепций. Например, с позиции утилитаризма автономное летальное вооружение потенциально ведет к сокращению человеческих жертв, а значит, будет благом и должно быть разрешено. Сторонники же запрета роботов-убийц надеются, что автономное летальное вооружение будет включено в список запрещенного оружия, наряду с химическим, биологическим, ядерным.

Еще одно опасение, которое служит аргументом против использования технологий искусственного интеллекта на войне, да и в ряде других сфер, оказывается упомянутая проблема массива данных, на которых обучаются программы искусственного интеллекта, основанные на технологии искусственных нейронных сетей. Именно благодаря нейросетевому подходу машины смогли сделать успехи в распознавании устной и письменной речи, машинном переводе, машинном зрении. Фактически в основе лежит алгоритм обучения и различные массивы данных, а результат, который выдает машина, — это наиболее вероятный из имеющихся в этом массиве вариантов. Поясним этот механизм на примере машинного перевода.

Задача машинного перевода с одного языка на другой стояла еще перед пионерами искусственного интеллекта и изначально решалась при помощи двуязычных словарей и закодированных правил грамматики. Этот подход не оправдал себя, и машинный перевод перешел с парадигмы правил высокого порядка, пред-

писанных программистом, к парадигме вероятностных рекомендаций, которую машина получала в процессе обучения на реальных примерах. В настоящее время такие системы перевода, как Google Translate, используют для обучения не формализованные правила грамматики, но частоту использования огромного количества последовательностей слов в реальном языке. Перевод в этом случае — это пословный анализ текста, который сводится к расчету вероятности следующего используемого варианта. Роль массива данных, на которых обучается машина, невероятно высока в современных интеллектуальных системах, и ряд ярких случаев с ошибками программ связан именно с особенностями этого массива. Остановимся на нескольких примерах.

С 2014 по 2015 г. компания Amazon разрабатывала и внедряла экспериментальную технологию в области отбора персонала, основанную не технологии искусственных нейронных сетей. Данная программа должна была заниматься первичным отбором резюме соискателей на должности в компанию. Однако результаты тестирования показали, что новая система не оценивает кандидатов на должности разработчиков программного обеспечения и других технических должностей гендерно-нейтральным образом. Обучаясь на массиве данных отдела по отбору персонала компании Amazon за последние десять лет, нейросеть стала отбирать на эти вакансии претендентов-мужчин. Проблема массива данных для обучения оказалась в том, что в проанализированных нейросетью данных резюме женщин было меньше, сам по себе массив оказался не гендерно-нейтральным, что и привело в итоге к *дискриминации*. Аналогичные проблемы возникают, например, с системами распознавания лиц (*facial recognition technology*), которые можно было бы использовать для поиска преступников, пропавших людей и т.д. Согласно статистике точность работы этой системы отличается для разных рас, возрастных категорий, половой принадлежности, а значит, появляется риск дискриминации по этим признакам⁵.

Интерес представляет исследование того, каким образом машина в процессе обучения может перенимать стереотипы, за-

⁵ Kufilinski Y. How Ethical Is Facial Recognition Technology? URL: <https://towardsdatascience.com/how-ethical-is-facial-recognition-technology-8104db2cb81b> (дата обращения: 01.11.2019).

ложенные в естественном языке. Первые исследования по этой проблематике были проведены в 1998 г. Ш.Дрейном и Э.Гринвальдом (США) и касались исследования скрытых ассоциаций в языке [Draine, Greenwald, 1998]. Суть экспериментов заключалась в том, что испытуемые подбирали к названиям цветов и насекомых слова, с которыми они у них ассоциируются, из списка экспериментаторов. Слова, предложенные для описания, имели «приятную» (семья, друзья и т.п.) или же «неприятную» (катастрофа, авария и т.п.) эмоциональную окраску. Далее похожую процедуру провели для мужских имен, популярных среди белых американцев (Мэтт, Джон и т.п.) и афроамериканцев (Эбони, Джамал и т.п.). В результате проведенных опытов ученые выяснили, что испытуемые неосознанно связывали имена афроамериканцев с негативно окрашенными словами (убийство, смерть, тюрьма и т.п.). Подобные результаты в 2016 г. получили исследователи из Принстонского университета, проанализировав результаты работы популярной системы для обработки естественного языка GloVe на скрытые ассоциации. В результате оказалось, что самообучающаяся система переняла из массива данных (массива текста на естественном языке из сети Интернет) как расовые, так и гендерные предубеждения [Caliskan et al., 2017].

Таким образом, вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что методы машинного обучения, применяемые в современных системах искусственного интеллекта, основанные на нейросетевом принципе не лишены недостатков. Обучаясь на массиве данных, созданных человеческой культурой, искусственный интеллект показал нам, насколько несовершенен сам человек. Однако человек имеет право на ошибку и будет нести ответственность за нее, а вопрос об ответственности машин остается открытым. Этическая оценка работы машины фактически может (и, вероятно, должна) проводиться на уровне итогового результата работы.

Итак, мы выявили ряд сложностей на пути этичного использования ряда технологий искусственного интеллекта. Во-первых, современные системы искусственного интеллекта можно отнести к технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы злонамеренно. Во-вторых, ряд сфер, где предполагается использование или уже используются технологии искусственного интеллекта, предполагает не только безупречное выполнение

некоторого функционала, но присутствие живого человека, истинную эмпатию. Использование активно развивающейся социальной робототехники, автономного вооружения, диалоговый искусственный интеллект должны быть принципиально ограничены в использовании, а, возможно, и в разработке. В-третьих, современные технологии машинного обучения делают непрозрачными принципы работы искусственного интеллекта даже для профессионалов, что затрудняет вопрос о распределении ответственности за результат работы интеллектуальных машин.

Литература

- Минский М.* На пути к созданию искусственного разума // Вычислительные машины и мышление / под ред. Э.Фейгенбаума, Дж.Фельдмана. М.: Мир, 1967. С. 402–457.
- Caliskan A., Bryson J. J., Narayanan A.* Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases // *Science*. 2017. Vol. 356 (6334). P. 183–186.
- Correlating mammographic and pathologic findings in clinical decision support using natural language processing and data mining methods / eds T. A. Patel, M. Puppala, R. Ogunti, J. Ensor, T. He, J. B. Shewale, D. P. Ankerst, V. Kaklamanis, A. A. Rodriguez, S. T. C. Wong, J. C. Chang // *Cancer*. 2017. Vol. 123 (1). P. 114–121.
- Draine S. C., Greenwald A. G.* Replicable Unconscious Semantic Priming // *Journal of Experimental Psychology: General*. 1998. Vol. 127(3). P. 286–303.
- Turing A. M.* Computing Machinery and Intelligence // *Mind. New Series*. 1950. Vol. 59. No. 236. P. 433–460.

С. В. Шибаршина

ННГУ

Е. В. Масланов

Институт философии РАН

Автоматизация, искусственный интеллект и научное знание

Данная статья рассматривает ряд аспектов, связанных с внедрением программного обеспечения, использующего искусственный интеллект, в процесс научно-исследовательской деятельности, в частности на этап поиска и анализа литературы, а также внешней научной коммуникации (в данном случае написания научных новостей). Авторы исследуют данную проблематику с опорой на концепцию «быстрого/медленного» знания Дэвида Орра. С одной стороны, указываются преимущества использования искусственного интеллекта: прежде всего автоматизация процессов, а также оптимизация времени, усилий и человеческих ресурсов. С другой, выявляются существенные ограничения, а также возможные негативные следствия: прежде всего опора на автоматизацию, построенную на неверных данных, а также рост информационного перенасыщения. Показывается, что в перспективе весьма вероятно поглощение искусственным интеллектом значительной части научно-исследовательской деятельности и оставление за человеком функции «редактора» в утверждении окончательного варианта научных и научно-популярных текстов. Одновременно с этим авторы утверждают, что применение искусственного интеллекта в научной деятельности усиливает уже наметившиеся тенденции развития общества и культуры, ускоряя реализацию идеологии «быстрого знания»; при этом вряд ли можно однозначно судить о том, теряет ли ученый как человек свою сущность в данном процессе.

Ключевые слова: научное знание, автоматизация, искусственный интеллект, поисковая система для ученых, Semantic Scholar, научная новость, бот.

Вместо предисловия

В настоящее время цифровые технологии активно преобразуют нашу жизнь, оказываясь все более вплетенными в повседневность [Wellman, 2011]. Мы все чаще взаимодействуем с различными электронными помощниками, используем цифровые базы данных

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

в своей работе. Программное обеспечение (ПО) встроено во все уровни социотехнических инфраструктур, обеспечивая управление данными/информацией/знаниями и их интеграцию, что позволяет решать масштабные задачи в различных областях жизнедеятельности [Журавлева, 2019, с. 110]. Ученые и инженеры начиная с 50–70-х годов XX века развивают сферу приложений ПО, которая постепенно начинает играть важнейшую роль в научном инструментарии. Причем, как отмечает Е. Ю. Журавлева, ПО включено в различные этапы научно-исследовательской деятельности: «подготовки исследования (информационно-поисковая деятельность, создание баз данных и метакаталогов, превращение теоретической модели в количественные параметры, генерация гипотез); его проведения (подключение к виртуальным инструментам и приборам, проведение вычислительных экспериментов, автоматическое доказательство или опровержение теорем, анализ, визуализация и моделирование данных/информации, симуляции физического мира, решение сложных вычислительных задач); представления и распространения, полученных в процессе исследования результатов; осуществления научной коммуникации» [Журавлева, 2019, с. 112]. Некоторые инструменты при этом основаны на искусственном интеллекте (далее по тексту — ИИ), который способен взять на себя высокоинтеллектуальные функции, в том числе связанные с производством, распространением и применением научного знания.

Однако при этом увеличение использования ПО в жизни современного общества представляет собой своего рода социальный эксперимент, комплексные последствия которого являются предметом разнонаправленных дискуссий, часть из которых нацелена на «демистификацию» новых технологий (см., например [Frabetti, 2010]), часть — на акцентирование существенных пробелов в понимании их природы и неявных возможностей (например, сфера программного обеспечения уподобляется своеобразному «черному ящику [Kitchin, 2011])). Как отмечает Мартин Веллер, анализ литературы за последние двадцать лет, посвященной, например, цифровым технологиям в образовании, выявляет, с одной стороны, предвосхищения и ожидания в духе утопии, с другой — страхи и опасения в духе антиутопии, связанные в том числе с ИИ и виртуальной реальностью [Weller, 2011]. Причем в период написания им книги «Цифровой ученый» «отношение к цифровым

практикам в науке и образовании в целом было настороженным» [Weller, 2018, p. 52]. Отношение к внедрению цифровых практик в науку и образование, на наш взгляд, до сих пор неоднозначное (см., например, продолжающиеся дискуссии о так называемой. «макдональдизации» образования [Beyond McDonaldization, 2017; Давыдова, 2018; Никитин, 2018 и др.]). Различные, в том числе устрашающие и лишенные «хеппи-энда», сценарии возможного технобудущего реализованы в продуктах масскультуры: хорошей иллюстрацией служит современное британское ТВ-шоу «Черное зеркало», которое в духе технопаранойи превращает утопию в антиутопию [Слюсарев, 2019].

Рассматриваемая нами проблематика обращает нас также к понятию «быстрого знания». Еще в 1996 г. американский эколог и писатель Дэвид Орр указал на преобладание в XX веке культуры «быстрого знания» (fast knowledge) [Orr, 1996, p. 699] (мы бы добавили — идеологии), отличающейся рядом характеристик, среди которых отметим следующие. Истинным знанием может считаться только то, что измеряемо, причем не существует значительной разницы между знанием и информацией. Чем больше знаний мы накапливаем, тем лучше; более того, любые ошибки и просчеты на пути прогресса могут быть исправлены посредством нового знания. Приобретение знания не ограничено какими-либо обязательствами за последствия его использования. Идеология «быстрого знания» оказывает серьезное воздействие и трансформирует различные сферы — экономику, образование, коммуникацию, культуру, образ жизни, социальные ценности и т. д. При этом, по словам Д. Орра, увеличивающаяся скорость производства и применения знаний принимается «как верное свидетельство человеческого прогресса и совершенства», без внимательного обдумывания экологических, экономических, социальных и психологических последствий этого [Orr, 1996, p. 700].

Цитируемая работа Орра была опубликована в 1996 г., и с тех пор человечество, безусловно, совершило определенный прогресс в осознании различных следствий «знаниевой» гонки и способов их преодоления, однако сам темп роста знаний/информации не замедлился, а напротив — продолжает ускоряться. Как отмечает Майкл Петерс, в цифровую эпоху скорость становится самостоятельным социокультурным феноменом и управленческим параме-

тром, переформатирующим буквально все социальные практики, включая научно-исследовательские и образовательные [Peters, 2015]. Так ли это плохо, на самом деле? Сам Д. Опп не отрицал положительных эффектов «быстрого знания», однако настаивал, что оно генерируется с такой высокой скоростью, которая не позволяет разумно и безопасно его применять и даже просто усваивать. В глобальном смысле более перспективной является культура «медленного знания» (slow knowledge), основанная на ответственном его применении, гармонии, устойчивости и сохранении ценностей: в отличие от информации, знание в подлинном смысле слова приобретает медленно и тщательно «калибруется» в соответствии с конкретным экологическим и социокультурным контекстом [Orr, 1996, p. 700].

По всей видимости, концепция «медленного знания» предполагает при решении проблемы технологических и прочих рисков придерживаться принципа предосторожности, согласно которому технология считается «виновной» до тех пор, пока не будет доказана ее «невиновность». Другими словами, при разработке проектов, технологий и т. д, если определенная деятельность может нанести неприемлемый ущерб, необходимо предпринять соответствующие действия, вплоть до запрета [Шибаршина, 2018, с. 199]. По мнению Адама Бриггса, не существует способа доказательства полной «невиновности» технологии, и более адекватным современным реалиям является принцип проактивности [Briggle, 2015]. То есть, вместо стремления к получению исчерпывающего знания о технологии и ее последствиях следует придерживаться «презумпции невиновности» технологии, воспринимая процесс ее апробирования как своего рода эксперимент в реальных полевых условиях. Иными словами, принцип проактивности трансформирует риски в возможности [Fuller, Lipinska, 2014].

Искусственный интеллект и научно-исследовательский поиск

В связи с тем, что на различных этапах современных исследований образуется огромное количество данных, еще в начале 2000-х годов было введено понятие «потока данных» [Heu, Trefethen, 2003] одновременно с развитием высокотехнологичных

инструментальных исследований. Несколько позже появились системы, предлагающие не просто поиск и структурирование данных, но также их семантическую обработку (системы типа Semantic Scholar и Iris.ai). Прежде всего подобные проекты ценны тем, что способны оптимизировать процесс обзора ранее опубликованной литературы. Поскольку ее объем растет в геометрической прогрессии, проведение обзора литературы обычно требует значительного количества времени, в то время как инструменты для изучения литературы на основе ИИ помогают исследователям быстрее выполнять эту задачу. В этом смысле упомянутые Semantic Scholar и Iris.ai принципиально отличаются от более ранних и привычных поисковых инструментов типа PubMed и Google Scholar. Если последние — по большому счету индексация цитирования, то первые предлагают более глубокий анализ литературы. Инструменты, основанные на использовании ИИ, используют алгоритмы, которые обычно выполняют две функции: они извлекают научный контент, а также занимаются фильтрацией, ранжированием и группированием результатов поиска.

Semantic Scholar — это поисковая интернет-платформа, разработанная в Институте искусственного интеллекта Аллена и запущенная в 2015 г. Поисковый сервис комбинирует машинное обучение, обработку естественного языка и машинного зрения, чтобы добавить слой семантического анализа к традиционным методам анализа цитирования. Для каждой найденной статьи приводится аннотация, данные по цитированию и его динамике, а также ссылка на ресурс, где можно найти полный текст. Когда Semantic Scholar анализирует статью, он видит больше, чем типичная научно-исследовательская поисковая система, за счет возможности семантического понимания данных. Это означает, что поисковый алгоритм может не только извлекать различные элементы типа ключевых слов, ссылок и т. д., но также анализировать связи между элементами текста и оценивать значимость смысла фразы.

Semantic Scholar также способна фиксировать скрытое заимствование, когда некий метод или идея настолько хорошо обоснованы, что исследователи не ссылаются на их происхождение (либо это может оказаться случайным совпадением). Кроме того, система идентифицирует неочевидные связи: к примеру, определенные методы компьютерных наук могут оказаться имеющими

отношение к вычислительной биологии, что способно помочь выявить нерешенные проблемы или важные гипотезы для проверки или опровержения. Алгоритмы строят графы знаний, которые детализируют отношения между извлеченными объектами. Например, ИИ может предположить, что медицинский препарат и белок связаны, если они упоминаются в одном предложении, и кодирует это как явную связь в базе данных, а не просто как предложение в документе. В настоящее время Semantic Scholar включает в себя более 40 млн документов из области компьютерных и биомедицинских наук, производя поиск по контенту публикаций PubMed, ArXiv, Springer Nature и т. д., однако ее корпус растет, и создатели планируют, в конечном итоге, включить все научное знание [Extance, 2018].

Что касается Iris.ai, то данный инструмент основан на другом подходе: группируя документы по темам, определяемым используемыми ими словами, он менее чем за минуту сопоставляет тысячи соответствующих документов и классифицирует их концептуально [Extance, 2018]. Iris.ai отслеживает коллекцию CORE, а также журналы, к которым библиотека пользователя предоставляет доступ. Инструмент объединяет три алгоритма для создания отпечатков документов, отражающих частоту использования слов, которые затем задействуются для ранжирования документов в соответствии с релевантностью. Результатом является карта связанных документов. Но компания планирует внедрить также разработку, благодаря которой система посредством ИИ будет проверять все аспекты исследовательской работы на предмет соответствия другим научным публикациям, сверяя, таким образом, гипотезы.

В качестве социальных преимуществ использования ИИ в поиске и анализе литературы называют его абсолютную ценностную нейтральность при обработке статей: его не интересует социальный статус авторов, их пол, цвет кожи, аффилиация, национальность и гражданство. По мнению Элис Медоуз, директора по связям с общественностью организации ORCID, это будет способствовать более равномерной цитируемости ученых разного пола и этнической принадлежности [Michael, 2019].

Однако у инструментов на основе ИИ есть и существенные ограничения. Во-первых, данные в статьях могут оказаться неверными. Последствия же полагания на автоматически сгенери-

рованные результаты, построенные на неверных данных, могут оказаться разрушительными, например, в медицине. В некоторых работах не совпадают имена авторов. Во-вторых, научные статьи не пишутся под машинный поиск, в отличие, к примеру, от рекламных текстов, заранее оптимизируемых под поисковые запросы. Несмотря на то что формат современных публикаций навязывает, прежде всего в отношении эмпирических исследований, так называемый стандарт IMRAD (введение, методы, результаты, обсуждение), ИИ на самом деле не так просто отделить компоненты научного текста и обработать их. Многозначность некоторых терминов также тормозит работу поисковика. В связи с этим, как отмечает Дэвид Смит (эксперт и сотрудник Института инжиниринга и технологий, Великобритания), вполне естественным может стать следующее требование: исследовательские статьи должны будут иметь четкие и ясные декларативные утверждения, выраженные семантически, чтобы помочь машинам [Michael, 2019]. Однако возникает вопрос, насколько обязательными и распространенными будут подобные нормы? Коснутся ли они только эмпирических исследований? Затронут ли они социально-гуманитарное знание?

В целом, как отмечает Сюзанна Фрике (Университет штата Вашингтон, США) в обзоре *Semantic Scholar*, подобные системы «не предназначены для того, чтобы предлагать исчерпывающий поиск и анализ» [Fricke, 2018]. Они не дают автоматических ответов, будучи лишь инструментом, способным оптимизировать поиск и обработку материала. Таким образом, ИИ не заменяет ученого — живого человека, а скорее дополняет его, ускоряя и оптимизируя те процессы, которые человек в принципе способен выполнять, однако в силу биологических ограничений вынужден делать это гораздо дольше, а зачастую еще и в команде, не в одиночку, в то время как ИИ может осуществить это за секунды. И все же различные тенденции, включая пока еще намечающиеся — например, вышеупомянутое предложение Смита семантически оптимизировать тексты статей под обработку ИИ, — на наш взгляд, как бы намекают на то, что однажды написание научных статей может быть отдано на откуп или точнее на генерацию ИИ.

Искусственный интеллект и генерация научных новостей

Как известно, развитие ИИ привело к тому, что боты стали генерировать новости о реальных событиях в мире спорта, финансов, политики и т.д. Более того, алгоритмы ИИ также могут быть использованы для автоматического обобщения научных исследований и трансформации их в пресс-релизы и новости [Tatalovic, 2018]. Эффективность и продуктивность подобных ботов, которые в перспективе способны заменить научных журналистов, сопоставляется с уже проявленной плодотворностью ботов, используемых медиаорганизациями, такими как Washington Post и Associated Press. Первая, например, третий год использует собственную технологию ИИ, Heliograf, которая за год произвела 850 публикаций [Miller, 2015]). Мико Таталович ссылается на предлагаемую SciNote технологию Manuscript Writer, основанную на ИИ и способную генерировать несколько вариантов черновиков научной рукописи: по его словам, подобные алгоритмы неплохо справляются с обобщением предыдущих исследований по теме и могут дать материал для разделов «Введение» и «Обсуждение» [Tatalovic, 2018].

Аналогично с этим Таталович предполагает, что в ближайшее время подобные алгоритмы могут оказаться доступными и для научной журналистики. Новая исследовательская публикация автоматически загружается в ПО, которое превращает ее в научно-популярную новость, обеспечивая при этом контекст предыдущих дискуссий по данной теме. Более того, некоторые технологии ИИ смогут сопоставить эту новость с существующими образцами и практиками, признанными лучшими, и внести необходимые изменения. Также может быть встроен специальный код, который позволит автоматически отсылать подобные новости авторам научных статей для того, чтобы те перепроверили информацию и снабдили ее ссылками. Пока это делают сами научные журналисты. Подобное, очевидно, поставит под вопрос целесообразность сохранения профессии научного журналиста как такового, хотя, по мнению Таталовича, работа редактора все-таки в краткосрочной перспективе еще будет сохранять актуальность в плане обеспечения «отполированного» конечного продукта. При этом

в не столь отдаленном будущем вполне возможно создание бота, который возьмет на себя весь процесс.

Что касается возможных положительных эффектов, то следует отметить, что, подобные инновации пойдут на пользу тем областям науки, которые пока не особо освещаются в медиа, а также регионам периферийной науки [Zorlu, 2012]. Кроме того, это может быть полезно для пользователей, заинтересованных в кратком изложении всего, что было опубликовано в той или иной области, будь то медицина и здоровье, окружающая среда, биотехнологии и т.д. Однако, как существенное отрицательное следствие, это может означать дальнейшую информационную перегрузку и перенасыщение. Не говоря уже о том, что может потерять актуальность профессия научного журналиста.

Выводы

Применение искусственного интеллекта в научной деятельности позволяет сделать вывод о том, что он усиливает уже наметившиеся тенденции развития общества. С одной стороны, научно-техническое производство существенно зависит от цифровых технологий и ПО, позволяющих оптимизировать различные процессы, в том числе за счет сокращения времени и человеческого труда. С другой стороны, вряд ли можно утверждать, по крайней мере пока, что ученый как человек теряет свою сущность и становится лишь элементом системы технических вещей. Наш взгляд, различные инструменты на основе ИИ пока лишь дополняют и оптимизируют производство и распространение научного знания, ускоряя реализацию идеологии «быстрого знания».

Цифровые технологии и развитие инструментов на основе ИИ, таким образом, радикализируют уже стоящие перед обществом и человеком проблемы [Масланов, 2019, с. 15]. В связи с генерацией большого количества знаний/информации необходимы соответствующие технологии их интеграции и обработки. ИИ дает возможность ученым решать задачи, которые они не могли раньше решать из-за ограничений, связанных с трудоемкостью вычислительных операций. Что же касается генерации научных статей и научных новостей, это опять же оптимизация процесса, а не нечто принципиально новое. То есть, инструменты ИИ скорее

позволяют по-новому применить имеющиеся у человека когнитивные способности, выстроить новые стратегии решения старых проблем, используя при этом уже существующие модели поведения и решения задач.

Литература

- Давыдова С. И. Макдональдизация высшего образования // Проблемы высшего образования. 2018. № 1. С. 15–17.
- Журавлева Е. Ю. Софтверизация общества: истоки и перспективы // Социологические исследования. 2019. № 4. С. 109–117.
- Масланов Е. В. Цифровизация и развитие информационно-коммуникационных технологий: новые вызовы или обострение старых проблем? // The Digital Scholar: Philosopher's Lab / Цифровой ученый: лаборатория философа. 2019. Т. 2, № 1. С. 6–21.
- Никитин А. П. Макдональдизация высшего образования // Идеи и идеалы. 2018. Т. 2, № 3. С. 221–232.
- Слюсарев В. В. Философия «Черного зеркала»: переворот в мозгах из края в край... // The Digital Scholar: Philosopher's Lab / Цифровой ученый: лаборатория философа. 2019. Т. 2, № 1. С. 22–32.
- Шибаршина С. В. «Полевая» философия и проблема взаимодействия между философами и различными социальными группами // The Digital Scholar: Philosopher's Lab / Цифровой ученый: лаборатория философа. 2018. Т. 1, № 1. С. 190–211.
- Beyond McDonaldization: Visions of higher education. Ed. by D. Hayes. New York: Routledge, 2017.
- Briggle A. A Field Philosopher's Guide to Fracking: How One Texas Town Stood Up to Big Oil and Gas. New York: Liveright Publishing Corp., 2015.
- Extance A. How AI technology can tame the scientific literature // Nature. 2018. 10 September. URL: <https://www.nature.com/articles/d41586-018-06617-5> (дата обращения: 12.10.2019).
- Frabetti F. Have the Humanities Always Been Digital?: For an Understanding of the 'Digital Humanities' in the Context of Ordinary Technicity // Understanding the Digital Humanities. Ed. D. Berry. London.: Palgrave-Macmillan, 2012. P. 161–171.
- Fricke S. Semantic Scholar // Journal of the Medical Library Association. 2018. Vol. 106, no. 1. P. 145–147.
- Fuller S., Lipinska V. The proactionary Imperative: A Foundation for Transhumanism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

- Hey A., Trefethen A. The Data Deluge: An e-Science Perspective // Grid Computing: Making the Global Infrastructure a Reality / eds F. Berman, G. C. Fox, A. Hey. Chichester: Wiley and Sons, 2003. P. 809–824.
- Kitchin R. The programmable city // Environment and Planning B: Planning and Design. 2011. Vol. 38. No. 6. P. 945–951.
- Michael A. Ask the Chefs: AI and Scholarly Communications // The Scholarly Kitchen. 2019. 25 April. URL: <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/25/ask-chefs-ai-scholarly-communications/> (дата обращения: 03.09.2019).
- Miller R. AP's 'robot journalists' are writing their own stories now // The Verge. 2015. 29 January. URL: <https://www.theverge.com/2015/1/29/7939067/ap-journalism-automation-robots-financial-reporting> (дата обращения: 03.10.2019).
- Orr D. W. Slow knowledge // Conservation Biology. 1996. Vol. 10. No. 3. P. 699–722.
- Peters M. A. The University in the Epoch of Digital Reason: Fast Knowledge in the Circuits of Cybernetic Capitalism // Analysis and Metaphysics. 2015. Vol. 14. P. 38–58.
- Tatalovic M. AI writing bots are about to revolutionise science journalism: We must shape how this is done' // Journal of Science Communication. 2018. No. 17 (01).
- Weller M. The Digital Scholar: How Technology is Transforming Scholarly Practice. London; New York: Bloomsbury Academic, 2011.
- Weller M. The Digital Scholar Revisited // The Digital Scholar: Philosopher's Lab / Цифровой ученый: лаборатория философа. 2018. № 2. Т. 1. С. 52–71.
- Wellman B. Studying the Internet Through the Ages // The Handbook of Internet Studies / eds R. Burnett, M. Consalvo, C. Ess. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. P. 17–23.
- Zorlu G. Africa needs a science news service, says report // SciDev.Net. 2012. URL: <https://www.scidev.net/global/r-d/news/africa-needs-a-science-news-service-says-report.html> (дата обращения: 07.10. 2019).

Цифровизация как преодоление неопределенности: теоретические аспекты и технологический прогноз*

Статья посвящена интерпретации феномена цифровизации через понятие «неопределенность». Основной целью работы является обоснование интерпретации процессов цифровизации как преодоления неопределенности. Понятие «неопределенность» автор трактует иерархически — от базового аспекта неопределенности (энтропии) до неопределенности высших уровней (неопределенность как вероятность, неопределенность как угроза, а также экзистенциальная неопределенность). Эта иерархия смыслов, по мнению автора, может стать неплохой моделью для прогнозирования мегатрендов цифровизации. Так, цифровизация первой волны, включающая поколения Web 1.0, Web 2.0 и Web 3.0, направлена на минимизацию информационной неопределенности, или энтропии. Данный этап цифровизации характеризуется усовершенствованием общедоступных и частных баз данных, системами поиска информации, технологиями хранения информации, а также способами передачи информации посредством электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и пр. Следующие поколения в эпоху второй волны, вероятно, изменят характер своего развития по причине окончания оформления глобальной Сети, то есть наличия в системе значительного количества баз данных, а также средств обмена и передачи информации. Вторая волна предполагает усложнение цифрового пространства, предъявляющего новые требования к безопасности, наличие минимального цифрового «опыта», позволяющего делать более точные прогнозы, а также возникновение роботов, помогающих искать необходимую информацию и принимать решения. Этим обуславливается актуальность технологий распределенных реестров, больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и других инноваций. Вторая волна цифровизации, вероятно, также охватит три поколения и продолжится, предположительно, до 2050-х годов.

Ключевые слова: цифровизация, мегатренд, неопределенность, энтропия, искусственный интеллект.

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости».

Понятие «неопределенность» в современной науке является междисциплинарным. Проникновение этой темы в самые разные отрасли научного знания объясняется прежде всего распространением когнитивной методологии в сфере гуманитарных наук, а также процессами цифровизации. Такая ситуация вносит неопределенность в само понятие «неопределенность», поскольку оно в различных науках, вероятно, используется в разных смыслах, которые и следует прояснить.

У. Росс Эшби, суммируя идеи К. Шеннона и А. А. Маркова, определяет информацию как «то, что устраняет неопределенность», и в качестве основной характеристики информации устанавливает количество неопределенности, которую информация устраняет [Эшби, 1959, с. 254–255]. Информация, с точки зрения Л. Бриллюэна, представляет собой «отрицательный вклад в энтропию», или негэнтропию [Бриллюэн, 2006, с. 34]. Из этого следует, что информация, равно как и энтропия, не только измеримы, но и представляют собой две части одного целого. Изначальное количество энтропии равно в своем объеме количеству информации, полностью устраняющей неопределенность. Если же речь идет о частичном устранении информации, то неопределенность на данный момент времени рассчитывается по формуле:

$$Ht = H - It,$$

где H — изначальная энтропия, It — информация, а Ht — энтропия, имеющиеся на данный момент.

Из этих рассуждений следует, что неопределенность — это характеристика информации и информационных систем. Если информация представляет собой снятую энтропию, то неопределенность в данном случае — информационная недостаточность. Однако есть и другая точка зрения. Так, источником неопределенности может выступать не только недостаток, но и избыток информации [Диев, 2011, с. 84]. Если, к примеру, взять шкалу информации/энтропии на интервале (0; 1), то информация, равная, к примеру, 1,25, увеличивает энтропию на 0,25.

Получается, что энтропия, охарактеризованная как информационная неопределенность, в качестве предмета неопределенности имеет информацию, и основные риски, вытекающие из такого понимания неопределенности, связаны с транзакционными издерж-

ками получения необходимой информации, а также временем, затрачиваемым на поиск и подтверждение или опровержение информации. Подтвержденная информация в данном случае выступает не иначе, как в форме знания. Отсюда возникает и гносеологическая проблема отбора надежных методов подтверждения имеющейся информации.

Другая интерпретация термина «неопределенность» связана с хаотическим поведением системы и служит одной из основных характеристик хаоса. «Очевидно, что хаотические состояния содержат в себе неопределенность. Если бы мы знали все величины, мы могли бы по крайней мере выписать их, найти некоторые правила их расположения и, таким образом, справились бы с хаосом. Вместо этого мы должны иметь дело с неопределенностями, или, более точно, с вероятностями» [Хакен, 1980, с. 34]. Устойчивое развитие системы предсказуемо. Чем больше порядка в системе, тем больше ее предсказуемость. Однако таких систем не существует, и мера непредсказуемости развития системы в действительности содержится в каждой реальной системе.

Неопределенность поведения системы зависит от количества исходов, или реализаций, наступления тех или иных событий. Так, число вероятных исходов бросания монеты, обладающей двумя гранями, равно 2. Количество исходов бросания кубика на стол равняется 6, то есть в этом случае неопределенность поведения системы выше, чем в случае бросания монеты. Значит, сложность самой системы увеличивает неопределенность поведения той. Также стоит отметить, что потеря устойчивости чревата для самой системы чувствительностью к флуктуациям. «При потере устойчивости особой точкой может возникнуть предельный цикл, а при потере устойчивости предельным циклом — хаос» [Теория бифуркаций, 1986, с. 12]. Неустойчивое состояние система пытается сменить на устойчивое, то есть выбрать один из вариантов развития среди нескольких возможных. Теоретически она может основываться на теории вероятностей, к примеру, на теореме Байеса, для определения более вероятной траектории развития. Однако исследования Д. Канемана это отвергают [Канеман и др., 2005]. Обычно в условиях неопределенности люди склонны принимать решения, основываясь на интуиции и некоем удовлетворяющем (принцип *satisficing* Г. Саймона) их решении, а не на теории вероятности и математическом расчете.

Такую неопределенность можно условно назвать *системной*; это неопределенность развития или поведения. Основными рисками выступают здесь чрезмерные траты ресурсов, неэффективность развития и подталкивание тем самым всей системы к новым неустойчивым состояниям. Знание в данном случае здесь также играет немаловажную роль — это возможность прогнозирования и снижение неопределенности в обнаружении наиболее вероятной траектории развития.

В психологических исследованиях понятие «неопределенность» исследуется значительным количеством авторов. Основные трактовки связаны с выбором и принятием решений, поведением в условиях риска, а также с самоопределением [Корнилова, 2015]. Одни из наиболее известных российских исследователей психологии неопределенности О. К. Тихомиров и Т. В. Корнилова под неопределенностью подразумевают большей частью системную неопределенность и соответствующие аспекты данной проблемы — выбор в условиях неопределенности (который можно сравнить с точкой бифуркации), готовность системы к риску (устойчивость к флуктуациям и расширение горизонта мыслимых последствий в будущем), самоопределение и самоконструирование через выбор. Однако такая трактовка неопределенности не является чисто психологической, скорее это приложение междисциплинарной теории систем на конкретную область исследований.

Специфический взгляд на неопределенность с точки зрения психологии, заключается, на наш взгляд, в исследованиях ситуаций неопределенности, ее переживания, умения личности выходить из нее. Ряд ученых отмечает, что ситуация неопределенности порождает страх, тревогу, дискомфорт [Buhr, Dugas, 2002; Greco, Roger, 2001; Grenier et al., 2005], порождающие мотивацию выхода из неопределенности. Взаимосвязь уровня нетерпимости к неопределенности и личностной тревоги уже установлена исследователями [Ladouceur et al., 2000].

При этом неопределенность может трактоваться не только в негативном, но и конструктивном ключе — как источник творческого изменения действительности и возможность трансформации реальности. Если личность оценивает ситуацию неопределенности позитивно, то его деятельность, вероятно, не будет направлена на устранение неопределенности [Garling et al., 1998]; на-

против, субъективная оценка приведет к удержанию неопределенности и поиска новых возможностей, а также готовности к риску.

Описанную выше неопределенность условно обозначим как *психологическую*, связанную с внутренним миром человека и его переживаниями. Иными словами, это преимущественно субъективная неопределенность, рассмотренная под углом когнитивной реакции на объективную ситуацию. При этом субъект, по всей видимости, не только и не столько позитивно оценивает объективную неопределенность, сколько моделирует ее и порождает неопределенность в своем сознании, из которой творчески ищет выход. В когнитивном плане это означает *возможность знания возможного*.

Наконец, стоит выделить еще один тип неопределенности — *экзистенциальную*. Этот аспект напрямую связан со свободой человека: «В экзистенции неизбежно присутствует свобода, и с ней неопределенность» [Ялом, 1999]. Симона де Бовуар, комментируя «Бытие и ничто» Ж. П. Сартра, охарактеризовала экзистенциализм как этику неопределенности [De Beauvoir, 2019]. Эта трактовка неопределенности объединяет практически всех представителей экзистенциализма — от С. Кьеркегора до И. Ялома. Речь идет о взгляде на человека как на существо, способное выйти за рамки выбора, поскольку выбор совершается из чего-то определенного самим человеком. Разрушение определенности и есть переход к полной свободе, в том числе к страданию от неопределенности. Облекая предметы-понятия в оболочку «ничто», человек освобождается от их навязчивого присутствия и требования выбора.

Речь де-факто идет о знании своего незнания, знания неопределенности, познании отсутствия границ своей свободы, поскольку главный враг свободы — сам человек. Подобные идеи высказывались Николаем Кузанским, С. Л. Франком, Н. А. Бердяевым, Э. Фроммом и др. Определенность есть уверенность в определенности или убеждение в определенности. Отрыв от своих убеждений погружает субъекта в некоторое метапространство неопределенности, и именно оно выступает истинным источником познания и самопознания, а не описанная выше смоделированная неопределенность в сознании субъекта.

Отношение аспектов понятия «неопределенность» друг к другу является предметом отдельного исследования.

Ниже приведена таблица (табл. 1), суммирующая все высказанные в данной работе идеи.

Таблица 1. Сравнительный анализ основных аспектов понятия «неопределенность»

Типы неопределенности	Предмет неопределенности	Риски	Когнитивная составляющая
Экзистенциальная	Убеждения	Зависимость от убеждений	Знание как свобода
Психологическая	Ситуации	Страх, тревога, дискомфорт	Знание как реакция на неопределенность; знание как аутопоэзис
Системная	Динамика	Чрезмерные траты ресурсов, неэффективность развития, неустойчивое состояние	Знание как прогнозирование; как оценка альтернатив
Информационная	Информация	Транзакционные издержки	Знание как подтвержденная информация

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что современный мир преодолевает фазу информационной неопределенности. Три десятилетия развития Интернета и соответствующие им три поколения Web 1.0, 2.0 и 3.0 занимались усовершенствованием общедоступных и частных баз данных, системами поиска информации, технологиями хранения информации, а также способами ее передачи посредством электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и пр. Подавляющее большинство компаний имеют официальный сайт или интернет-магазин. Значительное количество статистической информации, собираемой как государственными, так и частными предприятиями, сегодня представлено в общем доступе. Достижением этого этапа цифровизации стал не только общий доступ, но и структурирование информации, то есть размещение ее на специальных сайтах-«хранилищах». При этом ряд исследователей полагает, что перед поколением 4.0 стоят совсем иные задачи — распознавание, интеллектуализация системных процессов, а также цифровое управление, понимаемое в широком смысле этого слова (см. табл. 2).

Таблица 2. Сравнение концепций Web [Гарипов и др., 2018]

Концепция/ Уровень	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0	Web 4.0
Аппаратно-физический	web-серверы, ПК	оптоволокну, графические процессоры	гиперсерверы, нетбуки, планшеты, многоядерные ПК	распознающие процессоры
Сетевых протоколов	TCP/IP	защищенные протоколы, р2р-сети	мультимедиа-протоколы, семантические протоколы	управляющие телематические протоколы
Операционно-системный	многозадачные ОС	сетевые ОС	облачные вычислительные структуры	загружаемые ОС
Программно-инструментальный	сетевые языки, 3GL	визуальные среды, 4GL	серверные среды, 5GL	языки искусственного интеллекта, 6GL
Топологический	иерархическая фиксированная однонаправленная структура	сетевая многосвязная диалоговая структура	логическая (объектно-реляционная) структура	реляционная структура
Управления данными	корпоративная сетевая СУБД	поисковые гиперсерверы	анализирующие гиперсерверы	управляющие гиперсерверы
Прикладной	browser, статический HTML-сайт, HTML2.0 — HTML3.2	browser-framework, динамические сайты на CMS-движках, HTML4	идентифицирующий netframework, сетевые прикладные сервисы, межсерверный обмен, HTML5, XML	slave-приложение, управляющее пользователем, глобальный master — управляющий гиперсервер
Сетевых отношений	сетевой гипертекст	интерактивная связь	поисковая оценивающая связь	глобальная управляющая связь
Общественно-информационный	технические сети, клиент осуществляет «серфинг» по сети, читает всю информацию сети	бытовые сети (СМИ), клиент «разговаривает», общается с сервером, сервер регулирует область чтения и действий клиента	разведывательные сети, сервер собирает досье на клиента и управляет приложениями клиента	управляющие сети, сервер управляет всеми клиентами в режиме электронного правителя

Подтверждает тезис о завершении этапа «первой волны» цифровизации некоторые статистические данные. Так рейтинг популярности сайтов по количеству посетивших сайт пользователей по версии портала Lifewire на сентябрь 2019 г. выглядит следующим образом:

- 1) Google.com;
- 2) Youtube.com;
- 3) Facebook.com;
- 4) Baidu.com;
- 5) Wikipedia.org;
- 6) QQ.com;
- 7) Taobao;
- 8) Yahoo.com;
- 9) TMall.com;
- 10) Amazon.com¹.

Данный рейтинг на 90 % состоит из информационных справочников, поисковых систем и социальных сетей. Другие рейтинги показывают схожую тенденцию — первые места традиционно делят поисковые системы и социальные сети. Такое внимание к информационно-коммуникационным технологиям не может не указывать на глобальную тенденцию устранения информационной неопределенности. Однако сегодня внимание общественности, государственные программы и объемы инвестиций явно сигнализируют о начале смены мирового тренда.

В апреле 2019 г. исследовательская компания Gartner обозначила следующие технологические тренды: автономные устройства; дополненная аналитика; разработка приложений на основе ИИ; цифровые двойники; усиление периферийных вычислений; технологии с эффектом погружения; блокчейн; «умные» пространства; цифровая этика и конфиденциальность; квантовые вычисления². В свою очередь, Правительство РФ составило прогноз научно-технологического развития страны до 2030 г., в котором указаны

¹ Fisher S. The Top 10 Most Popular Sites of 2019. URL: <https://www.lifewire.com/most-popular-sites-3483140> (дата обращения: 05.10.2019).

² Тенденции мирового ИТ-рынка. 10 технологических трендов от Gartner на 2019 год. URL: www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 05.10.2019).

следующие приоритетные направления исследований в области информационно-коммуникационных технологий.

1. *Компьютерные архитектуры и системы*: экзафлопсные суперЭВМ, вычислительные алгоритмы и программное обеспечение для систем, распределенные системы и архитектуры, новые архитектуры серверных и персональных компьютерных устройств, новые парадигмы организации и реализации вычислительных процессов, новые технологии создания компьютерных устройств.

2. *Телекоммуникационные технологии*: новые технологии передачи информации; новые технологии организации сетей; новые технологии распространения контента; технологии и системы цифровой реальности и перспективные «человеко-компьютерные» интерфейсы.

3. *Технологии обработки и анализа информации*: методы и технологии сбора, обработки, анализа и хранения сверхбольших объемов информации, новые технологии работы с мультимедийной информацией, новые технологии работы с текстовой и слабоструктурированной информацией, перспективные веб-технологии и системы, новые технологии анализа информации.

4. *Элементная база и электронные устройства, робототехника*: перспективные технологии автоматизированного проектирования элементной базы, использование новой элементной базы для создания перспективных ИКТ, технологии создания сложных функциональных блоков для элементной базы, робототехника.

5. *Предсказательное моделирование, функционирование перспективных систем*: моделирование сложных систем и процессов, интеллектуальные системы управления и поддержки принятия решений, средства проектирования и поддержки функционирования ИКТ.

6. *Информационная безопасность*: технологии надежной идентификации и аутентификации в ИКТ, надежные и доверенные архитектуры, протоколы, модели, технологии обеспечения защиты персональных данных, методы и средства биометрической идентификации личности, противодействие новым вызовам информационной войны и киберпреступности в ИКТ.

7. *Алгоритмы и программное обеспечение*: перспективные парадигмы и технологии программирования, языки и системы,

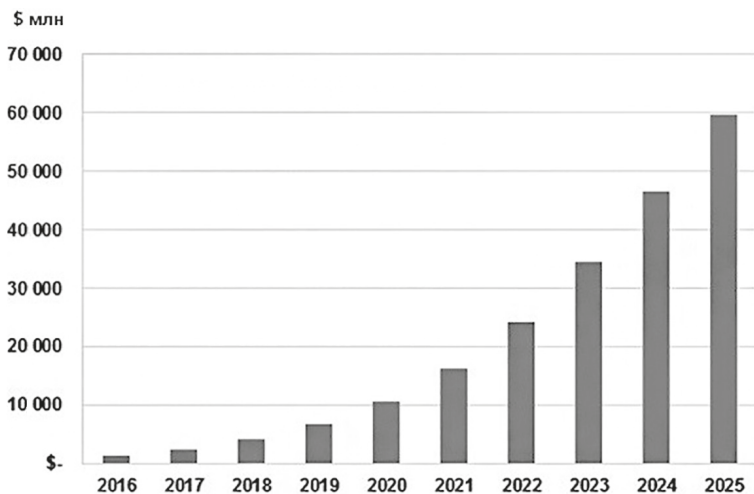


Рис. 1. Рост мирового рынка технологий искусственного интеллекта⁴

перспективные технологии и решения для операционных систем, СУБД и программного обеспечения промежуточного слоя, когнитивные технологии³.

Искусственный интеллект занимает особое место среди перспективных разработок. Такое положение дел объяснимо, с одной стороны, традиционным повышенным вниманием со стороны ВПК, с другой — успехами цифровой экономики, а также предвыборной компании Д. Трампа в 2016 г. В 2017 г. аналитическая компания Tractica опубликовала прогноз рынка ИИ до 2025 г., согласно которому ожидается стремительный рост инвестиций в ИИ-стартапы (рис. 1). По прогнозу инвестиционного банка UBS, к 2030 г. экономическая добавленная стоимость от применения искусственного интеллекта только в Азии будет составлять от \$1,8 до \$3 трлн в год.

³ Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ). URL: <https://legalacts.ru/doc/prognoz-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-period/> (дата обращения: 05.10.2019).

⁴ Кутовая Я. Интеллектуальное превосходство: Китай ставит на мировое господство на рынке искусственного интеллекта // Forbes. 2017.

Суть тренда второй волны цифровизации достаточно проста — усилия акторов, вовлеченных в этот мегатренд, будут направлены на борьбу и преодоление системной неопределенности. Остаются при этом открытыми вопросы, какой временный период охватит этот процесс и каким образом будут развиваться события. Можно предположить, что по аналогии с первой волной цифровизация второй волны охватит период до 2050 г. и также будет измеряться десятилетиями-поколениями:

- 2020–2030 г. — поколение Web 4.0;
- 2030–2040 г. — поколение Web 5.0;
- 2040–2050 г. — поколение Web 6.0.

При этом, если быть объективным, сверхзадачи, которые уже поставили крупные игроки нового мегатренда, вряд ли окажутся решенными в ближайшее десятилетие. Вероятно, это будет пошаговый процесс, ключевым из аспектов которого станет безопасность системы. Она может быть обеспечена посредством постоянного мониторинга состояния компонентов системы, анализа данных, а также принятия решений о мерах безопасности. Отсюда следует, что перспективные разработки на данный момент целесообразнее вести в следующих направлениях:

- создание приборов сбора данных за состоянием компонентов системы (цифровое оборудование);
- безопасная среда хранения и передача данных от компонента к анализирующему устройству (например, системы распределенных реестров);
- интеллектуальный компонент системы (ИИ).

Если эти задачи будут решены к 2030 г., то в дальнейшем произойдет качественный скачок в развитии искусственного интеллекта — персонализация, то есть искусственный интеллект начнет анализировать информацию исходя из потребностей конкретного пользователя и предлагать решения — от схемы проезда до решения жизненно важных задач. Особенное значения персональный ИИ примет в военных разработках для решения

12 мая. URL: <https://www.forbes.ru/kompanii/344031-iskusstvo-intellekta-kitay-stavit-na-mirovoe-gospodstvo-na-rynke-iskusstvennogo> (дата обращения: 05.10.2019).

боевых задач, однако будет пользоваться успехом и у рядовых граждан.

Вторая волна цифровизации завершится примерно к 2050 г. усовершенствованными системами персонального искусственного интеллекта, а также полноправным участием ИИ в системе принятия политических, корпоративных, управленческих и иных решений. Надо полагать, что преодоление неопределенности будет играть ключевую роль в сфере информационно-коммуникационных технологий на любом этапе своего развития.

Литература

- Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. М.: КомКнига, 2006.
- Гарипов И. М., Гафарова Я. К., Герасимов В. В. Сравнение концепций Web: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 // Студенческий научный журнал. 2018. Вып. 16(36). Ч. 1. С. 28–30.
- Диев В. С. Риск и неопределенность в философии, науке, управлении // Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология. 2011. № 2(14). С. 79–89.
- Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. Харьков: Изд-во Института прикладной психологии «Гуманитарный Центр», 2005.
- Корнилова Т. В. Принцип неопределенности в психологии выбора и риска // Психологические исследования. 2015. Т. 8. № 40. URL: <http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1111> (дата обращения: 05.10.2019).
- Теория бифуркаций / В. И. Арнольд, В. С. Афраимович, Ю. С. Ильяшенко, Л. П. Шильников. М.: ВИНТИ, 1986.
- Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.
- Эшби У. Росс. Введение в кибернетику. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959.
- Ялом И. Д. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 1999.
- Buhr K., Dugas M. J. The Intolerance of Uncertainty Scale: Psychometric Properties of the English Version // Behaviour research and Therapy. 2002. Vol. 40 (8). P. 931–945.
- De Beauvoir S. The Ethics of Ambiguity // Marxists Internet Archive. URL: <https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/ambiguity/index.htm>,
- Garling T., Biel A., Gustafsson M. Different Kinds and Roles of Environmental Uncertainty // Journal of Environmental Psychology. 1998. Vol. 18. P. 75–83.

- Greco V., Roger D.* Coping with uncertainty: The construction and validation of a new measure // *Personality and Individual Differences*. 2001. Vol. 31. P. 519–534.
- Grenier S., Barrette A. M., Ladouceur R.* Intolerance of uncertainty and intolerance of ambiguity: Similarities and differences // *Personality and Individual Differences*. 2005. Vol. 39. P. 593–600.
- Ladouceur R., Gosselin R., Dugas M. J.* Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry // *Behavior research and Therapy*. 2000. Vol. 38 (9). P. 933–941.

РАЗДЕЛ II

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛОВ В ПОЛЕ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

А. М. Соколов

СПбГУ

Н. В. Кузнецов

СПбГУ

Евразийский нарратив в смысловом поле глобализации

Статья посвящена проблеме актуализации устойчивого смыслового горизонта, определяющего продуктивность цивилизационного процесса современной России в условиях смены технологического уклада. Авторы отмечают, с одной стороны, идейную сопричастность русско-российской социокультурной системы принципам западноевропейского сообщества. Экономическое, политическое, интеллектуально-духовное содержание общественного уклада в России, начиная с XVII века, разворачивалось в идейном поле буржуазного гуманизма. С другой стороны, эта тенденция регулярно вступала в противоречие с самобытными началами русско-российской цивилизации. Авторы считают, что в настоящее время глобальных интеграционных трансформаций и смены технологического уклада проблема цивилизационного самоопределения своей актуальностью требует очередного прояснения смыслового поля социокультурного строительства. Авторы обосновывают тезис, согласно которому цивилизационный нарратив развития России предпослан спецификой освоения евразийского пространства. Данный нарратив структурирует цивилизационную деятельность в продолжении всей исторической перспективы России. В связи с этим авторы актуализируют интеллектуальные интуиции Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Р. О. Якобсона применительно к состоянию современного мира.

Ключевые слова: глобализация, смена технологического цикла, смысловой горизонт цивилизации, евразийство, буржуазный гуманизм, цивилизационный нарратив.

Наше общество сегодня находится в состоянии цивилизационного выбора, который осуществляется не за неделю, не за месяц и даже не за год. Порой на его определение уходят долгие годы. Трудности, вызванные принятием исторического решения, могут создать впечатление о нехватке в обществе позитивного мировоззрения. Настоящая национальная идея никогда не появляется вследствие академических поисков философски подготовленных интеллектуалов. Национальная идея — это произведение самосо-

знания народа, объединенного совместной хозяйственной, политической, духовной деятельностью. Высшая степень ее выражения состоит в нахождении устойчивых смысловых констант, определяющих ориентацию и специфику цивилизационного пути. Наша нынешняя идеология не совершенна. Точнее — она не завершена. Но это говорит не столько об ее отсутствии или слабости, сколько о ее развитии, наполняемости новым содержанием, которое со временем обретет более определенные очертания. Если бы мы не имели национальной идеологии, то вряд ли смогли бы противостоять нашим геополитическим конкурентам, которые и в экономическом, и в военном отношении сегодня сильнее России.

Кризис национальной идеологии теснейшим образом связан с отсутствием категориально-понятийной внятности в нашей политической и экономической риториках. Но ее наличие в то же время свидетельствует в пользу смены духовно-интеллектуальной парадигмы в современном мире. Для того чтобы оформился западный, буржуазный стиль мышления, а стало быть — буржуазная идеология, потребовалось, по меньшей мере 400 лет. И, чтобы преодолеть его цивилизационный нарратив, необходимы колоссальные духовные усилия, наверное, не одного поколения людей. Те же 400 лет Россия находится в поле духовного притяжения буржуазного Запада. При этом ни одна из многочисленных попыток ее интеграции не имела успеха.

Русский ученый и философ Н. С. Трубецкой в небольшой работе «Европа и человечество» почти сто лет назад поставил вопрос, актуальность которого стала гораздо более очевидной в эпоху глобализации. «Возможно ли полное приобщение какого-нибудь народа к культуре, созданной другим народом»? Важное значение имеет уточнение, которым мыслитель предварял ответ на него. Так, под полным приобщением он разумел «такое усвоение культуры чужого народа, после которого эта культура для заимствующего народа становится, как бы своею, и продолжает развиваться в этом народе совершенно параллельно с ее развитием у того народа, от которого она позаимствована, так что оба — создатель культуры и заимствователь — сливаются в одно культурное целое» [Трубецкой, 1995, с. 82].

Обращаясь к результатам исследований, проведенных Габриелем Тардом, одним из основателей французской социологии,

Трубецкой рассуждал следующим образом: «Жизнь и развитие всякой культуры состоит из непрерывного возникновения новых культурных ценностей (открытий. — А. С.). <...> Раз возникнув, открытие распространяется среди других людей <...> открытие является всегда навеянным предшествующими открытиями или, лучше сказать, уже существующими культурными ценностями <...> это делает совершенно необходимой теснейшую связь новых открытий с уже существующим общим запасом культурных ценностей» [Трубецкой, 1995, с. 83–84].

Сопоставляя цивилизационные статусы заимствующей и оригинальной культур, Трубецкой приходил к выводу, что общая сумма возможных в данный момент изобретений зависит от общей совокупности культурных ценностей, имеющихся налицо у данного народа. В силу же того, что в отношении запаса культурных ценностей между сопоставляемыми народами «никогда не будет полного тождества, то ясно, что и сумма возможных открытий у обоих народов никогда не будет одинакова: иначе говоря, направление развития культуры у народа, создавшего ее, и у народа, позаимствовавшего ее, будет различно». То есть, «полное приобщение целого народа к культуре, созданной другим народом, — дело невозможное» [Трубецкой, 1995, с. 87].

Более того: народ, заимствующий культуру, всегда будет находиться в роли догоняющего, а потому — презираемого, во-первых, «народом-гегемоном», а во-вторых — своей собственной элитой, которая обычно выступает агентом цивилизации. Судьба такого народа плачевна. При низком творческом потенциале он очень скоро будет либо ассимилирован, как пруссаки, либо ему будет отведена служебно-вассальная роль, как некоторым народам современной Восточной Европы.

Примечательно и то, что Н. С. Трубецкой сделал акцент на смешении в сознании европейцев, казалось бы, взаимоисключающих понятий: космополитизм и шовинизм. Так, в указанной работе читаем: «Шовинист исходит из того априорного положения, что лучшим народом в мире является именно его народ. Культура, созданная его народом, лучше, совершеннее всех остальных культур. Его народу одному принадлежит право первенствовать и господствовать над другими народами, которые должны подчиниться ему, приняв его веру, язык и культуру и слиться с ним.

Все, что стоит на пути к этому конечному торжеству великого народа, должно быть сметено силой» [Трубецкой, 1995, с. 57]. Космополит же «отрицает различия между национальностями. Если такие различия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество должно быть едино и иметь единую культуру. Нецивилизованные народы должны принять эту культуру, общиться к ней и, войдя в семью цивилизованных народов, идти с ними вместе по одному пути мирового прогресса. Цивилизация есть высшее благо, во имя которого надо жертвовать национальными особенностями» [Трубецкой, 1995, с. 56]. Можно подумать, что здесь мы имеем дело с элементарной фиксацией полярных мировоззренческих установок, вполне способных сосуществовать в пределах одной культурной системы, оттеняя друг друга, производя напряжением внутреннего противоборства множество промежуточных точек зрения.

Тем не менее речь идет о том, что правильно было бы назвать «европоцентрическим парадоксом». Ведь в цивилизации как первые, так и вторые видят ту культуру, «которую в совместной работе выработали романские и германские народы Европы». Шовинисты вместе с космополитами считают цивилизованными народами преимущественно «романцев и германцев», а только потом — и прочие, которые приняли европейскую культуру. Трубецкой справедливо указывает на относительность лингвистических, антропологических и этнографических отличий каждого из европейских народов. В его понимании гораздо более значима, лучше сказать «существенна» «общность истории, создавшая некий общий для всех них запас культурных ценностей» [Трубецкой, 1995, с. 58]. По всей видимости, именно этим обстоятельством объясняется та относительная легкость, с которой религиозные основания общеевропейского устройства трансформировались в идею национально-политического суверенитета.

Путаница, или лучше сказать, смешение понятий — явление отнюдь не случайное и, по-видимому, в самом деле в значительной степени не воспринимаемое западным сознанием. Объясняется это гипнотическим воздействием слов (Н. Трубецкой), ставшим возможным в силу той же самодостаточности эгоцентрического рационализма, реконструирующего понятия по собственным меркам. Ключевые для западного сознания понятия «челове-

ство», «общечеловеческий», «цивилизация», «мировой прогресс» были наполнены содержанием, точная идентификация которого не проведена до сих пор. Примечательно, что уже Декарт испытывал затруднение, определяя, что такое человек. Вместе с тем эти понятия выполняют структурообразующую функцию при разработке и реализации политических, экономических и прочих цивилизационных практик. Более того, практический критерий истины, принятый в качестве наиболее надежного аргумента в горизонте самосознания современности, оказывается зачастую тем менее убедительным, чем больше времени отделяют моменты свершения того или иного проекта и оценки его продуктивности. Опыт последних десятилетий наглядно продемонстрировала неоправданность большинства ожиданий западных аналитиков.

В связи с доминированием в современной науке практического критерия вновь приходится вспомнить об одном из коренных отличий, противопоставившем западную цивилизацию традиционной культуре — преобладании действия над знанием. Вторичность знания свидетельствует о том, что оно не выступает основанием действий, то есть не является безусловным основанием осуществления деятельности. Более того, само знание постоянно находится в состоянии обновления, в то время как деятельность по своей сути является перманентной трансформацией. Лишение знания исключительного, священного статуса предполагает принципиальное отрицание наличия чего-либо безусловного, то есть не подлежащего изменению ни при каких обстоятельствах.

Практический критерий по большому счету свидетельствует об устранении знания не просто как специфического феномена культуры, но и самодостаточного способа деятельности. Оно фактически составляет часть хозяйственной, экономической деятельности. Последняя в данном случае понимается в узком смысле как деятельность преобразовательная. Практика утверждается не только в качестве критерия истинности, но и целеполагающего критерия. Отсюда вполне закономерно проистекает то, что именно осуществляемые или предполагаемые действия в конечном счете определяют содержание тех понятий, под прикрытием которых они становятся действительностью. Следовательно, факты понятийной неопределенности в западной науке являются не результатом случайной оплошности или временным несовер-

шенством, а принципиальным условием ее реализации. Такова природа происхождения политики двойных стандартов, которая, кстати сказать, генетически связана и со средневековой концепцией «двойной истины». И это относится не только к гуманитарному знанию, как обычно представляют методологи науки, а ко всей современной учености.

Итак, знание и действие синтезировали исключительно западный тип отношения к реальности — преобразовательную активность человека. Сейчас она почти повсеместно в той или иной степени задает параметры существования человеческого сообщества. Политико-правовая организация как доминирующая стратегия, направленная на создание национально-государственных образований, идейно получает подпитку через пропаганду гуманизма и общечеловеческих ценностей, свободу и самоопределение. В связи с этим Николай Трубецкой в уже упомянутой статье показал, что «общечеловеческая цивилизация» — это западная цивилизация, человек — это представитель западной цивилизации. Следовательно, политико-правовой режим, настойчиво предлагаемый незападным народам и стимулирующий их национально-государственное строительство, на самом деле есть не что иное, как внедрение западных идеалов в иные цивилизационные пространства. «Передавая иноплеменным народам те произведения своей материальной культуры, которые больше всего можно назвать универсальными (предметы военного снаряжения и механические приспособления для передвижения) — романо-германцы вместе с ними подсовывают и свои “универсальные” идеи и подносят их именно в такой форме, с тщательным замыслом этнографической сущности этих идей», — писал Трубецкой [Трубецкой, 1995, с. 64].

Начало XX столетия стало очередным узловым моментов мировой истории. Темп ее движения все ускорялся. Национально-индустриальный капитализм перерастал в финансово-космополитический империализм. Революционный взрыв, эпицентр которого совершенно закономерно оказался в России, был в конечном счете результатом столкновения несовместимых смысловых систем. Именно в России неизбежность необозримого пространства, существующего в непоколебимой логике космической архаики, оказалось невосприимчивой к изощренной хитрости

буржуазного произвола. *Онтологика* неисчисляемого изобилия отторгла утилитарную рациональность накопления. Вероятно, этим можно объяснить то, что классовая риторика русских марксистов легко переформатировалась в нарратив национально-культурного строительства. В связи с этим следует особо подчеркнуть и то, что пролетарский интернационал в России истолковывался как важнейшее условие укрепления национальной самобытности в противоборстве с монолитным космополтизмом мирового капитала. Поэтому во многом оправдана современная оценка сталинского понимания национального вопроса, ставшего одним из принципов советского государственного строительства. Прагматика советского марксизма последовательно и закономерно эволюционировала в направлении национально-государственной самодостаточности, где ортодоксальное понимание нации как «надстроечного» элемента, трансформировалось в учение о ненадстроечном характере национального языка и национального духа.

Замечательна оценка политического руководства Советской России 20–30-х годов прошлого столетия, сделанная П. Н. Савицким — товарищем и единомышленником Н. С. Трубецкого. Он писал, что большевики-коммунисты «не остались нечувствительными к потребностям русской действительности», и «это позволило русскому народу использовать их как орудие для спасения русской территории и воссоздания русской государственности» [Савицкий, 1997, с. 16–17]. По убеждению Савицкого, не кто иной, как русский народ, «заставил большевиков-коммунистов помимо их воли и сознания осуществлять многое, для его будущего чрезвычайно важное».

Полемическая нацеленность работ евразийцев совершенно естественно склоняла их к предположениям, что в России многое свершается «помимо воли» правящей элиты. Правящая элита тем и отличается от контрэлиты, что не только точно улавливает исторические настроения эпохи, но и воспроизводит фундаментальные модели социокультурной организации народа, обусловленные объективными факторами его развития. Савицкий сам признает следующее: «В пользу советской системы говорит и то, что она, несомненно, “привилась”; выросши из народных потребностей, она принята народом <...>» [Савицкий, 1997, с. 63].

Очевидно, что русский ученый, идеолог и вдохновитель евразийского движения был восхищен успехами новой России. И только политической ангажированностью можно объяснить некоторые его отчасти поэтические и потому не вполне справедливые утверждения. Например, он писал: «Удивляет и объясняется только исключительной государственной мудростью русского народа то, с какой быстротой и как верно намечены основные формы его политического бытия. Мы приписываем это именно народной стихии, а не коммунистам, которые были лишь удобными орудиями и, в общем, послушными исполнителями». По крайней мере несправедливо связывать достижения новой России только с народной мудростью. Можно вспомнить Константина Леонтьева, настаивавшего на беспомощности народной стихии, лишенной высокой идеи. Другое дело, что любая, даже радикально обновленная, идея только в том случае принимается народом, если она соответствует его коренным интересам. Именно поэтому «почти во всех отраслях государственной жизни приходится исходить из того, что уже создано, и создано, по существу, хорошо, а не плохо, почему и нуждается не в разрушении, но только в развитии и поправках <...>» [Савицкий, 1997, с. 64].

В продолжение вышеизложенного наш современник Александр Панарин не так давно говорил, что в 30-е годы советским руководством была взята на вооружение «российская патриархальная архаика». А «ускоренные модернизация, индустриализация и урбанизация» «удались только потому, что в русском обществе, в русском народе еще живы были традиции массовой жертвенности, этики государева служения, соборного единства» [Панарин, 2003]. Более того, не без основания А.С. Панарин считал, что основной причиной «насилия над крестьянством» было стремление перенести «пласты самодостаточной общинной культуры из деревни в город, где она становилась субстратом социалистической промышленности» [Панарин, 2003].

И все же надлежит разграничивать теоретические прозрения одних и практическую отвагу других. Последовательное претворение в жизнь намеченных замыслов означает не только более или менее успешные испытания новаторских решений, но и ошибки, провалы, поражения. Любое изменение, направленное вовне, изменяет и самого человека, в его индивидуальной и социальной

ипостасях бытия. Никогда ничего нельзя предугадать полностью. Поэтому не может быть ни теоретических, ни тем более идеологических постулатов деятельности в мире, который априорно-аксиоматически понимается как принципиально развивающийся, то есть изменяемый человеком. Нынешний «мир» именно таков. Он должен вобрать в себя какое-то количество времени, погрузившись в которое энергетические потоки, находившиеся ранее в диссонансе, неизбежно синхронизируются под воздействием глубинного течения истории. Не только сегодня, но и всегда знание, чтобы избежать скептицизма, должно стремиться не столько к усмотрению различий, сколько к усмотрению в них единства, родства. В конце концов, именно в этом состоит пафос и смысл философии.

Принято считать, что евразийский взгляд, охвативший глубины и горизонты русско-российской цивилизации, ее исток и открывающуюся перспективу, в практической плоскости имел лишь зачаточные корреляции, не получившие своего развития, как по объективным, так и по субъективным причинам. Хотя, бывает ли в истории что-то субъективное? Правильно ли считать евразийство учением? И, может быть, в самом деле оно уже перешло в фазу интеллектуально-эстетического реликта? Положительный ответ на данный вопрос вряд ли будет уместен. Ведь тогда ответчику надо будет как-то разобраться с наличием самой Евразии, во всяком случае в формате того политического и социокультурного единства, которым она все отчетливее предстает с конца XVI века.

Евразийство — это интеллектуальная матрица, прагматический нарратив, продиктованный пространственно-временной целостностью континентального происхождения и космического (в смысле самодовлеющего) масштаба. Она находится в ожидании расширенного истолкования и полноценного осуществления. Это своего рода начальная фаза стадии свершения восточнославянского, российского, или точнее, евразийского культурно-исторического типа. Начиная с девятого века, со времен вхождения восточно-славянских, угро-финнских и тюркских племен в режим исторического существования, происходило сугубо внутреннее, глубинное, едва уловимое вызревание народного духа. По мысли Н. Я. Данилевского, народ отрешался от того, что подлежит отмене или изменению. Борьба происходила внутри народного сознания. Шел процесс внутреннего перерождения, который совершался не

просто в душе отдельного человека, а в соборном сочетании становящегося национального самосознания, вступающего в исторически самостоятельную фазу осуществления.

Концептуальное постижение цивилизационно-мировоззренческой доминанты требует не просто длительного времени. Оно предполагает в качестве необходимого условия эффективности деятельно-волевого соучастия всего народа: и руководящей элиты, осознающей объективный смысл проводимых свершений, и широких слоев населения, безусловно им сочувствующих и интуитивно в них признающих выношенную ими идею. Применительно к России это значит, что идея Евразии не могла и не может мыслиться отдельными умами. Идея вообще не может мыслиться частным образом. Только в глубоком внутренней духовно-организмической интеграции со-чувствия, со-знания, со-действия открывается подлинное содержание идеи, а не искусительная прелесть фантазии. Подобная интеграция складывается в многоплановом интенсивном взаимодействии людей — их взаимной деятельности, собственно и превращающей их в людей через обретение общего языка, общей памяти, сходных религиозно-нравственных ориентиров, согласного понимания смысла своего совместного присутствия в мире.

И здесь перед нами встает главный вопрос: что индуцирует совместную деятельность людей, превращающую их в единую общность? Классический для западноевропейского знания ответ — язык. Язык как феноменологизация мысли, как универсальное выражение тотальности деятельности людей составляет исток человеческого бытия. И с этим трудно спорить. Новоевропейская теория «общественного договора» заявила о своих онтологических амбициях. Для Гоббса, Локка, Руссо только состояние гражданского союза представляло собой подлинное человеческое состояние — состояние настоящего мира, а не варварской дикости. Но, пожалуй, Дж. Вико наиболее точно выразил мысль о совершенной и определяющей роли языка как тотально интегрирующей деятельности человека. При этом интересно и важно то, что, опровергая картезианское отрицание истории как науки, неаполитанский филолог и юрист произвел фактическое расширение поля научного знания в его гуманитарной вариации. История, понятая как история языка и далее как история мысли, развернула свое

образную генеалогию мира (цивилизации), утвердив в качестве ее стержневого элемента дискурсивные практики.

«Принимать в качестве достоверного только то, что представляется ясно и отчетливо *моему уму*» — таково первое правило метода Декарта. «Располагать свои мысли в определенном порядке, восходя от более простых предметов к более сложным, *допуская существование порядка* даже среди тех, которые в *естественном ходе вещей не предшествуют друг другу*» (курсив наш. — А. С.) — третье правило метода Декарта. Данные установки исчерпывающе характеризуют специфику новоевропейского мировоззрения, в горизонте которого распространилась буржуазная цивилизация. Мощь прагматического рационализма приобрела в буквальном смысле глобальный масштаб. Его господство не только раскрыло политическую поверхность планеты, но и стало претендовать на перекройку глубинных структур мироздания. Своего рода гражданский императив буржуазии прекрасно сформулировал Гегель: «Лицо имеет право вкладывать свою волю в каждую вещь, которая, благодаря этому, есть моя, получает мою волю как свою субстанциальную цель, — ведь в себе самой она не имеет такой цели, — как свое определение и свою душу; это — абсолютное право человека на присвоение всех вещей» [Гегель, 1990, с. 103]. Тем самым «лицо» вкладывает в вещь «другую цель», вместо той, «которую она непосредственно имела»; оно же «дает живому существу» (животному) как своей «собственности другую душу», вместо той, которою оно «обладало раньше» [Гегель, 1990, с. 104].

Отсюда понятен технологический пафос западной цивилизации. И ее влияние на остальной мир выразилось не только в политическом господстве и экономической и эксплуатации, как во времена Римской империи. Запад запустил процесс переформатирования смысловой самобытности «не-западных» социокультурных образований. Применительно к Ближнему Востоку Эдвард В. Саид назвал такую практику «ориентализмом», при помощи которой «европейская культура могла управлять Востоком — даже *производить его*» (курсив наш. — А. С.) — политически, социологически, идеологически, военным и научным образом и даже имажинативно в период после эпохи Просвещения» [Саид, 2006, с. 10]. В результате Восток становится скорее частью Запада, чем остается самим собой.

Возвращаясь к вопросу об «индуцировании совместной деятельности людей», претворяющей без-образие бытия в совершенство мира, отметим, что евразийцы формально как бы следуют в русле классической культурософии, признавая первостепенную роль языка. Однако язык в понимании Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона, П.Н. Савицкого, помимо собственно социальной среды, захватывает и естество, природу, видя в ней не просто неотъемлемый элемент мира людей, но элемент, «предполагающий» со-ответствующее, к себе отношение — такое, которое позволило бы этому элементу осуществиться во всей своей космической полноте.

Поэтому в россиеведении Н.С. Трубецкой и его единомышленники, следуя за Н.Я. Данилевским, В.В. Докучаевым, В.И. Ламанским, Д.И. Менделеевым, выдвигали методологический императив, существенно отличавшийся от общепринятого в классической новоевропейской науке. Объект познания не должен предполагаться, задаваться или проектироваться мыслью в соответствии с уже имеющимися общетеоретическими представлениями. Напротив, следует исходить из того, что объект реально предшествует его изучению. Применительно к Евразийской России это означало необходимость выявления родства социокультурных связей, сопряженного с единообразием естественного пространства. Такое родство характеризуется наибольшей устойчивостью, поскольку проистекает из наиболее фундаментальной целостности природы: ландшафта, климата. Именно оно на социокультурном уровне осуществляется в виде нации. Структурное же выражение родственных отношений может быть представлено как национальная традиция.

Понятие «национальная традиция» позволяет раскрыть внутреннюю связь между природным и духовным содержанием социального организма. Под традицией в строгом смысле следует понимать передаваемое знание, предмет которого мыслится неизменным и потому составляет стержень соответствующего социокультурного образования. Вокруг него выстраиваются все прочие бытовые, нравственные, религиозные, эстетические проявления жизненного уклада. Этот стержень полагает общий порядок социальных, политических, экономических, духовных отношений, задавая ценностно-смысловое содержание всем социальным институтам данного общества. Понятие же национальной традиции

определяется не просто набором или даже системой множества элементов. Оно обосновывается строгой структурной увязкой, укорененной в естественной среде пребывания народа. Причем, несмотря на расовые, языковые и даже религиозные различия общностей, в него входящих, эта естественная увязка обеспечивает их национальную целостность.

Стержень традиции, хотя и мыслится как константный, объективно все время претерпевает те или иные изменения. Естественным образом он только предзадан, а реальная его актуализация выступает в виде человеческой деятельности, в самом широком смысле этого слова. Евразийский взгляд на сущность культуры открывает ее «константность» в природной, ландшафтно-климатической, предпосланности, необходимо предполагая характер и содержание продуктивной деятельности, которая выступает процессом объективизации идеального. Такое идеальное оформляется в виде цели, осознаваемой субъектом, созидающим данную культуру. Чем более цель и специфика деятельности согласуются с законами и обстоятельствами объективной реальности, тем деятельность плодотворнее, тем разнообразнее и устойчивее ее результаты. Именно степень осознания субъектом своей цели свидетельствует о степени его зрелости и жизнеспособности.

В мировой истории известно множество социальных субъектов. В разные эпохи пробуждались то сословные, то классовые, то еще какие-нибудь типы общностей, объединяемые каждый на своих основаниях (расовых, религиозных, нравственных, экономических). XIX век открыл эпоху нации. И евразийцы сформулировали оригинальный принцип понимания ее сущности, отличный от того, который был принят на Западе. Он восходит к известному афоризму Владимира Соловьева: «Идея нации есть не то, что сама нация думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности» [Соловьев, 1989, с. 220]. В евразийском контексте это означало радикальный разрыв с романо-германским эгоцентризмом. Для Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, их единомышленников было очевидно, что постижение идеи нации осуществимо не только с позиций настоящего и субъективного, но и с позиций вечного и объективного. Природный же фактор в измерении человеческого существования вполне может быть принят как безусловное и даже абсолютное основание. В пони-

мании Н. С. Трубецкого «природное» вообще следует расценивать как данное Богом.

Постижение «безусловного основания» у евразийцев не рассматривалось как нечто ценное само по себе. Это основание представляет интерес постольку, поскольку соотносится с «психическим типом» субъекта, претворяющего стихию природы в космос культуры. В конечном счете их интересовали истоки такой мотивации, которая способствует осуществлению плодотворной деятельности, соответствующей тому объекту, на который она направлена. Можно, пожалуй, говорить о стремлении обнаружить внутреннюю связь между душевным строем человеческого микрокосмоса и системой природного макрокосмоса. Неслучайно современный специалист Патрик Серио уловил в учении евразийцев влияние натурфилософских идей немецких романтиков [Серио, 2001].

Вполне закономерно учение евразийцев приобрело многоуровневую структуру. Первый, природно-географический, уровень играет роль метафизической предпосылки, которая несет в себе, выражаясь языком Аристотеля, и материальную, и формальную причины. Здесь нет места «чистой возможности». Сама возможность строго структурирована. В любом искусственном образовании происходит феноменализация — проявление метафизического «подлежащего». Природа — «подлежащее» особogo рода. Сама по себе она только пребывает. Сама по себе она не действительна. В этом смысле она пассивна. Действительной природа оказывается благодаря творческой активности людей, которые, будучи причастными природе, способны «извлекать» из нее формальную определенность. И в этом смысле допустимо говорить о природе как активном начале, так как именно она инициирует в людях способность действовать строго определенным образом. Без людей природа мертва. Люди, отрывающиеся от природы, не вменяемы.

Савицкий назвал этот принцип «единством мироздания», который, по его убеждению, имеет «и религиозный, и позитивно-научный», то есть «имманентный», смысл. Называя себя сторонником «научного монизма», Савицкий декларировал: «Современной наукой в материи вскрываются предопределения и смыслы, и смысл выступает из глубины материи» [Савицкий,

1997, с. 135]. И чуть ниже он заключал: «В этом порядке мыслей человеческое оказывается в сопряжении с природным, и природное — в сближении с человеческим» [Савицкий, 1997, с. 136]. Упорядоченность природы есть свидетельство присутствия в ней духа, «верховного закона», которому, наряду с прочим сущим, надлежит следовать и человеку. Правда, при этом важнейшее предназначение остается за творческим началом человека, превращающим естественный материал в структурные элементы исторической реальности.

Выявляя «генетические вековечные связи» между растительными, животными и минеральными царствами, с одной стороны, человеком, его бытом и даже духовным миром — с другой, Савицкий, как известно, применил понятие «месторазвитие». Поясняя его, он писал: «Взаимное приспособление живых существ друг к другу... в тесной связи с внешними географическими условиями, создает... свой порядок, свою гармонию, свою устойчивость...» «Такое широкое общежитие живых существ, взаимно приспособленных друг к другу и к окружающей среде» и ее к себе приспособивших, понимается нами под выдвигаемой в этих строках категорией “месторазвития”» [Савицкий, 1997, с. 284]. На первый взгляд, может показаться, что мысль евразийца движется в русле географического детерминизма. Особенно это чувствуется в следующих словах: «Социально-историческая среда и ее территория должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт».

Некоторая терминологическая категоричность объясняется стремлением выявить онтологический смысл Евразии, ее субстанциональную целостность, раскрывающуюся через феноменальное многообразие: «Россия-Евразия есть “месторазвитие”, “единое целое”, “географический индивидуум” — одновременно географический, этнический, хозяйственный, исторический и т.д. и т.п. “ландшафт”...» [Савицкий, 1997, с. 284]. Речь идет о таком многообразии, которое раскрывается в порядке разноплановых соответствий. Подхватывая идею Савицкого, Роман Якобсон в 1931 г. писал: «С каждым годом все нагляднее обнаруживается соотношение, тесная закономерная связь между явлениями различных сфер. <...> Явления могут быть сопряжены хронологически либо территориально». При этом соответствия должны признаваться не

на феноменально-формальном уровне случайных соответствий, а через уяснение «самозаконности» каждой из сопрягаемых сфер. В силу того, что «соотнесенности не найти без предварительного имманентного рассмотрения отдельной сферы», подлежит изучению каждая сфера в структуральном многообразии ее конкретных проявлений...». И далее: «Многообразие одной сферы не может быть механически выделено из многообразия другой; здесь нет однозначного соотношения надстроек и базы. Задача науки — уловить сопряженность разноплановых явлений, вскрыть в этой междупланной связанности закономерный строй» (цит. по: [Серио, 2001, с. 234]).

Другими словами, нельзя упускать из виду то, что «исторический» или «хозяйственный» элементы не дополняют ландшафтный облик «месторазвития», а специфически выражают его содержание. В конечном счете исток искомых соответствий лежит в человеческой природе. В том-то и состоит суть творческого со-участия человека, чтобы раскрывать подлинный смысл своей ойкумены. Вот почему, «не зная свойств территории, совершенно немислимо хоть сколько-нибудь понять особенностей и “образа жизни” социально-исторической среды». С другой стороны, «образ жизни» той или иной общности людей — это завершающий этап актуализации мира в виде символических объективаций.

Необходимо отметить еще одну очень важную деталь в евразийской картине мира. Савицкий ее формулировал как проблему соотношения генетического и географического факторов в истории культуры. Исследуя данную проблему, сравнивая образ жизни родственных племен, живущих в разных ареалах, и образ жизни генетически несвязанных, но в разное время осваивавших одно и то же пространство племен, он пришел к выводу о преобладании начала «месторазвития» «над началом “генетической близости”» [Савицкий, 1997, с. 285]; притом, что речь идет не столько о приоритете географического фактора, сколько о структурообразующей функции «месторазвития» в культуругенезе. «Месторазвитие» же, еще раз не лишнем будет упомянуть, оформляется при непосредственном соучастии человека.

Итак, идея «стяжения воедино географических и исторических начал» лежит в основании геософской методологии евразийцев.

Ее суть «подразумевает наложение на сетку географических признаков сеток признаков исторических, которыми характеризуется Россия-Евразия как особый исторический мир» [Савицкий, 1997, с. 289]. Цель ее — в установлении и анализе параллелей между чертами духовно-психического уклада, отличий государственного строя, особенностей хозяйственного быта, с одной стороны, и географических параметров — с другой.

Понятно, что расовые, психические особенности народов, созидающих каждый свою культуру, как правило, сильно отличаются. Понятно, что и религиозные, и политические их представления вряд ли будут идентичными. Но, если эти народы занимают территорию со схожими географическими условиями, то во всех или почти во всех соответствующих элементах жизнеустройства можно обнаружить фундаментальные сродственности, составляющие структурный стержень каждого из них. Вместе с тем «сторона явлений, рассматриваемая в понятии “месторазвития”, есть одна из сторон, а не единственная их сторона» [Савицкий, 1997, с. 293]. И, стало быть, предлагаемую геософскую концепцию правильнее рассматривать в качестве одной из возможных концепций сущего, а не как единственную. Собственно, и сам Савицкий, и тем более Трубецкой, Якобсон, Алексеев согласовывали исторические, политические, экономические, лингвистические построения с геософским принципом, но всякий раз выделяли самобытное, ни к чему иному не сводимое духовное начало жизни [Савицкий, 1997, с. 293].

Таким образом, за стремление обнаружить в пространстве человеческого бытия по возможности наибольшее число подобных элементов была принята установка на отыскание общего в разнообразии, на усмотрение Единого во Многом, на выявление архетипического начала, или Сущности. По-видимому, подобная установка есть вторичное проявление общего духовного настроя, характерного для данного народного самосознания. Она идеально, теоретически, воспроизводит осуществившееся и осуществляющееся отношение народа к обустроенной природной стихии.

«Теоретический разум» способен продвигаться вслед за «практическим», усматривая родство там, где оно ранее установлено в ходе освоения человеком «дикого поля». Неслучайно евра-

зийцы отождествляют Евразию и Россию. Что такое Евразия, если не Россия, шаг за шагом открываемая ее народом. Вряд ли сумели бы наши землепроходцы Ермак, Хабаров, Дежнев и др. не только проникнуть в самые отдаленные уголки материка, но и удержать их за Россией, если бы не чувствовали, не понимали, что находятся у себя дома. «Материк Евразия имеет свою многотысячную историю, и в то же время материк этот есть нечто творимое. Русский народ создает Евразию», — писал Савицкий в письме Якобсону (цит по: [Серио, 2001, с. 248]).

«Евразийцы зачарованы гигантским миропорядком, порядком целостностей, они не допускают ни беспорядка, ни нехватки, ни неполноты. Они стремятся расшифровать знаки природы и культуры. Они ищут — по ту сторону видимого — невидимую сторону реального» [Серио, 2001, с. 249]. Пожалуй, следовало бы сказать не «невидимую», а «неявную» сторону реального, которая все-таки видима, но не всегда уловима в своей целостности.

Так, интерес евразийцев к лингвистике более чем символичен. Дело не только в причастности евразийцев через нее к структурализму. Язык является наивысшей формой выражения сущности человеческой деятельности. Ведь даже характер мышления мы оцениваем по языковым объективациям. Если же исходить из того, что деятельность — это вообще единственный источник действительного мира, то язык содержит в себе всю его структурную полноту. Лингвистика, таким образом, может быть представлена как опытное поле, на котором отслеживаются всевозможные системобразующие отношения. Савицкий, хотя и не был лингвистом, но, предприняв сравнение диалектических изоглосс русского языка и изотерм климата, констатировал сильную корреляцию с границами их распространения. На основании данных экономической географии и лингвистики он провел «демаркационную линию», разделяющую по диагонали северо-запад/юго-восток. Линия рассекла зоны, резко различающиеся между собой в экономическом (тип крестьянского хозяйства), климатическом и лингвистическом отношениях.

Как известно, еще славянофилы отмечали «эфемерность» частного лица. Владимир Соловьев, несмотря на увлеченность паневропейским универсализмом, утверждал, что «отдельный человек есть полнейшая абстракция». Трубецкой же увязывал европейский

индивидуализм со спецификой ландшафта, выражавшейся в естественной локализации отдельных территорий. К этому вполне можно добавить и фактор социально-исторического порядка. Европейский индивидуализм развился благодаря ограниченности естественных ресурсов. Изначальная невозможность обеспечить достаток из наличного окружения способствовала укреплению такой добродетели, как частная инициатива, оформившаяся со временем в идею гражданского общества, охраняемого правовым государством. Отсюда неудивительна неприязнь европейцев к идее превалирования общего над частным.

В перспективе русского самосознания тема человечности с самого начала опиралась на идею соборности. Поэтому все содержание антропологического горизонта раскрывается в виде социализированной реальности. Мышление утверждается как со-знание, участие — как со-участие, действие — как со-действие. Выше приводились слова Савицкого о том, что «русский народ создает Евразию». В этих словах суть русского гуманизма, который распространяется гораздо дальше частных интересов, индивидуальных, групповых. Его характер имеет космический масштаб, при котором не мир существует для благополучия человека, а человек актуализирует полноту и упорядоченность бытия.

Метафизическая полнота Евразии на феноменальном уровне раскрывается как изобилие. В отличие от богатства изобилие житнетворно и может быть освоено только в режиме совместного использования. В противном случае оно становится причиной цивилизационного раздора. Доктрина Савицкого — Трубецкого претендует на то, чтобы дать полномасштабную развертку евразийского культурно-цивилизационного пространства. И ее лейтмотивом выступает безусловное преобладание национального целого над индивидуальными частями, соотношение любого индивидуального элемента с универсальным порядком культуры, или традиции. Отсюда — предельно широкое понимание национального, выраженного в понятии общеевразийского национализма, носителем которого является многонародная нация.

Литература

- Гегель Г. В. Ф. *Философия права*. М.: Мысль, 1990.
- Панарин А. С. О Державнике-Отце и либеральных носителях «эдипова комплекса» // *Завтра*. 2003. 23 апреля. № 17 (492).
- Савицкий П. Н. *Континент Евразия*. М.: Аграф, 1997.
- Саид Э. В. *Ориентализм. Западные концепции Востока*. СПб.: Русский Мир, 2006.
- Серио П. *Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структуризма в Центральной и Восточной Европе. 1920-1930 гг.* М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Соловьев В. С. *Русская идея* // Соловьев В. С. *Сочинения в 2 т. Т. 2*. М.: Правда, 1989.
- Трубецкой Н. С. *Европа и человечество* // Трубецкой Н. С. *История. Культура. Язык*. М.: Прогресс-Универс, 1995.

Д. В. Скрипченко

ООО Издательский дом «С-медиа»

Е. И. Колесникова

Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом)

Янь Мейпин

Институт иностранных языков и литературы,
Шаньдунский университет

Общественные коммуникации в эпоху цифровых диктатур

В статье разбирается актуальная проблема использования цифровых технологий как средство социальной инженерии. Используется метод социально-философской компаративистики, для чего в качестве наглядного примера рассматривается система социального кредита (доверия) в Китае, позволяющая контролировать хорошие и плохие поступки граждан. Утверждается, что китайская власть таким образом хочет построить кратчайшую коммуникацию между государством и обществом. Разбираются причины и мотивации построения данной системы и основные аргументы против нее. Вместе с этим постулируется, что система социального кредита — один из первых адекватных ответов на вызовы цифровых технологий постиндустриального общества, где цифровой субъект получает свое место через геолокацию в пространстве, но оказывается уязвим перед информацией с ее шумами в виде непрофессионалов и троллей. С помощью новых медиа субъект ищет способ воспринимать то, что ему необходимо.

Ключевые слова: цифровая диктатура, социальный кредит, коммуникация, интернет-троллинг, новые медиа.

Отдельные фрагменты цифровой диктатуры существуют в разных странах, и не только в авторитарных. В России это больше касается публичной политической сферы, когда за оскорбление власти можно получить реальное наказание. В США жесткий контроль в цифровой среде проявляется, когда речь идет об угрозах терроризма, вроде того, что определенного рода покупки моментально вызывают подозрения властей. Также, как правило, во всех развитых странах очень внимательно следят за соблюдением ав-

торского права. За распространение пиратской продукции можно получить большой штраф или даже реальный тюремный срок. Так или иначе, но цифровое пространство уже давно не безнадзорно, а регулируемо полностью или частично.

Молодежь сегодня гордится, что не смотрит телевизор, который якобы остался уделом людей, выросших в XX веке. Многие думают, что летают в электронном пространстве на крыльях свободы, имея доступ к неограниченной и независимой информации. Но все это отчасти иллюзия. Интернет из чистой идеи свободного и независимого пространства все очевиднее превращается в цифровую антиутопию. Существуют разные программы и целые компании, которые собирают и анализируют данные о пользователях Сети. И если человек решил совершить эскапизм и, скажем, удалить некоторые или даже все личные данные из своего аккаунта в социальной сети, то это совершенно бессмысленно. Технологии Big Data позволяют получить любые знания о человеке и обществе в целом. Ведь и без соцсетей в Интернете мы читаем книги и новости, посещаем разные сайты по интересам, смотрим видео и слушаем музыку, покупаем одежду, еду, билеты на поезд или на концерт. Один день, проведенный в Интернете, расскажет об индивидуале больше, чем самая подробная информация в социальной сети. Система искусственного интеллекта без труда определит основные личные данные человека: имя, пол, национальность, примерный или точный возраст, социальный статус и уровень дохода. Как говорит Брюс Стерлинг, у социальных сетей и поисковых систем нет пользователей, а есть те, за кем наблюдают и исследуют их данные [Sterling, 2014]. И это сфера приватного пространства. А ведь есть еще общественные места с камерами видеонаблюдения, которыми оснащены офисы, подъезды, станции метро и просто улицы. Информация с них стекается на компьютеры, тоже подключенные к Интернету. И все больше камер способны распознавать лица и определять аномалии поведения.

Цифровые технологии используют новые научно-технические достижения в своих средствах функционирования. Благодаря этому стала доступна информация в неограниченных объемах и с гипертекстовой дискретностью, интерактивное социальное взаимодействие и прозрачность. Но содержание, сфера применения, направленность их использования не новы. Они заполняют уже

сложившиеся социальные ниши и служат уже сформированным коммуникативным потребностям.

Тотальный контроль и воздействующую функцию оруэлловского Большого Брата до digital technology выполняли другие институты и другими средствами. Неизменным, например, оставалось стремление манипулировать общественным мнением и воздействовать на принятие решений, заставляя людей совершать определенные поступки, не обусловленные их личными интересами и потребностями. Ярko и точно об этом, используя различные художественные приемы, последовательно пишет в настоящее время Виктор Пелевин.

От начала творчества и до самых современных произведений писатель решает проблему освобождения личности от всякого рода зависимостей, а главное — от воздействия идеологии. Главной его темой является описание несвободной (зомбированной) личности, стоящей на границе миров, и ее возможный или состоявшийся путь к освобождению. Практически в каждом произведении присутствует параллельные миры, облаченные в различные художественные формы, которыми писатель пользуется как метафорой, привлекая наиболее знакомый ему материал — Восток и его верования, сон, сумасшествие, мистические практики, виртуальная реальность. Эти мотивы двоемирия всегда поясняют или зеркально отражают какую-то актуальную российскую или мировую ситуацию.

Уже в раннем эссе «Зомбофикация» писатель сформулировал основные проблемы всего последующего творчества: ритуал зомбирования на Гаити он приравнял к советским этапам закабаления личности идеологическими инициациями. В эссе в гротескной форме описывается, как все население, начиная с младенчества, умело обрабатывается пропагандистской машиной. Особое место отводится культуре, которая порождает «зомбический реализм» и даже «дозировано позволяет полузапрещенный зомбический модернизм». Медийные носители — газеты, радио — называются Пелевиным «средствами массовой дезинформации», которые используются для формирования стиснутого осознания, делающего возможным зомбификацию.

Пафос пелевинских произведений сводится к тому, чтобы стимулировать спрыгнуть с поезда, пробить стекло птицефабрики,

выйти из тоннеля метро, то есть избавиться от всего сформированного нашим воспитанием, социальными связями, привычками и страхами. Все последующее творчество будет лишь очередной попыткой расшатать этот пропагандистский морок.

В последние годы, когда Пелевин стал воспринимать как «шлем ужаса» воздействие российских СМИ, писатель обратился к медиапространству, почти заместив тему Востока и исторические параллели («S.N.U.F.F.», «Любовь к трем цукербринам», «IPhuck 10», «Тайные виды на гору Фудзи», «Искусство легких касаний»). Угадываемые в сюжетах современные реалии — увлечение всевозможными «жизненными тренингами» с коучами, мистическими практиками, создание компьютеров-писателей, и все это на фоне чудовищных политических провокаций — таков мир времен цифровых технологий: человек все так же внушаем, незащищен, но неисчерпаемо креативен в своих стремлениях подчинить себе других людей.

Пелевин пишет о цифровой диктатуре как художник, но заимствует реальные сюжеты из жизни. За человеком наблюдают постоянно и знают о нем буквально все. И речь не только о спецслужбах. За человеком следят медиамонстры и корпорации, выраженные в той самой аллегории Большого Брата. Они, исходя из полученных данных, через всплывающую контекстную рекламу или рассылку по электронной почте навязывают услуги, которые могут быть интересны именно конкретному индивиду. Но это не самое страшное. Машинные алгоритмы знают человеческие мотивации и могут предсказать наше поведение, а значит — контролировать его. Все это приводит к изменению привычных форм коммуникации в обществе, ориентированных на электронное общение. Но цифровизация постепенно способствует введению нормативных и правовых норм регулирования поведения. Обратимся к конкретным примерам.

Цифровая диктатура может проявляться и как ограничение доступа к конкретным сайтам в Интернете или их цензурирование, и как отслеживание запросов в поисковых системах, и как полный контроль всего интернет-трафика в стране. В последнем случае Китай, как известно, пошел дальше всех в этом направлении, и потому в данном исследовании мы обратимся к опыту цифровых коммуникаций Поднебесной.

Проект «Великий китайский фаервол»¹, как его прозвали на Западе, создавался параллельно с развитием Интернета в этой стране, и поэтому ему сегодня нет равных. И ограничивать свои возможности эта система в ближайшее время не собирается, а будет их только наращивать, руководствуясь утилитарными соображениями безопасности и технократии. Китайская модель власти позволяет миновать широкие общественные обсуждения как по вопросам политического управления, так и биополитики (например, проблем редактирования генома человека или клонирования) и в дальнейшем очень быстро внедрять любые противоречивые с демократической точки зрения новшества в жизнь. Вот и в вопросах управления государством и обществом технологии призваны помочь китайским властям.

Самым наглядным примером является система так называемого социального кредита или социального доверия². Это некий балльный рейтинг, который посредством искусственного интеллекта предполагается начислять каждому гражданину Китая буквально за все его действия в жизни: за работу, поведение, личную жизнь, даже за покупки в Интернете. И, соответственно, за «правильные» действия рейтинг растет, за «неправильные» — падает. Покупаешь овощи — молодец, заботишься о здоровье; алкоголь — вредишь себе, минус балл. И так абсолютно во всем. Высокий рейтинг — можно ездить за границу, брать кредит с низким процентом, отправлять детей в хорошую школу и даже дольше кататься на общественном велосипеде. Низкий — сиди дома, подумай над своим поведением, исправляйся. Хотя система социального доверия пока работает в тестовом режиме (предполагается,

¹ Официальное название «Золотой щит» (金盾工程). Разрабатывался с конца 1990-х годов и введен в эксплуатацию с 2003 года. Представляет собой многоуровневую систему фильтрации всего интернет-трафика в стране в целях государственной безопасности.

² Гордеев А. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга. URL: <https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7> (дата обращения: 01.11.19).

В Россию название «система социального кредита» попало через переводы англоязычной прессы по этой теме. Действительно, английское слово *credit* можно перевести буквально как кредит, но еще и как доверие. На наш взгляд, применительно к китайской системе понятие «доверие» более близко по смыслу.

что заработает полностью в 2020 г.), тенденция в этом направлении у Китая есть. И это очень живая иллюстрация возможного цифрового будущего.

Можно сказать, что китайская модель цифровой антиутопии с западной точки зрения выглядит как победивший технократизм³, выставляющий именно технику основой и мерилom общественного прогресса, которая полностью детерминирует поведение человека и является тотальным социальным инженером. По мысли создателей системы, она должна предотвращать материализацию возможных рисков и поощрять добропорядочность. Это противоречит установке европейской интеллектуальной мысли, обычно критикующей технократизм за превалирование механического над гуманистическим.

Однако Китай выступает последовательным апологетом технократизма и власти технократии, поскольку она больше, нежели демократическая модель, отвечает тому социально-политическому контексту, который сложился в этой стране. В этом, с одной стороны, безусловно, есть влияние конфуцианства, когда в условиях жесточайшей конкуренции, после сдачи всех экзаменов, наверх должны пробиваться наиболее достойные. С другой стороны, есть в этом и общее тяготение Поднебесной к техническим новшествам и их быстрому внедрению в жизнь. Это вполне соответствует запросам и возможностям этой страны в настоящее время. Сейчас уже очевидно, что Китай перестал быть просто фабрикой мира, а превратился в одного из крупнейших мировых производителей инновационных технологий. «В современном Китае отношение к технократии более благоприятное, чем в других странах. Истоки этой симпатии лежат в традиции, конфуцианских ценностях. <...> В этом смысле можно говорить, что идеи технократии также близки платоновскому “Государству”, как и другим меритократическим концепциям, согласно которым власть должна принадлежать “экспертам”, то есть наиболее компетентным и просвещенным избранным без учета их социального статуса. Ученые и инженеры, призванные управлять экономикой в технократическом обще-

³ Стоит отличать понятия «технократизм» в смысле идеологии технологического детерминизма от «технократии», являющейся властной моделью управления экспертно-техническими элитами.

стве, — это своего рода те же “благородные мужи” Поднебесной или “философы” в утопии Платона» [Середкина, 2018, с. 41].

Возможно, неслучайно, что у троих последних руководителей Китая (Цзян Цзэмина, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина) техническое образование. И в китайском обществе в целом существует очень позитивное отношение к технике и технологиям. По мнению китайских исследователей, допущение к управлению специалистов-технократов в современном Китае способствует более рациональному и выверенному развитию общества и во многом вызвано работой над ошибками прошлой тоталитарной модели власти, присущей, в частности, правлению Мао Цзэдуна. Именно волюнтаристские политические решения, оторванные от технических знаний, способствовали провалам в экономике и большим человеческим и материальным потерям XX века (в частности, политика «Большого скачка»). «Несомненно, партийная идеология по-прежнему основательно верит в социальную инженерию на основе системной науки, гибкости и трансформируемости личности и довольно максималистского подхода к социальному вмешательству» [Creemers, 2018].

Исследователь Лю Юнмоу в статье «Преимущества технократии в Китае» выделяет три пункта, которые с его точки зрения способствуют позитивному образу технократии в Поднебесной: «Во-первых, наследие сциентизма. Начиная со второй половины XIX века желание преодолеть свою отсталость усиливало веру в науку в китайском обществе. С тех пор, хотя условия изменились, сциентизм остается популярным, и китайцы склонны позитивно относиться к технократии.

Во-вторых, технократия соответствует китайской традиции элитарного отбора, конфуцианскому идеалу “благородного мужа”, выраженной словами “превозносить добродетельных и способных”. И хотя в конфуцианской традиции добродетель ставилась выше способностей и подчеркивала знание конфуцианской классики, а не западных технических работ, обе предполагают, что знание важнее, чем представление своих интересов на политической арене.

Наконец, <...> определенно существует сходство между технократией и социализмом: общее содействие экономическому планированию, уверенность в гибели капитализма из-за проблем,

создаваемых производством, сильный акцент на ценностях науки и техники» [Середкина, 2018, с. 48–49].

На Западе одна из претензий к цифровой диктатуре состоит в том, что она настойчиво предлагает свободной личности вообще не совершать и не осмыслять свои ошибки. Вместо этого, как навязчивая реклама в Интернете, все время всплывает подсказка: «Стоп! Ошибка! Минус балл». Цифровая диктатура принуждает вообще ошибки не совершать, идти единственным путем, чистота которого уже определена заранее. Из подобного поведения изымается категория риска, предполагающая свободный выбор индивидом того или иного спонтанного действия и в то же время просчитывающим его последствия и, как следствие этого, оптимизирующим свои решения. Общественная коммуникация при этом очевидным образом будет все больше сводиться до формализованных отношений, избегающих риска, а общество в целом стремиться к кастовой системе. Это может привести к тому, что разделение на достойных и не очень заставит и первых и вторых объединяться в сообщества «своих», избегая пересечения с чужими. Достойные граждане будут иметь больше доступа к общественным благам, в производстве которых участвовали в том числе менее достойные. Последние, в свою очередь, получают мощнейший импульс resentmentа как по отношению к первым, так и к государству в целом, что неизбежно будет приводить к ситуации колоссального общественного напряжения. И именно к этому может привести система социального доверия. Кроме того, введение системы приведет к радикальной транспарентности субъекта, полная информация о котором станет доступна государству, а при необходимости он будет обязан продемонстрировать ее и частным структурам, и просто любому заинтересованному.

Однако это негативная точка зрения. Но существует иное мнение сторонников китайской системы социального доверия, что это — одна из положительных форм проявления постиндустриального общества, несущая в себе конструктивный подход к современной социальной модели, и отвечающая запросам нового цифрового социума. Может быть, эта система даже вовсе не так технократична, как думают сами китайцы. «Система социального кредита в Китае сложнее предлагаемых обществом противоположных шаблонов: “цифровая диктатура” или “цифровая де-

мократия”. Не говоря уже о том, что усиление информационного, цифрового влияния государства на судьбы китайских жителей должно проходить поступательно, с повышением прозрачности власти, информационной грамотности населения, одобрением ими принимаемых политических решений» [Система социального кредитования в Китае, 2018, с.117]. В этом смысле система социального доверия является наиболее прямой и справедливой коммуникацией между обществом и государством, сокращая расстояния между ними. Ведь не только отдельные граждане будут получать рейтинг, но и компании, участники рынка экономики. И если они ведут нечестный бизнес, обманывают потребителей, то так же получают за это соответствующие санкции. В свою очередь позитивная коммуникация между компаниями и отдельными членами общества будет способствовать росту их рейтинга, а значит, придавать дополнительный стимул не нарушать закон и жить на основах всеобщего блага. И те личные качества, которые раньше с трудом могли быть монетизированы, — честность, доброта, взаимопомощь — теперь не останутся незамеченными. Это такой способ для машины не столько карать за нарушение закона, сколько поощрять морально-волевые качества индивида. Как сказано в программном документе системы, она выдвигает «идею культуры искренности и поощряют честность и традиционные добродетели, использует поощрение за надежность и ограничения против ненадежности как стимулирующие механизмы, а ее цель заключается в повышении искренности сознания и уровня доверия всего общества» [Creemers, 2018].

Возможно, китайская система социального доверия просто раньше других предложила адекватный времени ответ. Индивиду трудно успевать за дигитативными трансформациями сетевого общения, которые постоянно меняют его жизнь и способы коммуникации. Можно наблюдать это на примере общения в Интернете. Не успели все адаптироваться к более или менее неспешному текстовому стилю сообществ «Живого Журнала», как появились социальные сети с их аудиовизуальными интенциями и огромными сообществами по интересам. Принятие и адаптация их интенсивного потока информации обществом прошли успешно, хотя и не вполне осознанно. Но в середине 2010-х годов новый коммуникативный поворот — появление и активное внедрение мессен-

джеров. Как следствие этого произошел уход цифрового индивида от публичности соцсетей, где в списке друзей большинство тех, с кем никогда не общаешься, к приватности мессенджера, где коммуникация, как правило, происходит с близкими контактами из телефонной книги.

Так или иначе, несмотря на разговоры о кризисе традиционного общения, индивид цифровой эпохи как никогда нуждается в коммуникации и использует для этого те программы, которые наиболее отвечают его техническим возможностям и интересам. Мессенджеры и телеграм-каналы помогают разбивать макронарративные коммуникации социальных сетей с их огромными данными на более точечные потоки информации. «Данные эффекты свидетельствуют о том, что жизненные стратегии и предпочтения личности трансформируются под воздействием цифровой среды, прежние социальные институты и системы отношений демонстрируют свою несостоятельность, возникает потребность в новых формах цифровой институционализации» [Орлов, 2019, с. 158].

Можно отметить новую форму цифрового существования субъекта. Как отмечает М. О. Орлов, цифровой субъект в современную эпоху получает «новую размерность бытия» — за счет современных технологий он становится геолокализован. Все его посещения каких-то мест, фотографии и публикации теперь видны из космоса и имеют соответствующую геолокационную метку на мобильных устройствах. Субъект оказывается способным видеть себя в потоке информационного пространства и фиксировать свое нахождение в нем, чего был лишен в эпоху традиционных медиа. Наиболее частотные метки запоминаются Сетью, продолжая коммуникацию со следующим индивидом, оказавшимся где-то поблизости. В итоге мобильные приложения для гурманов помогают найти заведения с самыми вкусными блюдами, туристам они помогают быстрее и удобнее всего добраться до нужного места, протестующим быстрее собраться в нужной точке и координировать свои действия.

На все эти социально-коммуникативные изменения размерности бытия обратили внимание не только исследователи, но и государственные власти и спецслужбы разных стран. Очевидно, заметили это и создатели системы социального доверия в Китае, но, конечно, не только там. Можно, например, обратить внимание на

статью начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова «Основные тенденции развития форм и способов применения ВС, актуальные задачи военной науки по их совершенствованию» [Герасимов, 2013]. Статья написана в 2013 г., вероятнее всего, под впечатлением от событий «арабской весны», когда протестующие в Северной Африке координировали между собой при помощи социальных сетей. Некоторые положения Герасимова предлагают такие способы ведения современных боевых действий с противником, которые предполагают их правильную медийную поддержку, а также нелинейные способы борьбы с врагом. Кое-что из этих положений можно было наглядно наблюдать во время активных событий на Украине в 2014 г. и после этого: «Информационное противоборство открывает широкие асимметричные возможности по снижению боевого потенциала противника. Необходимо совершенствовать действия в информационном пространстве, в том числе по защите собственных сетей и объектов» [Герасимов, 2013, с.24]. Конечно, медийную поддержку происходивших военных событий едва ли можно называть изобретением Генерального штаба ВС России. Достаточно вспомнить, как любые американские боевые действия на Ближнем Востоке последних десятилетий освещались телевидением США и были детально разобраны С. Жижекком или Ж. Бодрийяром. Однако в свете развития Интернета и с ускорением передачи информации, а также доступом к ней широких слоев населения эти новые условия были приняты к сведению и приватизированы машиной медиа и примыкающих к ней силовых структур. Таким образом, информационные войска оказываются сегодня не менее важными, чем танки и самолеты. И тезис о том, что цифровизация общества оказалась как вредной, так и очень полезной для структур власти становится все более очевидным.

Если информационный поток традиционных медиа предлагал одностороннюю коммуникацию, то новые медиа готовы брать на службу геолокализованного субъекта, способного быть лидером мнений. В это же время наступили золотые годы для видеоблогеров и так называемых интернет-троллей, реализовывающих идеологию постправды, когда истинность и рациональность суждения в Сети не являются обязательными и самоценными, а на первый план выходят эмоциональность и лаконичность. Предвест-

ником этого феномена можно назвать гонзо-журналистику, с характерным эмоциональным стилем подачи материала, поскольку естественно, что аудитории интересней переживать эмоции, а не информацию. Являются ли эмоции при этом своими, а не проникшими контрабандой мнениями автора, еще большой вопрос. Как точно говорит М. А. Корецкая: «Эмоции на экране очищенные и яркие, концентрированные и снабженные смыслом — они действительно более “реальны” и интенсивны чем то, что нам позволяет пережить повседневность. Но как раз последнее обстоятельство и таит в себе подвох: эмоция не может быть собственной, если в нее не вложено собственное тело» [Корецкая, 2006, с. 189]. Традиционные профессиональные медиа сегодня именно эмоционально не могут удовлетворить запросы молодой аудитории, продукты их работы у нее просто не востребованы. Но в то же время потребность в информации у молодежи сохраняется. В результате закономерно, что образовавшуюся пустоту заполняют непрофессионалы. Многие видеоблогеры имеют многомиллионную интернет-аудиторию, которой уже не могут похвастаться некоторые информационные передачи на телевидении. А главное — они авторитетны и имеют влияние в обществе. Но если интернет-блогеры создают и обслуживают коммуникативный дискурс, понятный сетевому сообществу, то так называемые интернет-тролли разрывают и разрушают дискурсивные пространства медиасреды, порождая совершенно новые виды коммуникации. Их профессиональная задача разобщать и создавать недоверие. Именно тролли, а не ведущие государственных телеканалов очевидным образом стали боевым авангардом цифровых диктатур, особенно активизируясь под те или иные политические события.

Таким образом, цифровая диктатура, с одной стороны, ставит невиданные эксперименты социальной инженерии, предлагая субъекту подчиниться алгоритмам искусственного интеллекта и радикально изменяя способы его коммуникации. Можно при этом сделать интересное наблюдение, как одна из самых технологичных держав мира берет технологии и коммуникации под полный контроль, подчиняя поведение человека идеальным с точки зрения искусственного интеллекта нормам. Вместе с тем цифровая диктатура поднимает на поверхность скрытые возможности постиндустриального информационного общества, имма-

нентно ему присущие, но тактично замалчиваемыми цифровыми демократиями. Китайская система социального доверия, по сути, предлагает законодательно закрепить то же самое, чем на Западе занимаются частные компании, собирающие и анализирующие данные пользователей Интернета без их согласия. Появление подобных систем социального доверия в публичном интеллектуальном поле позволяет провести подробный анализ цифровых угроз, привлекая внимание не только ученых, но и широкой общественности. Сложная задача философии заключается в том, чтобы постоянно присутствовать в современном медийном дискурсе, критически осмысляя вызовы цифровой эпохи — как диктатурам, так и демократиям.

Литература

- Герасимов В. В. Основные тенденции развития форм и способов применения Вооруженных Сил, актуальные задачи военной науки по их совершенствованию // Вестник Академии военных наук. 2013. № 1 (42). С. 24–29.
- Корецкая М. А. Эффект реальности и пустыня Реального: цинизм и тоска на обломках онтологии // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2006. № 1 (4). Выпуск «Философия. Филология». С. 42–57.
- Орлов М. О. Многомерность цифровой среды в обществе риска // Известия Саратовского университета. Новая серия. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19. Вып. 2. С. 155–161.
- Середкина Е. В. Технократия vs демократия // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2018. № 2. С. 39–49.
- Система социального кредитования в Китае как элемент цифрового будущего / С. Д. Галиуллина, М. Г. Бреслер, А. Р. Сулейманов, А. А. Рабогошвили, М. М. Байрамгулова // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2018. № 4 (26). С. 114–121.
- Creemers R. China's Social Credit System: An Evolving Practice of Contro // SSRN Electronic Journal. 2018. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175792 (дата обращения: 01.11.2019).
- Sterling B. The Epic Struggle for the Internet of Things. M.: Strelka Press, 2014.

С. М. Каштанова

ГБУ «Высшая банковская школа»

Модусы и практики социальной коммуникации в современном цифровом пространстве: опыт расширения границ социальной реальности

Вопрос о трансформации способов социальной коммуникации, происходящей ввиду роста влияния цифровых технологий на жизнь индивидов, рассматривается в статье по двум направлениям. Во-первых, анализируются наиболее существенные, с точки зрения автора, атрибуты, приобретаемые социальной коммуникацией при переходе в веб-пространство, такие как отсутствие смысла сообщений, анонимность и безнаказанность. Автор рассматривает обмен сообщениями в рамках веб-коммуникации как обмен симулякрами, наглядным примером которых могут выступать репосты, инстаграм-истории, фейки и прочее. Распространение симуляций в Интернете является продолжением такого феномена, как постправда, который исследуется в статье именно в контексте цифрового взаимодействия. Во-вторых, проводится разбор того, каким образом новые модусы социальной коммуникации изменяют границы социальной реальности. Так, в контексте философии трансгрессии, исследуются определенные практики веб-взаимодействия, которые позволяют субъектам коммуникации раздвигать рамки социально-допустимого опыта посредством достраивания социальной реальности виртуальными средствами. Для анализа трансгрессивности цифровых способов коммуникации автор обращается к таким интернет-практикам, как онлайн-игры, киберагрессия и вебкаминг, поскольку они служат примером того, каким трансформациям в целом подвергается социальная коммуникация в цифровом пространстве.

Ключевые слова: симулякр, репост, фейк, постправда, социальные сети, трансгрессия, онлайн-игры, киберагрессия, вебкаминг.

Цифровые технологии давно уже стали неотъемлемой частью современной жизни: смартфоны, социальные сети, онлайн-присутствие — все это и не только прочно вписалось в реальность отдельного индивида. От успешного использования цифровых технологий зависит успешность в личной, профессиональной, социальной жизни. Пространство реального и пространство вир-

туального настолько тесно переплелись, что невозможно сказать, где начинается одно и заканчивается другое, — как справедливо заметил Бодрийяр, мы живем в эпоху гиперреальности [Бодрийяр, 2000, с. 44], которая порождает новые модусы социальной вовлеченности, коммуникации, саморепрезентации.

Под влиянием распространения и повсеместного внедрения сетевых цифровых ресурсов меняется сама природа социального взаимодействия. Эти изменения включают множество факторов: они затрагивают процессы самоидентификации субъектов коммуникации, порождают новые способы и смыслы коммуникации — на уровне как межличностного, так и массового взаимодействия, — а также новые пространства общения, которые во многом превращаются в основные пространства социальной коммуникации. Меняется скорость передачи информации и интенсивность ее усвоения, формируются новые системы социализации, распределение и осуществление власти во многом переносится в мультимедийное пространство. Трансформируется и сам субъект социальной коммуникации. Дополнение предметного мира различными вариациями виртуального, компьютеризация реальности требуют от человека освоения новых социальных навыков — ему «предстоит овладеть новыми системами коммуникации, которые интенсифицируют его жизнь» [Ярославцева, 2009, с. 79]. И это происходит на уровне не только отдельного индивида, но и всего человечества, о чем пророчески писал Маклюэн еще в 1964 г., когда трудно было представить себе не столько последствия вторжения Интернета в жизнь людей, сколько само возникновение виртуальной Всемирной паутины, сущность которой как нельзя лучше описывают следующие слова: «Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне — стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов всего человеческого общества примерно так же, как ранее благодаря различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши нервы» [Маклюэн, 2003, с. 6].

Изучение цифровой среды в аспектах ее социальных и культурных практик — процесс мультидисциплинарный и многоуровневый, и в рамках одного исследования представить исчерпывающие выводы о природе этих практик невозможно. Профессио-

нальные исследователи digital признают, что «никогда не будет окончательного ответа, который удовлетворит всех, и, более того, эти исследования будут бесконечными, потому что технологии меняются очень быстро, опыт пользования ими меняется тоже довольно быстро, ни одна конкретная статья, ни один конкретный цифровой проект, даже сделанный большим сообществом ученых, не будет окончательным» [Мороз, 2017]. Тем не менее попробуем взглянуть на те процессы, которые имеют отношение к социальной среде и трансформации социальных коммуникаций в условиях диджитализации социальных практик индивидов.

В первую очередь приходится констатировать, что изменился сам характер потребляемой в цифровом пространстве информации. Этой информации не просто много — она избыточна. Разрастание информационного пространства предполагает увеличение количества связей, в которые ежедневно вступает индивид. Тем не менее это никак не влияет на качество получаемой информации, «объем “полезной” информации не увеличивается — происходит искусственное растяжение коммуникативной сферы, приводящее к социальной дезинтеграции» [Миннуллина, 2014, с. 131]. Это связано со спецификой воспроизводства контента. Современное интернет-пространство — это *пространство симулякров*, которые копируются с невообразимой скоростью. Если профессиональные информационные ресурсы еще содержат оригинальный контент, то ресурсы, которые стали сегодня основными сферами социальной коммуникации, воспроизводят псевдоконтент, основная задача которого — создавать видимость смысла и видимость коммуникации: «Вместо того, чтобы быть верхом коммуникации, информация исчерпывает свои силы в инсценировке коммуникации. Вместо того, чтобы производить смысл, она исчерпывает свои силы в инсценировке смысла» [Бодрийяр, 2015, с. 111]. Речь идет, в основном, о пространствах популярных социальных сетей — «ВКонтакте», «Твиттера», «Фейсбука», «Инстаграма», — которые являются главными цифровыми медиумами социальной коммуникации.

Производство и потребление псевдоконтента происходит по определенному шаблону и включает несколько значимых для понимания сущности современной социальной коммуникации процессов. Одним из элементов данного шаблона является феномен

репоста. Пользователь сети, находясь в процессе непрерывного потребления ежесекундно приращиваемой информации, нажатием одной кнопки делится со своим социальным окружением теми единицами контента, которые в процессе этого потребления показались ему значимыми, интересными или вызывающим отклик. Зачем создавать оригинальный контент, если можно выразить свои взгляды через копирование уже имеющегося? Поскольку все пользователи Сети вращаются в огромном количестве различных социальных кругов, одна и та же единица информации подвергается репосту бесчисленное количество раз. В результате мы, с одной стороны, имеем информацию, вырванную из контекста, лишенную авторства, скопированную множество раз, а с другой — сталкиваемся с иллюзией саморепрезентации: индивид, присваивая данный псевдоконтент, коммуницирует с социумом о «содержании» своего внутреннего мира, который в данном случае представляет собой самовоспроизводимый симулякр.

Однако псевдоконтент может рождаться не только посредством копирования, но и в результате самостоятельного производства пользователями симулякров. Имеются в виду условно оригинальные посты в соцсетях, которые при этом не имеют никакого существенного смысла, будучи лишь констатацией некоторых жизненных фактов без осмысления, а потому представляют собой означающее без означаемого. Их производство связано не столько с неудачной попыткой передать некоторый смысл, сколько с откровенной симуляцией смысла, которая в цифровом пространстве становится источником социального престижа. Степень вовлеченности в онлайн-интеракцию прямо пропорциональна месту, занимаемому индивидом в социальной иерархии. Если социальная дифференциация в предметно-материальном мире реализуется по принципу меритократии, то дифференциация в современном цифровом пространстве связана со способностью стабильно производить контент, смысл которого при этом не имеет значения. Хорошим примером в данном случае может послужить Инстаграм, в котором, помимо собственно выкладываемых на всеобщее обозрение изображений, присутствует также возможность публиковать «истории» — фото или десятисекундные видео, которые доступны для просмотра в течение 24 часов, после чего они автоматически удаляются. Содержанием таких «историй» чаще всего

становятся моменты жизнедеятельности пользователей, а задачей является производство информационного шума как способа заявить о себе: «Я здесь!», содержание же имеет мало значения. «Истории» нужны для того, чтобы постоянно демонстрировать уровень своей активности в соцсетях, который показывает, насколько индивид вовлечен в социальную коммуникацию, которая, в свою очередь, служит мерилom социального успеха и определяет популярность данного индивида в своем социальном окружении. При всем этом происходит одновременно несколько интересных социальных процессов.

Во-первых, обыденная жизнь индивидов представляется как нечто значимое само по себе: нет нужды придумывать что-то оригинальное или смыслонагруженное, пользователю достаточно демонстрировать миру, что он ест, покупает, в какой обстановке спит, и так вплоть до самых интимных моментов жизни. Происходит сакрализация профанного, поскольку одни пользователи допускаются в личную жизнь других, которая при этом мало чем отличается от жизни любого индивида. Этот феномен породил культуру *микроинфлюэнсеров* — людей, которые стали популярны только за счет подобного контента и которые могут в результате транслировать свое мнение как существенное и таким образом определять взгляды ограниченного круга потребителей создаваемого ими контента.

Во-вторых, возникает соблазн приукрашивать реальную жизнь, поскольку современные технологии, такие как фото- и видеоредакторы, фильтры, маски и прочее, позволяют улучшить или в принципе сконструировать заново отображаемую на экранах смартфонов реальность. Речь идет о таком модусе современной цифровой коммуникации, как *фейк*, то есть сфальсифицированная информация. Таким образом, построенная на фейковой информации саморепрезентация субъекта в цифровом пространстве имеет мало общего с реальностью. Субъект коммуникации может демонстрировать в соцсетях только то, что считает необходимым, оставляя за кадром менее презентабельные моменты своей жизни. А может в принципе создавать контент, никак не связанный с реальной жизнью. Так романтизируется жизнь отдельных субъектов, при этом мало кому известно, что происходит в действительности. Показателен случай, произошедший в США в 2018 г., когда одна

из пользовательниц Инстаграма подделала серию фотографий, демонстрирующих ее поездку в Диснейленд. В действительности же она не покидала своего дома, выкладывая в сеть обработанные в специальной программе фотографии¹.

Массовое производство фейков в интернет-пространстве связано с несколькими факторами. Первый из них — *анонимность* и, как следствие, недостаток личной ответственности [Кёхлер, 2013, с. 80]. Если никто из участников виртуальной коммуникации наверняка не знает друг друга, то это позволяет не только выдавать желаемое за действительное, манипулируя фактами и их отображением в соцсетях, но и создавать абсолютно новые, фантазийные способы саморепрезентации при помощи фейковых аккаунтов. С одной стороны, в этом выражается стремление индивида к трансгрессии реальности посредством игровых практик. Если воспользоваться классификацией игр Роже Кайуа [Кайуа, 2007], фейковый аккаунт представляет собой не что иное, как игру-симуляцию — построение на основе воображения и имитации новой личности, отыгрывание новых, необычных паттернов взаимодействия в социальном пространстве под покровом самостоятельно сконструированной «маски». С другой стороны, фейковые аккаунты, фотографии, информационные единицы служат средством осуществления власти над другими участниками коммуникации, которые, в силу информационной перегруженности социальных сетей, не в состоянии различать фейковые и достоверные сообщения [Ершов, 2018, с. 248]. Отсутствие эффективной системы контроля над информацией в Интернете (вспомним неудачные попытки Роскомнадзора заблокировать интернет-платформу Телеграм) приводят к возникновению ощущения тотальной вседозволенности. Пользователи обнаруживают в себе способность «создавать новые общественные реалии. Это может вызвать в них искусственное ощущение собственной власти и привести к неверной интерпретации их “жизненного мира” и позиции в обществе» [Кёхлер, 2013, с. 81].

Второй фактор, влияющий на производство фейков, кроется в самой сущности современной цифровой реальности, которая представляет собой пространство *постправды*. В 2016 г. понятие

¹ Не заметила даже мама... // Medialeaks. 2018. 20 марта. URL: <https://medialeaks.ru/2003ttp-fake-instagram/> (дата обращения: 25.10.2019).

«постправда» (post-truth) было объявлено Оксфордским словарем словом года² как наиболее часто использовавшееся в текстах в основном политических медиа. Под постправдой понимаются «обстоятельства, при которых объективные факты менее значимы для формирования общественного мнения, нежели обращения к эмоциям и личным убеждениям» [Чугров, 2017, с. 43], сам термин же имеет отношение в первую очередь к политическому дискурсу, поскольку описывает процессы достижения и использования власти. Впервые данный термин был использован в 1992 г. в контексте обсуждения войны в Персидском заливе и с тех пор прочно вошел в языковую среду вплоть до 2016 г., когда понятие постправды стало основным термином для описания политики американского президента Дональда Трампа. При всем том понятие постправды очень точно отражает и те процессы, которые происходят в интернет-пространстве, поскольку центральным качеством постправды является «редукция и исчезновение смыслов в результате контекстной стандартизации политического дискурса» [Чугров, 2017, с. 45].

Будучи порождением цифровых технологий, постправда представляет собой не столько конкретное явление, сколько среду, ситуацию, которая делает возможным распространение фейковых новостей. Содержание информационной единицы при этом незначимо, «важно, чтобы она соответствовала двум условиям: эмоциональному настрою потребителя информации и политическим целям коммуникатора. То есть неважно, произошло событие или нет — ведь оно могло бы произойти» [Чугров, 2017, с. 46]. Современное интернет-пространство и есть пространство постправды, поскольку пользователи в большинстве своем не обладают технологиями, позволяющими отличить действительность от вымысла. Более того, современная цифровая среда порождает огромное количество малых групп, образующихся по принципу согласия с той или иной информацией, представленной в медиaprостранстве. Действительная правдивость информации несущественна, важно лишь то, что согласие или несогласие с нею становится принципом включения в ту или иную группу, что и формирует в итоге струк-

² Word of the year 2016 // Oxford Dictionaries. URL: <https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016> (дата обращения: 26.10.2019).

туру социальной реальности в цифровом пространстве, а также определяет источники и способы осуществления власти в этой реальности. Те, кто производит контент, получающий сильный эмоциональный отклик от широкой аудитории, становятся властителями интернет-трендов, поскольку «постправду порождают не факты, а их переживание» [Чугров, 2017, с. 46].

Действительно, пользователей в большей степени интересует эмоционально нагруженный контент, фактчекинг при этом отходит на второй план: «Усиление эмоциональной составляющей происходит не только из-за повышенной доли аудиовизуального контента в современной веб-коммуникации (по сравнению с более абстрактной природой слов на бумаге), но и благодаря “фактору реального времени”, т.е. огромной скорости распространения контента, не оставляющей достаточного времени на рефлексия» [Кёхлер, 2013, с. 83]. Пользователи ищут возможности переживать все более интенсивные эмоции, и Интернет предоставляет эти возможности оперативнее, чем предметно-материальный мир. Так возникает абсолютно новая реальность, более привлекательная, чем та, что находится за пределами цифрового пространства.

По этой причине цифровая среда охватывает весь спектр возможных коммуникаций, превращая виртуальность в основную среду обитания современного человека, встраивая в свою структуру все виды взаимодействия между людьми: «Все проявления культуры, от худших до лучших, от самых элитных до самых популярных, соединяются в этой цифровой вселенной» [Кастельс, 2000, с. 351]. Горизонтальные связи и отсутствие жестких законов социальной дифференциации позволяют индивидам не только получать равный доступ к профессиональной, образовательной, научной информации за доли секунды, но и находить способы для безнаказанного осуществления практик, так или иначе осуждаемых или даже наказуемых в «аналоговом» мире.

Анонимность и условная иллюзорность, «ненастоящность» происходящего в веб-пространстве привлекает в Интернет всех тех, кто устал от привычных социальных рамок. Социальная коммуникация цифрового типа позволяет удовлетворять потребности и интересы, жестко регламентированные в действительной социальной реальности. Поэтому, кроме социально одобряемых способов коммуникации, цифровой мир предлагает также прак-

тики трансгрессивного толка. Таких практик существует великое множество, а имеющиеся ресурсы обхода законодательства в Интернете (например, так называемый Даркнет, не поддающийся на данный момент никакому законодательному контролю, или интернет-пиратство) позволяют удовлетворять любые желания гораздо быстрее и безопаснее, чем это представляется возможным за пределами веб-пространства. Все это расширяет границы социальной реальности, создавая цифровые пространства для получения нового, в том числе трансгрессивного опыта. Интернет предоставляет огромное количество коммуникативных практик для достижения этой цели. В контексте данной статьи мы рассмотрим, как происходит трансгрессия социальных рамок на примере таких виртуальных практик, как *онлайн-игры*, *киберагрессия*, *вебкаминг* и *порнография*.

Многие из современных компьютерных и консольных игр сегодня осуществляются в режиме онлайн. Эти игры во многом отличаются от офлайн-игр и обладают рядом существенных характеристик. Если вновь обратиться к классификации игр Роже Кайуа [Кайуа, 2007], мы увидим, что практически любая *онлайн-игра* сочетает в себе сразу все виды игр — соревновательную (пользователи играют против других пользователей), симуляционную (пользователь играет за какого-либо персонажа сюжета или создает собственного персонажа согласно своим предпочтениям), азартную (успех в игре во многом зависит от выпавших случайным образом параметров — карты, товарищей по команде, игровых «сокровищ» и т.д.) и даже головокружительную игру (когда в игровом пространстве пользователь в принципе забывает о существовании реального, неигрового мира). Для нас в данном случае важно, что структура онлайн-игр включает не только сюжет и задания для прохождения, но и очевидный социальный компонент, поскольку пользователи в таких играх вынуждены коммуницировать с другими пользователями. При этом социальная коммуникация принимает здесь особые формы. Например, пользователи ролевых игр создают кланы или группы, в которых выстраивают иерархические отношения, вступают в дружеские связи, несут ответственность перед участниками группы, — иными словами, имитируют социальные отношения в виртуальном мире. Таким образом, виртуальная реальность оказывается копией действи-

тельности: в ней действуют определенные законы (за нарушение которых игрока можно «выкинуть», исключить из игры), выстраиваются понятные социальные связи, происходит необходимая социализация, в ходе которой пользователь принимает правила игры, научается взаимодействовать с существующим игровым миром. Но, несмотря на все это, пространство онлайн-игры — это всегда пространство трансгрессии, поскольку даже существующие в игре четкие правила являются в каком-то смысле инверсией, искажением реальных законов и правил, а сам игровой мир — это мир эскапизма [Пожаров, 2014, с. 272], ухода от реальности.

В недавнем исследовании Филип Зимбардо писал, что «в виртуальном мире геймер может стать кем угодно, принять любой облик: он будет уважаем остальным сообществом, у него будет богатство и высокий статус — то есть все, чего большинство людей в реальном мире добиваются упорным трудом, учением и умением налаживать контакты с людьми» [Зимбардо, Коломбе, 2017, с. 47]. Награды в игровом пространстве заработать гораздо проще, чем в реальной жизни, а если и это не удастся, всегда можно переключиться с одной игры на другую. Кроме того, трансгрессивность онлайн-игр связана не только с выходом за границы существующей реальности, но и с возможностью осуществлять бесконтрольное и повсеместное насилие. Во многом именно это привлекает пользователей, для которых игра становится формой «выпуска пара», альтернативой регламентированной и упорядоченной социальной действительности. Связь насилия и игр давно является предметом многочисленных и разнообразных исследований. Мы не будем вдаваться в подробности этих исследований, рассмотрим лишь особенности насилия именно в онлайн-играх, которое существенно отличается от насилия в офлайн-компьютерных играх. В офлайн-игре пользователь играет против так называемых NPC (non-playable character), которые управляются компьютерными алгоритмами. В свою очередь в онлайн-игре практически за каждым персонажем стоит пользователь, и в этой ситуации насилие в такой игре — это всегда персонифицированное насилие: пользователь знает, что он «убивает» другого пользователя. Более того, во всех таких играх видны никнеймы пользователей, можно отследить, кто из пользователей несет ответственность за «убийство» вашего персонажа. Все это порождает довольно агрессивную культуру общения: в подклю-

чаемых голосовых чатах пользователи оскорбляют и угрожают друг другу, игра позволяет осуществлять виртуальное «надругательство» над телом врага, обозленные игроки начинают заниматься виртуальным, а иногда даже и реальным сталкингом (преследованием) своих врагов, и прочее. Многие исследователи компьютерных игр опасаются, что виртуальное насилие порождает насилие реальное [Богачева, 2018], психологи пытаются проследить связь между подростковой агрессией и онлайн-шутерами, однако вопрос о том, влияет ли агрессия в виртуальном мире на реальную поведенческую агрессию, остается открытым. Можно лишь сказать, что социальная коммуникация внутри онлайн-игр часто реализуется в формате киберагрессии, которая, однако, не является эксклюзивной характеристикой именно игровой коммуникации, но проявляется во всех аспектах социальной коммуникации в цифровом пространстве.

Социологические исследования 2019 г. показали³, что в среднем по миру пользователи тратят около шести с половиной часов на Интернет, для России это число несколько меньше — пять с половиной часов. При этом пользователи в основном используют это время для поиска информации в Интернете, осуществления покупки в онлайн-магазинах, чтения новостей, просмотра видео и общения в соцсетях, которое «съедает» львиную долю указанного времени. Россияне проводят в социальных сетях в среднем три часа пятнадцать минут в день. Таким образом, можно говорить о том, что социальная коммуникация через социальные сети становится существенным способом межличностного взаимодействия. Анонимность, дистанцированность пользователей друг от друга, отсутствие реального контроля и стремление производить и потреблять эмоционально нагруженный контент приводят к тому, что интернет-коммуникация часто принимает деструктивные формы: пользователь ощущает свою безнаказанность и позволяет себе выражать свою точку зрения в том числе грубыми и оскорбительными способами. Поскольку агрессия в виртуальном пространстве кажется ненастоящей, не приносящей реального ущерба, пользователи легко переходят от простого

³ Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. // We Are Social. 2019. 30 January. URL: <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> (дата обращения: 27.10.2019).

общения к *киберагрессии* в различных ее проявлениях, самым жестким из которых является интернет-травля, или *кибербуллинг*.

Под кибербуллингом понимается «вид травли, преднамеренные агрессивные действия систематически на протяжении длительного периода, осуществляемые группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействий, направленных против жертвы, которая не может себя защитить» [Хломов, 2018]. Это только один из возможных видов киберагрессии, которая, помимо буллинга, включает «флейминг (разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен репликами в Интернете между участниками в равных позициях), троллинг (размещение в Интернете провокационных сообщений с целью вызвать негативную эмоциональную реакцию или конфликты между участниками), хейтинг (ненавистнические комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции) и киберсталкинг (использование электронных средств для преследования жертвы через повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение)» [Солдатова и др., 2017, с. 105]. В отличие от Кастельса, который утверждал, что в цифровом пространстве происходит рост социальной стратификации и дифференциации согласно доступу пользователей к тем или иным интернет-ресурсам за счет наличия денег и времени [Кастельс, 2000], мы склонны соглашаться с исследователями, которые считают, что в современном виртуальном пространстве происходит «размывание границ между функциональными единицами социальной системы, переход системы в более нерасчлененное, синкретическое состояние» [Гугуева, 2013, с. 17]. Поскольку в нем отсутствуют естественная дифференциация и иерархия по экономическому признаку — все пользователи, независимо от реального статуса в реальной социальной системе, равны в онлайн-среде. По этой причине возникают «условия, в которых жертвой кибербуллинга может стать каждый вне зависимости от статуса, местонахождения или времени суток. Высокая доступность онлайн-коммуникации способствует увеличению аудитории свидетелей, которые могут поддерживать обидчиков, демонстрируя молчаливое одобрение и поощрение агрессии» [Солдатова и др., 2017, с. 105]. Это работает и в обратную сторону: осуществлять киберагрессию может любой пользователь

Интернета, независимо от своего реального статуса и положения в обществе. Если в реальной жизни мы вынуждены в большей степени следовать общепринятым социальным нормам и не можем безнаказанно реализовывать агрессивное и асоциальное поведение, то интернет-среда создает для пользователей «безопасное» пространство, в котором каждый может отыгрывать любые, даже самые деструктивные модели поведения, писать и говорить то, что считает нужным, так как Интернет до сих традиционно воспринимается как пространство тотальной свободы слова. Киберагрессия не нуждается в поводе, она может быть такой же бессмысленной, как посты и репосты в соцсетях. Ее задача — порождать эмоциональную реакцию, причиной же для такой агрессии может быть что угодно — от слов жертвы до изображения на аватаре.

Однако киберагрессия не является симулякрот агрессии: несмотря на бессмысленность и кажущуюся безвредность, любая интернет-травля может привести к реальным последствиям, в том числе к переходу киберагрессии в физическое насилие. Из-за стирания границ между допустимым и недопустимым в цифровом мире, а также между собственно реальным и виртуальным пользователи могут забывать о том, что законы киберпространства не действуют в материальном мире, и продолжать агрессивное поведение за пределами цифровых платформ. Кроме того, хотя для многих агрессоров интернет-буллинг представляется формой развлечения или шутки, последствия для жертв киберагрессии, даже при отсутствии физических повреждений, существенны в психологическом и даже личностно-профессиональном плане, поскольку к кибертравле относится также распространение фейковой информации о конкретном пользователе, что может привести к ухудшению отношений в реальной коммуникации или, например, увольнению с работы⁴, а также к другим, более серьезным последствиям.

Таким образом, мы видим, что цифровое пространство создает альтернативную социальную реальность с размытыми границами, в которых происходит трансгрессия реальных социальных

⁴ См.: Это как обычная травля, только в интернете... // Медуза. 12.12.2018. URL: <http://pgpalata.ru/2019/01/31/eto-kak-obychnaya-travlya-tolko-v-internete-takoe-byvaet-tolko-sredi-podrostkov-vazhnye-voprosy-pro-kiber-bulling> (дата обращения: 27.10.2019)

рамок. Интернет превратился в платформу для осуществления всех тех видов коммуникации, осуществление которых подвергается ограничению и контролю в офлайн-мире, таким как насилие и агрессия. Неудивительно, что Интернет также стал пространством, в котором пользователи нашли новые способы для выражения своей сексуальности, потому что «символическая сверхстимуляция в компьютерной коммуникации, безусловно, открывает дорогу сексуальным фантазиям, особенно поскольку взаимодействие не визуально и идентичность участника можно скрыть» [Кастельс, 2000, с. 342]. К ним относятся порнография, секстинг и вебкаминг.

По словам Зимбардо, «порно — это попытка компенсировать запрет на демонстрацию страсти и вожделения во многих сферах культуры, правда, делается это с большим перебором и в основном в Интернете» [Зимбардо, Коломбе, 2017, с. 122]. Поисковые запросы на порнографию являются одними из самых популярных⁵, при этом ресурсы Даркнета открывают доступ даже к законодательно запрещенному порно контенту. Это позволяет находить те виды стимуляции, которые по тем или иным причинам недоступны пользователю в реальности. Пользователи вовлекаются не столько даже в виртуальный секс, сколько в иллюзию секса, в иллюзию коммуникации. Но современные цифровые пространства открывают возможности и для непосредственной коммуникации в сфере сексуального взаимодействия. Это взаимодействие в основном имеет вуайеристский или эксгибиционистский характер. И то, и другое хотя и подвергается порицанию в рамках действительной социальной реальности, в широком масштабе присутствует в виртуальном пространстве.

Вуайеристские тенденции социальной коммуникации наиболее ярко представлены практикой вебкаминга, когда пользователи на специальных ресурсах и за определенную плату могут не только наблюдать за так называемыми вебкам-моделями (как женщинами, так и мужчинами), которые производят на камеру различный эротический контент в реальном времени, но и требовать от этих моделей осуществления своих эротических желаний.

⁵ См.: Один день в поиске. // Яндекс. URL: <https://yandex.ru/company/researches/2017/oneday> (дата обращения: 27.10.2019).

Здесь отыгрываются форматы поведения в контексте диалектики господина и раба, где пользователь ощущает себя господином, обладающим неограниченной властью и имеющим право требовать от человека на экране воплощать в жизнь свои сексуальные фантазии. Хотя очевидно, что именно вебкам-модель в этой ситуации обладает реальной властью над пользователем, поскольку имеет возможность вытягивать из него вовсе не виртуальные финансы. Вебкам-модели обучаются действенным коммуникативным навыкам и навыкам психологического воздействия, необходимыми для удержания клиентов и гарантии их возвращения на ресурс⁶. Для пользователей же такая коммуникация — это сублимация нереализованной власти над другим, которая не осуществима за пределами интернет-пространства.

Эксгибиционистские тенденции межличностного виртуального взаимодействия чаще всего проявляются в формате секстинга — пересылки сообщений или фотографий интимного содержания посредством современных средств коммуникации. Есть несколько уровней этого явления: первый, когда участники данной коммуникации состоят в определенных отношениях, и обмен сообщениями подобного рода происходит по взаимному согласию; и второй, когда фотографии интимного содержания отправляются знакомым и незнакомым людям без их разрешения, превращая секстинг в сексуальное насилие. Отдельным известным в интернет-кругах проявлением второго уровня являются так называемые «дикпики» — фотографии эрегированного полового члена, которые мужчины отправляют в личные сообщения женщинам. В этом феномене можно проследить множество разнообразных коннотаций. С одной стороны, эти изображения являются прямыми потомками фаллоцентрической культуры древности, когда изображения фаллоса можно было встретить на фресках, барельефах, в храмах, в форме оберегов и т. п.⁷ В этом контексте их стоит рассматривать как превознесение фаллоса в его самом

⁶ См.: Вебкаминг изнутри // BBC News. Русская служба. 2017. 11 августа. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-40885612> (дата обращения: 27.10.2019).

⁷ См.: Есть вопрос. Зачем мужчины отправляют фото своего члена (без спросу)? // The Village. 2018. 26 октября. URL: <https://www.the-village.ru/village/city/asking-question/329733-dikpik> (дата обращения: 26.10.2019).

простом, естественном смысле — как источник плодovitости и мужской силы. С другой стороны, это может пониматься как попытка вернуть утраченную доминантность. Современная меритократическая культура давно уже перешла от превознесения реального фаллоса к культу фаллоса символического, проявляющегося в любых достижениях в рамках мужского мира — будь то карьера, материальные блага, мощные автомобили и т. д. Те же, кто не может добиться подобных высот в реальной социальной иерархии, пытаются достичь успеха в виртуальном мире с его довольно условным механизмом социальной дифференциации. И проявлением недвусмысленной власти и доминирования становится навязывание другим пользователям изображений эротического характера против их воли, подчинение других своему сексуальному желанию. Дикпики можно также вписать в дискурс фрейдизма как доминирование мужского над женским за счет стимулирования условной «зависти к фаллосу» через его непосредственную демонстрацию [Сузова, 2014, с. 176–181]. В любом случае этот феномен является порождением именно цифровой коммуникации: сегодня образ эксгибициониста, распахивающего свой плащ перед прохожими, остается разве что в анекдотах, в то время как секстинг и дикпики — это реальность, с которой сталкивается помимо своей воли множество людей (согласно данным опроса Mail.ru⁸, 57 % опрошенных женщин получали фото пениса, но только 18 % опрошенных просили об этом).

Подводя итог, можно констатировать, что чем шире поле возможностей современных медиаресурсов, тем шире палитра доступных индивиду трансгрессивных практик, которые он может осуществлять за пределами действительной социальной реальности. Таким образом, необходимо признать, что в цифровую эпоху сущность социальной коммуникации в корне меняется, поскольку «реальная жизнь почти в каждом своем аспекте вынуждена соперничать со своим цифровым двойником» [Зимбардо, Коломбе, 2017, с. 113]. Человек потребляет все больше и больше информации, которая при всем том является очень мало смысло-

⁸ См.: Нагорная О. Дикпик: рады ли женщины интимным фото от незнакомцев // Lady.Mail.ru. 2018. 22 июля. URL: <https://lady.mail.ru/article/502633-dikpik-rady-li-zhenshhiny-intimnym-foto-ot-neznakomtsev> (дата обращения: 25.10.2019).

нагруженной, возникают новые способы взаимодействия между людьми, которые могут осуществляться исключительно в киберпространстве. Анонимность и вседозволенность виртуального мира требуют поднимать дискуссии о свободе слова и праве человека на защиту достоинства личности. Тем не менее вопрос о том, как оценивать и объяснять все эти явления, остается открытым. В данном очерке мы попытались рассмотреть, какие изменения происходят в контексте социальной коммуникации при ее переходе в медиaproстранство, какие факторы влияют на эти изменения и какие практики возникают в ходе совмещения действительного и виртуального, для того, чтобы показать, что современная цифровая среда создает абсолютно новую версию социальной реальности, анализ которой является предметом дальнейших философских, социологических, культурологических и иных исследований.

Литература

- Богачева Н. Исследование компьютерных игр в психологии // Постнаука. 2018. 21 сентября. URL: <https://postnauka.ru/video/89452> (дата обращения: 27.10.2019).
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015.
- Гугуева Д. А. Процессы дифференциации в сообществах глобальной сети Интернет: автореф. дис. ... канд. социолог. наук. Ростов-на-Дону, 2013.
- Ершов Ю. М. Феномен фейка в контексте коммуникационных практик // Вестник ТГУ. Филология. 2018. № 52. С. 245–256.
- Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря идентичности. М.: Альпина Паблишер, 2017.
- Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
- Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 75–87.
- Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.: Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003.
- Миннуллина Э. Б. Коммуникативное пространство в контексте трансформации философии. // Исторические, философские, политические и юри-

- дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 4 (42): в 2-х ч. Ч. II. С. 131–134.
- Мороз О. Цифровая среда // Постнаука. 2017. 27 апреля. URL: <https://postnauka.ru/video/75092> (дата обращения: 27.10.2019).
- Пожаров А. И. Многопользовательская ролевая онлайн-игра как новый вид культурной коммуникации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. Т. 6, № 6. Ч. 2. С. 270–273.
- Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Львова Е. Н. Онлайн-агрессия и подростки: результаты исследования школьников Москвы и Московской области // Эпоха науки. 2017, № 12. С. 103–109.
- Сурова А. Б. Проблема мужского и женского: «фаллоцентризм» и «самочность» // Вестник РГГУ. Философия. Социология. Искусствоведение. 2014. № 10. С. 176–181.
- Хломов К. Кибербуллинг // Постнаука. 2018. 30 мая. URL: <https://postnauka.ru/longreads/86459> (дата обращения 27.10.2019).
- Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 42–59.
- Ярославцева Е. И. Философия цифрового пространства // Гуманитарные чтения — 2008. Конференции. Научные семинары. Сборник статей. М.: РГГУ, 2009. С. 71–88.

Трансформация понятия благотворительности в условиях постинформационного общества

Статья посвящена трансформации понятия благотворительности в современном информационном и постинформационном обществе. Автор считает, что благотворительность перестает быть частным делом, но контролируется и управляется обществом. Вместе с тем общие цели благотворительности по-прежнему имеют прямое отношение к людям, принадлежащим к нуждающейся в поддержке социальной группе. Автор настаивает, что сегодня необходимо говорить о параллельном существовании традиционной благотворительности и новой благотворительности. Традиционная благотворительность основана на самоотдаче и личной жертве, направлена всем без исключения индивидуумам. Она соотносится с категорией абсолютного морального блага. В новом виде благотворительности на первый план выходят исключительно экономические инструменты и решения проблемы бедности, а объектом становится не конкретная нуждающаяся в помощи личность, а крупные системы, общественные институты, даже целые страны. Благотворительная деятельность все чаще привлекает внимание экономических элит и заинтересованный во вложениях бизнес. Создаются новые формы благотворительного инвестирования, которые подразумевают масштабное социальное воздействие и непереносимое извлечение финансовой прибыли. Плоды глобализации благотворительности видятся в искоренении бедности, достижении продуктового равенства, укреплении демократии, возрастании солидарности людей и в преодолении коррупции. В связи с этим автор актуализирует интеллектуальные интуиции: Л. Саламона, М. Нуссбаум, П. Вирильо, Ж. Бодрийяра. Автор обосновывает тезис, что понятие благотворительности не исчезло, хотя и трансформировалось вместе с постинформационным обществом, которое постепенно ставит под информационный контроль все виды социальной деятельности человека.

Ключевые слова: благотворительность, филантропия, филантрокапитализм, жертва, милосердие, постинформационное общество.

Традиционное рассмотрение понятия благотворительности напоминает о том, что этот вид социальной деятельности изначально не предполагает получение прибыли, а основная ее цель является гуманной социальной трансформацией. Однако благотворительность и филантропия (синонимичное, более обширное понятие,

которое охватывает все виды добровольной помощи нуждающимся людям) в условиях стремительно изменяющегося информационного и постинформационного общества нередко привлекают пристальное внимание экономических элит, филантропы широко используют электронные технологии вовлечения финансовых доноров и приемы частного бизнеса, при этом создаются принципиально новые формы инвестирования, которые подразумевают тотальное извлечение финансовой прибыли, в результате чего происходит потеря первоначальных смысловых ориентиров и обогащение отдельного жертвователя. Наблюдается и современная трансформация исторических видов филантропии — в жизнеспособные, наполненные актуальными идеями и смыслами формы. Подобная трансформация в отечественной истории происходила и раньше, хотя и более медленными темпами и под влиянием других социально-культурных и экономических факторов, поскольку «благотворительная деятельность в некотором роде, — творчество отдельной личности, группы единомышленников, самого общества. Устаревшие “официозные” формы, умирая, конденсируются, собираются в государственном аппарате, но здоровое общество вновь воспроизводит в новых, более жизнеспособных формах свою идею» [Кашпур, 1999, с. 40]. Милостыня как единственная форма личной благотворительности уступила место филантропическим союзам и комитетам, которые в свою очередь также прекращали существование, освобождая место другим общественным формациям. Постепенно первое место в решении вопроса помощи бедным стала занимать государственная социальная помощь. Очевидно, что в целом благотворительность не является закостенелой формой, но представляет собой творческий и преобразующий социальный акт. Выступает ли сегодня благотворительность в виде фактора социального согласия? Стоит ли говорить о том, что, поскольку само общее понятие благотворительности в общественном и в индивидуальном сознании значительно трансформировалось и зачастую не соотносится с категорией абсолютного блага, необходимость в ее традиционных формах полностью отпала? Упоминая об общественном сознании, мы имеем в виду не только сознание отдельной личности, но духовную жизнь вообще, внешне отображенную в нравственных поступках, а также — в языке, основополагающих этических понятиях и формах культуры.

Стоит отметить, что благотворительность бурно развивается и видоизменяется. Постоянно ведется поиск современных путей решения проблем абсолютной и относительной бедности. В последние десятилетия открыты принципиально новые формы филантропии и актуальный феномен преобразующих общество социальных инвестиций. Благотворительность по-прежнему связывают с эффективным решением проблемы социального неравенства. Специалист в области изучения некоммерческого сектора и гражданского общества Лестер М. Саламон считает, что: «Мир благотворительности, похоже, переживает «большой взрыв», сравнимый — если не по форме, то по последствиям — с тем, который, как считается, привел к появлению нашей Вселенной» [Саламон, 2016, с. 6]. При этом наблюдается отсутствие единой терминологии для описания всех современных благотворительных ресурсов, а также масштабного осмысления их преобразующей роли в экономике некоммерческого сектора. Благотворительность видится не только одним из важнейших и перспективных механизмов решения проблем абсолютной и относительной бедности, но и проблем экологии, демократии, защиты окружающей среды, образования, защиты животных. Философ и филантроп Питер Сингер так определяет актуальные цели современной благотворительности: «Но если меня спросят, куда направить благотворительные средства, то я отвечу однозначно. При выборе между финансированием культурного проекта и борьбой с экстремальной бедностью, я думаю, надо выбирать второе»¹. Питер Сингер выделяет также принципиально новое направление в современной благотворительности — заботу о животных.

Французский мыслитель и писатель Жорж Батай ввел в философскую науку понятие «симулякр», который напоминает копию чего-то, но не имеет в реальности самого оригинала, либо со временем утратил с ним связь. Жан Бодрийяр применил термин к концепции окружающего мира, где общество заменило реальность и смысл на символы, и весь человеческий опыт — это симуляция реальности; при этом копия встала на место оригинала, появился феномен прелессии симулякров, которая «порождение моделей ре-

¹ Новая газета. 2018. № 127. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/16/78600-ya-veryu-v-ratsionalnoe-ubezhdenie> (дата обращения: 13.09.2019).

ального без оригинала и реальности: гиперреального» [Бодрийяр, 2018, с. 4]. Это в полной мере можно отнести и к современной благотворительности, которая в контексте информационного и постинформационного общества (деление весьма условно) нередко становится набором форм и языковых конструкций, лишенных содержания; наблюдается разрыв понятийной связи с реальностью, с объектом благотворительности. Наблюдения показывают, что современных видов благотворительности существует достаточно много: венчурная филантропия, гранты, спонсорство, меценатство, волонтерская деятельность, фандрайзинг, донорство, электронные пожертвования в Интернете, SMS-пожертвования, благотворительность для животных и другие. Можно говорить о том, что на наших глазах зародился филантрокапитализм, который напрямую связан с экстремально богатыми личностями, как известными широкому кругу общественности, так и анонимными филантропами, не желающими огласки своего имени в СМИ. Лестер М. Саломон объясняет феномен следующим образом: «Это капиталисты, но с филантропической ориентацией, люди, которые организуют компанию, зарабатывают капитал, а после думают: “Что же мне теперь со всеми этими деньгами делать?” На этой основе у них появляется мотивация обратиться к социальным нуждам общества. Это как раз то, что произошло с Биллом Гейтсом, с Марком Цукербергом. Это люди, которые делятся своими деньгами с обществом, но в то же время их нельзя назвать чистыми филантропами. Они большое внимание уделяют финансовым инструментам, развитию своего бизнеса и при финансировании социальных проектов используют именно технически сложные финансовые решения, новые инструменты в филантропии, чисто финансовые. Через эти финансовые инструменты у них появляется возможность привлечь и аккумулировать гораздо больше частного капитала»². В новом виде благотворительности на первый план выходят исключительно экономические инструменты и решения, а объектом становится не конкретная нуждающаяся в помощи личность, а крупные системы, общественные институты даже целые страны. Плоды такой глобализации благотворитель-

² Костарнова Н. «Российские финансовые институты не знают о новых тенденциях в благотворительности» // Филантроп. Электронный журнал о благотворительности. 2016. 27 сентября. URL: <https://philanthropy.ru/intervyu/2016/09/27/41420> (дата обращения: 13.09.2019).

ности видятся в искоренении всех видов бедности, в преодолении коррупции, усилении демократизации общества, достижении продуктового, образовательного и социального равенства, формированию солидарности людей.

Что же тогда является настоящей благотворительностью, соотносящейся с категорией блага, а что лишь симулякр, форма, лишенная связи с исходной реальностью? Очевидно, личность, которая участвует в филантропическом проекте в качестве жертвователя, совершает это добровольно, даже если гуманные цели не достигаются, моральные основы деформируются, вскрываются: неэтичность и симуляция смысла, нецелевое расходования ресурсов. Жертвователь сохраняет внутренний покой и решимость продолжать свою деятельность, даже если не имеет постоянной связи с источниками достоверной информации о результатах своего акта. Он наделяет собственным смыслом благотворительный акт, внутренне называет его, продолжительное время рисует в воображении картину идеального, справедливого и трансформируемого мира. Возможно, потребность в благотворительном мифе — это всего лишь приобретенная привычка, которая умело поддерживается социальными институтами и эксплуатируется СМИ. Например, огромное число современных благотворительных организаций продолжает использовать в своих названиях понятия, соотносящиеся по смыслу с традиционным восприятием милосердия, сострадания, добра, нравственных и семейных ценностей («Добро», «Сострадание», «Помощь», «Милосердие», «Батюшка», «Благо» и другие). Создатели организаций и фондов пытаются внушить мысль, что обращение жертвователей к такой организации за посредничеством в области благотворительности обязательно приводит к формированию традиционных нравственных ценностей, действенной помощи конкретному лицу. Однако в целом доверие общества к деятельности благотворительных организаций невелико. Это связано со злоупотреблениями и хищениями материальных средств в этой сфере, что неоднократно отмечалось рядом исследователей благотворительности³, становилось пред-

³ Как воруют в благотворительности // Живое Предание.py. URL: <https://blog.predanie.ru/article/kak-voruyut-v-blagotvoritelnosti> (дата обращения: 13.09.2019).

метом обсуждения экономических форумов и круглых столов. Отмечается, что одна из крупных проблем этой области заключается в том, что «в России с 2017 года действует закон об НКО, но пока отсутствуют и профессиональные стандарты качества оказания социальных и благотворительных услуг, и рекомендации к стандартам публичной отчетности благотворительных организаций»⁴. Другими словами, донору совершенно невозможно объективно проконтролировать деятельность современных благотворительных организаций, дать оценку этичности и благодости действий по распределению аккумулированных ресурсов.

Контекстом процесса трансформации понятия благотворительности является описанное мыслителем Полем Вирилио телеприсутствие эпохи глобализации: тотальное слежение за индивидуумом при помощи видеокамер, телевидение уступает теленаблюдению, наблюдается превращение городов в виртуальные мегаполисы, устанавливается жесткий информационный контроль интернет-сетей; «на месте реального города, занимавшего определенное пространственное положение и отдавшего все, вплоть до имени, национальной политике, появляется город виртуальный, мегаполис, лишенный своей территории и готовый стать юрисдикцией откровенно тоталитарной или даже глобалитарной метрополитики» [Вирилио, 2009, с. 44]. В таком виртуальном городе действительно неимущие и мошенники собирают виртуальные пожертвования, нищим давно уже нет смысла сидеть на улице, ища подаяния прохожих, им никто не протянет даже мелкую монету, поскольку все финансовые средства находятся на банковских карточках, обращение финансов тотально контролируется. Никто никому больше не верит, плач жертвы не вызывает скорого сочувствия общественности, личная просьба о помощи не воспринимается как объективная проблема. Благотворительность в эпоху глобализации не только принимает новые формы, но внешне регулируется.

Появился виртуальный рынок благотворительности, где лица нуждающихся в помощи выставлены на всеобщее обозрение.

⁴ Доверие в благотворительности: от этического кодекса к профессиональным стандартам // ТАСС. 2020. 29 мая. URL: <https://tass.ru/pmef-2017/articles/4291497> (дата обращения: 13.09.2019).

Описание болезней, увечий и страданий должно придать эмоциональный окрас деянию, побудить к эмоциональной реакции, на основе которой зачастую и совершаются крупные пожертвования. Обязательными посредниками выступают благотворительные организации, банки и фонды, гарантирующие честность распределения средств, охотно берущиеся за донесение необходимой помощи до адресата. Мы живем в обществе, описанном Вирилио, где наука превращается в оптическую технонауку, а политика, общественная деятельность и благотворительность постепенно обесцениваются. За спроецированным изображением исчезает конкретная личность, которой необходимо помочь, на ее место приходит личность виртуальная, искусственный образ, созданный при помощи телеэкрана, смартфона и гаджета. Неторопливо, как тяжелый неповоротливый исполин, возникает масштабный искусственный горизонт монитора с медийной личностью во главе, при полном исчезновении личности реальной, у донора разрывается представление о внутреннем и внешнем. Умолкают в безразличной пустоте риторические вопросы чувствительной к боли другого личности: «Кто мой ближний? Кто теперь является объектом моей помощи? Как я пойму, что он действительно нуждается?» В трансформированном виртуальном обществе эти вопросы остаются без удовлетворительного ответа. Возможно, такое общество в перспективе ждет полное глубокое разочарование в традиционной благотворительности. Нуждающихся ближних донору предложено много, выбор объектов благотворительности весьма велик, рынок структурирован, только среди многообразия невозможно отыскать настоящего, живого человека, действительно попавшего в беду. Вероятно, полностью исчезнет и необходимость жертвовать лично и предметно, останется лишь филантропия через посредничество фондов или финансовых структур. Поскольку благотворительность естественной потребностью не является, это лишь выбор субъекта, то добровольную функцию распределять блага и заботиться вскоре возьмет на себя новое глобальное общество, контролирующее субъект в целях безопасности. Вирилио предостерегает: «Появление трансляции в реальном времени, “прямого включения”, связанного с использованием предельной скорости электромагнитных волн, преобразует старое “телевидение” в полномасштабное планетарное видение.

Появление CNN и его аватара означает то, что привычное телевидение уступает место теленаблюдению. Внезапно развившееся высматривание, результат использования медийного контроля в целях безопасности наций» [Вирилио, 2009, с. 46]. Средства личности постепенно полностью переходят под внешний контроль, а финансовая безопасность передается в руки виртуального общества. Это не вызывает чувства отторжения, ведь виртуальные технологии давно стали частью окружающей действительности. Социолог Энтони Гидденс настаивает, что «наше мышление и восприятие окружающего мира формировались под влиянием телевидения и Интернета» [Гидденс, 2005, с. 49].

Благотворительность трансформируется вместе с активно меняющимся общественным сознанием. Автор данной статьи много лет активно сотрудничает с различными общественными и религиозными благотворительными организациями, что, несомненно, влияет на его мировоззрение. За десятилетия такой работы однозначное понимание благотворительности как действенной формы филантропической помощи сменилось многозначным, в котором больше вопросов, чем ясных ответов. Основной нерешенный вопрос — о наличии трансформирующей благотворительности. Кого больше изменяет современная благотворительность: человека-жертву или донора-мецената? Мыслитель Поль Вирилио считает, что на смену общества тюрьмы, описанного Мишелем Фуко, приходит общество тотального виртуального контроля, распространяющегося на всех граждан. Применительно к нашему предмету рассуждения это значит, что в современном контексте благотворительность перестает быть частным делом, но контролируется и управляется обществом. В качестве примера, можно привести появление новой эмоциональной *истерической благотворительности* (курсив наш. — А.П.), происходящей под влиянием вирусных видеороликов и нагнетаемых СМИ информационных пропагандистских кампаний. Мы — невольные участники грандиозных благотворительных экспериментов, наблюдатели трансформации старых и зарождения новых форм филантропии. Лестер М. Саламон настаивает на мысли, что: «В условиях, когда ресурсы и правительств, и традиционных благотворителей практически не растут или сокращаются, а проблемы бедности, ухудшения здоровья и деградации окружающей среды усугубляются ежедневно,

все очевиднее становится необходимость новых моделей финансирования и достижения социальных и экологических целей. Появилось множество новых инструментов и институтов финансирования социально ориентированной деятельности» [Саламон, 2016, с. 6]. Традиционные формы благотворительности в современном обществе радикально трансформировались, поскольку возникли принципиально новые инструменты финансирования социальных проектов, идет бурное развитие благотворительного предпринимательства, «в новых секторах благотворительности разворачивается настоящая революция, способная, хотя бы отчасти, ответить на этот вызов. Суть этой революции выражается в массовом возникновении новых возможностей для благотворительности и социального инвестирования, новых инструментов и институтов, призванных мобилизовать частные ресурсы на поддержку социальных и экологических инициатив» [Саламон, 2016, с. 6]. При этом новые благотворители сохраняют высокий уровень доходности, а инвесторы капитала достигают социального воздействия.

Сложно представить, но получение прибыли становится в центр новой благотворительности. Здесь уместно вспомнить грозное предупреждающее утверждение Карла Маркса: «В ледяной воде эгоистического расчета буржуазия потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности» [Маркс, Энгельс, 1955]. Так ли это на самом деле? Благотворительная деятельность все чаще привлекает не только благосклонное внимание экономических элит и заинтересованный во вложениях частный бизнес, но сама воспроизводит новые формы инвестирования, которые подразумевают масштабное социальное воздействие и неременное извлечение финансовой прибыли. Лестер М. Саламон предлагает для обозначения таких новых форм благотворительности использовать термин *рычаг* (курсив наш. — А. П.), то есть «механизм, с помощью которого при приложении сравнительно небольших усилий достигается значительный эффект» [Саламон, 2016, с. 7], который в контексте целей благотворительности «означает найти способ выйти за рамки ограниченных ресурсов, формирующихся за счет поступлений от активов фондов или ежегодных пожертвований частных лиц, и направить на социальные и экологические цели часть го-

раздо более масштабных инвестиционных активов, постоянно находящихся в банках, пенсионных фондах, страховых компаниях, взаимных фондах и на счетах состоятельных собственников» [Саламон, 2016, с. 8]. Возникает полностью новая парадигма, отличающаяся от существовавшей устаревшей модели. Лестер М. Саламон также настаивает на коренном различии двух видов благотворительности, поскольку «традиционная благотворительность направляет помощь в основном неправительственным организациям, новые инвесторы поддерживают и разнообразные социальные предприятия, кооперативы, другие гибридные организации. В то время как традиционная благотворительность рассматривает свою работу через призму пожертвования, сосредотачиваясь исключительно или, по меньшей мере, в основном на социальном воздействии, действующие лица в новых областях благотворительности рассматривают свою работу через призму инвестиций, фокусируясь как на социальном воздействии» [Саламон, 2016, с. 9]. Несомненно, актуален и важен поиск новых экономических методов воздействия на социально неблагополучное общество и своевременных решений проблемы бедности. Лестер М. Саламон далее утверждает, что «подходы, ориентированные на рыночные отношения, продолжают работать даже тогда, когда заканчиваются пожертвования филантропов. Поэтому они должны стать частью решения большой проблемы бедности» [Саламон, 2016, с. 48]. Нельзя не согласиться с утверждением ученого, что новая благотворительность — лишь часть решения проблемы чудовищной бедности, которая приобрела масштабный характер, нарастает и требует всестороннего осмысления. Очевидно, что исторически не сложилась никакая форма науки о благотворительности. Возможно, потому, что филантропия ориентирована на результат, который всегда субъективен. Оценить практику благотворительного влияния весьма сложно. Вероятно, с этим фактом отчасти связана попытка Лестера М. Саламона переориентировать дискурс по вопросам благотворительности в сугубо экономическое русло, уходя от духовно-нравственных категорий, где не избежать оценочных суждений и эмоциональных пристрастий. Как работает новая филантропическая система? Насколько успешна данная практика? Какими методологическими инструментами и в каком контексте возможно объективно оценить ее результаты? Кто определяет, какие инсти-

туты нуждаются в благотворительной трансформации, а какие — нет? Ответы на эти вопросы пока открыты для широкой научной дискуссии.

Несмотря на то что в вышеупомянутой новой парадигме благотворительности ведущее место уделяется решению проблемы преодоления социальной несправедливости и бедности, исследователем нивелируется ясное осмысление аксиологических основ, а также — внутренних движущих механизмов благотворительности, присущих ее традиционным формам, отсутствуют понятие *жертва* и *жертвенность* (курсив наш. — А. П.), не замечается духовно-нравственный смысл, составляющий мировоззренческую основу филантропии. Нам представляется, что демаркационная линия кризиса проходит не только в экономической сфере и области несправедливого распределения ресурсов, но и в сфере нравственности, где наблюдается обесценивание личности человека, идентичности, языка, культуры и жизни, как высшей ценности. Утрата морали, как и экономический спад, ставит перед вдумчивым исследователем новые задачи в области благотворительности. Финансы определенно не являются универсальной абсолютной духовной ценностью, и их перераспределение в пользу нуждающихся не видится как актуальная сверхзадача, а благо как абсолютную категорию невозможно измерить, суждение о нем субъективно.

Стоит отметить, что традиционная благотворительность изначально исходит от потребности личности в общении, а также в глубинном побуждении явить нуждающемуся лицу любовь и сострадание. Эта концепция благотворительности (филантропия, милостыня, пожертвование и прочее) в общественном сознании прочно связано с абсолютным моральным благом, милосердием и безвозмездным даянием. Мы не склонны соотносить каждое проявление благотворительности с религиозностью или человеколюбием. Возможно, природу феномена надо также искать в общении, в котором испытывает потребность любая личность вне зависимости от возраста, пола или общественного статуса. Акт благотворительности уподобляет личность жертвователя Трансцендентному Другому, который снисходит для благого даяния к несчастному, трагически потерявшемуся на границе существования. В этом контексте отказ от абсолютного блага является без-

нравственным поступком, выбором зла, которое представляется недостатком добра. Моральное благо в любых социальных условиях стремится к расширению границ добра, устранению его недостатка. Невозможно, оставаясь моральным, пройти мимо попавшего в беду человека, не накормить голодного, не оказать помощь больному, не напоить жаждущего. Жертвователь в процессе добровольного подаяния, пусть на краткий миг, становится монархом, творящим милость и распространяющим благо. Это религиозный и сакральный акт временного или постоянного восстановления справедливости. Идеальный традиционный благотворитель — это Король-Солнце в пьесе Жана Батиста Мольера «Тартюф». Монарх появляется своевременно, в экстремально опасный момент, его миссия — масштабная помощь, справедливое и мудрое восстановление всего разрушенного и поруганного. Он не просто создает новый порядок и материальную основу, но главное — возвращает веру людей в высшую справедливость, направляет их взоры к Трансцендентному:

Расстаньтесь, сударь мой, с тревогой справедливой.
Над нами царствует монарх правдолюбивый,
Монарх, чей острый взор пронзает все сердца
И не обманется искусством хитреца.
Он, прозорливостью великой одаренный,
На все бросает взгляд прямой и неуклонный;
Он увлечения не знает никогда,
И разуму его несдержанность чужда.
Заслуженных людей он славой украшает,
Но рвение благих его не ослепляет,
И вся любовь к добру не заглушает в нем
Ни отвращения, ни гнева перед злом⁵.

Традиционное представление о жертвенности тесно связано с личной благотворительностью и милосердием. Примером такой деятельной жертвенности является Христос, который в контексте религиозной литературы нередко называется Солнцем Правды. Эта благотворительность основана на любви к добру, самоотдаче и личной жертве, направлена всем без исключения индиви-

⁵ Мольер Ж. Б. Тартюф, или Обманщик. Скупой / перев. М. Л. Лозинского. СПб.: Лениздат, 1996. С. 222.

дуумам, ее не останавливает отсутствие результатов или взаимности. Словно лучи солнца, она согревает добрых и злых, бедных и богатых. Акт традиционной благотворительности определенно соотносится с категорией абсолютного блага. Коллективная благотворительность уравнивает жертвователей, способствует социализации, делает их сопричастными нуждам другого, рождая чувство общего удовлетворения и значимости акта. В процессе благотворительной деятельности происходит объединение людей разных социальных групп для активного совместного действия, формирование взаимообогащающих и доверительных отношений между личностями, мобилизация общих этических ценностей, что служит достижению стойкого положительного результата. Она известна с древнейших времен и подробно описана в Евангелии от Луки, в притче о милосердном самарянине (Лк 10:25–37). Автор не имеет возможности заниматься подробной экзегезой данного фрагмента. Однако следует обратить внимание на то, что в контексте Евангелия благотворительность является синонимом милосердия, своевременной и личной помощью, с вовлечением собственных средств, чаще всего без посредников. Благотворительный акт, несомненно, это «инстинктивное благоговение перед жизнью» [Ортега-и-Гассет, 2007, с. 562], которое подавляет всякий пессимизм. Это не только личная жертва: средств, навыков, времени или ресурсов, но отдача себя, расширение границ добра, устранение изъянов зла, а также — демонстрация того, что жертвователь не связан рамками материального. Папа Иоанн Павел II объясняет это так: «Христианство учит, что жизнь суть добро, что сущее есть добро; оно исповедует доброту Творца и учит, что творения суть благие. Человек страдает из-за зла, которое является неким недостатком, ограничением, повреждением добра. Можно было бы сказать, что человек страдает по причине добра, в котором он не участвует, которого в каком-то смысле лишен или сам себя лишил» [Иоанн Павел II, 2001, с. 8]. В дальнейшем своем развитии традиционная благотворительная деятельность привлекает ресурс общины единомышленников, становится коллективным дыханием милосердной любви, что хорошо видно в диаконическом служении общины первых христиан (Деян. 6:1–6). Папа Иоанн Павел II проводит параллель милосердием и общественной миссией современной благотворительности: «милосердная деятель-

ность “доброго самарянина” может быть названа общественной деятельностью; она может также определяться как апостолат...» [Иоанн Павел II, 2001, с. 43]. В ближних, прежде всего бедных и больных, Церковь видит самого Христа, потому в традиционной благотворительности любовь обретает конкретную форму, становится возможностью для христиан проявить свою веру и приумножить число «кладов благочестия».

Стоит отметить, что диаконическая деятельность как историческая форма не исчезла, но существует и в условиях постинформационного общества. Именно христиане создали первые общественные благотворительные организации и ввели в них принципы справедливости римского права. Например, в католичестве идея благотворительности зримо опирается на концепцию Абсолютного блага и спасения с помощью добрых дел, которые являются проявлением истинной веры, манифестацией высшей любви, практикой добродетели. Социальная политика и теория общественной работы изложена в энциклике «*Requiem Novarum*» Папы Римского Льва XIII, где ясно обозначены истоки христианской благотворительности: «Братская любовь первых христиан была так сильна, что те, кто побогаче, отказывались от имущества, чтобы помочь братьям; потому и “не было между ними никого нуждающегося” (Деян. 4:34). На диаконов, чья должность для того и установлена, возлагали попечение о ежедневной милостыне; апостол же Павел, обремененный заботами о всех церквях, предпринимал нелегкие путешествия, чтобы доставить вспомоществование более бедным христианам. Тертуллиан называет эти добровольные пожертвования “кладами благочестия”, ибо, по его словам, употреблялись они “на прокормление нуждающихся и на погребение, на воспитание бедных сирот, на помощь престарелым и потерпевшим крушение” (Ап. II, 39)» [Лев XIII, 1991, р. 14].

Упоминание об этой форме благотворительности в данной статье обусловлено тем фактом, что она успешно существует и не входит в конфликт и конкурентные отношения с моделями новой благотворительности. В такой системе добрые дела подразделяются на материальные и духовные. Материальными делами, соотносящимися с социальной благотворительностью, считаются: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, принять странника в свой дом, посетить больного, похоронить, навестить

заключенного в тюрьме. Духовные, миссионерские дела — научить непросвещенного Истине, утешить скорбящего, дать добрый совет сомневающемуся, прощать обидчиков, молиться за живых и усопших. Благотворительность исходит из уважения к человеческому достоинству каждой личности и необходимости защищать ее от несправедливости ряда общественных структур и институтов. Стоит отметить и глубокий психологизм такой формы традиционной благотворительности. Достоинство каждого человека выражается в том числе в качественных условиях социальной жизни. К неотъемлемым правам личности относятся: право на питание, отдых и жилище, на труд, образование и доступ к культуре, на транспорт, на охрану здоровья, право на свободный доступ к информации и свобода совести. С защитой данного от Бога достоинства каждой личности связана третья основа католической благотворительности — общее моральное благо. Отсюда происходят основные принципы социальной subsidiarity и человеческой солидарности, которые также восходят к идеям Платона и Аристотеля и получают свое наибольшее практическое развитие после Первого Ватиканского собора (1869–1870) в общественной деятельности Церкви, которая в католической литературе нередко называется *Мать богатых и бедных* (курсив наш. — А.П.). В развитии идей и практики христианской благотворительности видится глобальная озабоченность судьбой мировой и общеевропейской цивилизации. Религиозность, мы понимаем в широком смысле, как связь с Идеалом, уподобление справедливому высшему иерарху; следование нормам и канонам определенной конфессии не всегда является единственной интенцией благотворительности.

Современные СМИ закрепляют у человека устойчивый положительный образ и тоталитарный характер общества потребления, которое становится на место справедливого судьи и иерарха, исполнителя социальных нужд. Незамедлительное восполнение любой материальной потребности и реализация субъективного желания манифестируются как обязательное проявление свободы воли и независимости человеческого выбора. Впору говорить о необходимости идейной, нематериальной нравственной и этической благотворительности. Мы живем в эпоху нравственного релятивизма и эгоцентризма, где любое личное проявление морального добра

выглядит как героический поступок и человеколюбивый подвиг. Однако традиционная благотворительность — от человека к человеку, без посредников, без награды и саморекламы, без теленаблюдения и PR-кампаний — не перестала существовать, она трансформировалась вместе с обществом, принимая новые социально значимые формы. В качестве примера мы приведем современное высшее образование, которое в подавляющем большинстве стран повсеместно становится платным и недоступным для детей из социально незащищенных слоев общества: матерей-одиночек, многодетных, семей с низким уровнем доходов. При таком подходе талантливый абитуриент из провинциальной глубинки нередко полностью лишается возможности поступить в престижный университет. Единый аттестационный экзамен, который внешне уравнивает возможности абитуриентов, превращается в нелепый фарс, поскольку успех будет иметь тот учащийся, который подготовился с помощью платного репетитора, или способный иным способом преодолеть безликую систему. Выходом видится оплата обучения талантливых студентов при помощи финансовых взносов и инвестиций, поступающих от элит, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных кадров для наращивания научного потенциала. Такая социальная жертвенность является не столько формой благотворительности, сколько инвестированием, финансовым вложением в формирование будущего социального государства. Мыслитель Марта Нуссбаум отмечает тот негативный факт, что в современном образовании происходит постепенное негуманное перераспределение материальных средств в пользу тех дисциплин, которые дают скорую прибыль и престиж учебному заведению, возрастает число естественнонаучных и инженерных институтов и программ. В работе «Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки» Нуссбаум защищает идею философского образования и проводит границу между образованием для прибыли и демократическим образованием, благотворительностью ради прибыли и подлинной филантропией: «Погоня за материальными ценностями сбивает нас с толку, и мы все чаще требуем, чтобы образование порождало людей, способных извлекать материальную прибыль, а вовсе не мыслящих граждан своей страны» [Нуссбаум, 2014, с. 190]. Это осмысление важно не только для укрепления институтов демократии, но и для воспитания

ученых элит, и дает возможность состоятельным жертвователям увидеть мир глазами бедных людей, сопереживать им, оказывать настоящую благотворительность, не основанную на прибыли и своекорыстии.

Профессор Лестер М. Саламон также утверждает, что «ценности — не только нравственные ориентиры, но и индикаторы гуманности и цивилизованности общества»⁶. Следовательно, современное образование не должно опираться только на логику извлечения экономической прибыли, но искать вовлечения новых форм благотворительности. Исследователь Марта Нуссбаум описывает такую действенную новую благотворительность в сфере образования: «Чикагский детский хор занял возникшее в результате пустое место: хор в настоящее время поддерживают частные благотворительные организации, в нем участвуют примерно 300 детей, почти 80 % из которых происходят из семей, находящихся за чертой бедности» [Нуссбаум, 2014, с. 139]. Благодаря благотворительной поддержке упомянутого Нуссбаум образовательного проекта, дети из бедных семей преодолевают расовые, религиозные барьеры, социализируются, знакомятся с другой культурой, получают возможность путешествовать, приобретают навык коллективного творческого бытия. Проект, который приводит в пример Нуссбаум, влияет не только на семьи детей, но и на городской социум, это соединение нескольких видов благотворительности. Мы видим здесь преобразующее влияние еще одной современной формы благотворительности, в основе которой заложена филантропическая идея доступного бесплатного гуманитарного образования. Новая благотворительность становится инвестированием в социокультурные ценности, фундаментом демократического общества нового типа. Это не только попытка трансформации мира, но поиск путей решения проблемы социального неравенства в области образования, расставление моральных маркеров и индикаторов гуманности.

Нам представляется, что использование понятия «традиционная благотворительность» для обозначения процессов воздей-

⁶ 10 мифов о гражданском обществе, которые развенчал Лестер Саламон // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: <https://www.hse.ru/news/126676910.html> (дата обращения: 13.09.2019).

ствия на общество вполне обоснованно, поскольку напоминает о том, что, основная ее цель остается социальной. Понятия «традиционная благотворительность» и «новая благотворительность» не исключают друг друга, а являются различными проекциями одного и того же социального процесса. Сегодня следует говорить о сосуществовании упомянутой выше традиционной благотворительности и новой благотворительности, не соотносящейся с категорией абсолютного блага. Несмотря на то что новая благотворительность еще должна получить достаточное социально-философское осмысление, она уверенно занимает свою нишу в условиях постинформационного общества. Масштабные цели благотворительности по-прежнему имеют отношение к остро нуждающимся в поддержке многочисленным социальным группам.

Литература

- Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2018.
- Вирилио П.* Низвержение в пустоту // Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». М.: Алгоритм, 2009. С. 44–51.
- Гидденс Э.* Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005.
- Иоанн Павел II.* Христианский смысл страдания: Апостольское послание *Salvifici doloris*. СПб: Издательство святого Петра, 2001.
- Капустин Л.* Человеколюбием исправлять // Преступление и наказание. 1999. № 11. С. 39–40.
- Лев XIII.* *Rerum novarum* / О положении трудящихся. Послание 1891 года. М: Дом Марии, 1991.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии. М.: Госуд. изд-во полит. лит.-ры, 1955.
- Нуссбаум М.* Не ради прибыли. Зачем демократии нужны гуманитарные науки. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
- Ортега-и-Гассет Х.* Этюды о любви. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2003.
- Саламон Л.* Финансовый рычаг добра: Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования. М.: Альпина Паблишер, 2016.

«Забота о себе» в постинформационном обществе*

Целью настоящей статьи является актуализация практик «заботы о себе» в контексте современных тенденций информационного мира, осмысление их роли в опыте становления самосознания в процессе перехода от информационного общества к обществу знания. Основными задачами статьи являются: анализ современных практик коммуникации, признания и заботы, порожденных новым медиапространством, а также философская тематизация «заботы о себе» как экзистенциального условия формирования субъективности. Современные формы коммуникации в интернет-пространстве кардинальным образом меняют повседневный опыт, стирая грани между приватным и публичным и преобразуя таким образом отношения человека с другими и с самим собой. Сегодня человек выступает слабым звеном в процессе воспроизводства информации, это обстоятельство требует разработки стратегий «заботы о себе» и этических ориентиров в современном медиапространстве.

Ключевые слова: информация, большие данные, знание, медиа, интернет-коммуникация, забота о себе, самосознание, субъективность.

Норберт Болъц в книге «Азбука медиа» указывает на один из симптомов информационного мира: избыток информации здесь всегда оборачивается острым дефицитом внимания, патологической неспособностью породить, концентрировать и удерживать внимание современного человека. Метафорой познания в современном мире выступает «информация на кончиках пальцев» [Болъц, 2011, с.16] — неизвестная ранее скорость трансляции слова и передачи информации в пространстве Интернета порождают такую форму коммуникации, в которой человек выступает лишь слабым звеном, посредником в бесконечных потоках умножающейся информации. «Человек есть бутылочное горлышко мировой коммуникации. <...> Перед нами стоит не проблема ин-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-011-00798 «Инструментальные стратегии развития национального самосознания России: социально-философское исследование технологий скриптизации бытия».

формации, а проблема ориентации. Нам требуется Ноев ковчег во всемирном потоке смыслов» [Больш, 2011, с. 16–17].

Современные медиа вырабатывают инструментальные механизмы взаимодействия, настроенные на эффективную работу с большими данными (Big Data). Известно, что искусственный интеллект сегодня обращается с информацией намного более эффективно, чем это может сделать отдельный человек. Современные технологии имеют дело со словом как с цифрой, и здесь они всегда выигрывают в точности и эффективности, ибо схватка в этой игре ведется на их территории. В связи с этим исследователь и критик искусственного интеллекта Дрейфус Хьюберт еще в 1972 г. в книге «Чего не могут вычислительные машины» [Хьюберт, 1978] утверждал, что ИИ формально следует правилам, но не имеет доступа к внутренней репрезентации действительности, то есть для него никогда не станет возможен опыт знания. Интересно, что сегодня именно это обстоятельство послужило мощным стимулом развития технологий искусственного интеллекта, он успешно воспроизводит эмоциональную сторону коммуникации, индивидуальный стиль общения. И благодаря тому, что коммуникация для современного человека в ее новых формах (мессенджерах и прочей интернет-переписке и интернет-репрезентациях) невероятно формализована и охватывает почти все пространство и время жизни, ИИ стремительно осваивает коммуникацию, быстро учится ее новым приемам и техникам, порой опережая человека. Так, последние исследования показывают, что чат-бот во многих ситуациях поддерживает коммуникацию эффективнее, чем человек (как минимум, запоминает в разы больше, умеет распознать эмоциональное состояние собеседника, проявляет спонтанность и обладает навыком поддержания беседы). Человек, более не способный совладать со скоростью информационного мира, является потребителем новых технологий и участником новых медиа, кардинальным образом преобразующих его жизнь.

Информационное общество берет свой исток в идеологии массового, безостановочного потребления, информация производится и потребляется точно так же, как и любой другой товар, обретая и теряя свою ценность с неизвестной ранее скоростью. Переход от информационного мира к постинформационному не столько последовательный этап развития этой системы, сколько

личный подвиг человека, реализующего право на незнание в бесконечном и безмерном потоке исчезающих смыслов.

Итак, выход из пространства информации современного мира подобен спуску в кроличью нору, в которую должна провалиться Алиса, для того чтобы мир привычных знаков предстал в своей иллюзорности и открылся другой, уже почти утерянный, перевернутый с ног на голову, но единственно настоящий мир. Это живая метафора усилия, которое должен совершить человек, чтобы вырваться из власти информационного плена. Это экзистенциальное усилие наиболее полным образом разворачивается в пространстве опыта, именуемого в философской традиции «заботой о себе».

Система коммуникации, в которую включен современный человек, агрессивна и совершает непрестанный натиск на самое дорогое в человеческой жизни, на время. Бесконечная информация стремится породить субъекта, не знающего времени своей жизни, то есть собственной временности, смертности, конечности. В целом мы имеем дело с культурой, которой присуща тотальная деструкция, смещение символической границы жизни и смерти; речь идет об обществе, в котором предельно нивелируется осознание и переживание собственной конечности и, как следствие, происходит ее «символическое упрощение».

Философские истоки этой проблемы позволяют обратиться к духовным упражнениям и практикам, утверждающим временность человеческого существования и конечность жизни в качестве основного вызова, ответ на который представляет собой бытийную задачу человека. Экзистенциальная традиция XX века говорит о предельном одиночестве человека перед смертью, что делает возможным подлинное существование или открывает возможность встречи с трансцендентным. Так, Макс Шеллер проблематизирует смерть в феноменологическом ключе и обнаруживает ее конститутивный характер в отношении человеческого сознания, показывая, каким образом осознание смерти формирует саму структуру человеческого мышления (благодаря чему трансценденция имманентно присутствует, переживается в сознании). Подобным образом Мартин Хайдеггер в проекте фундаментальной онтологии указывает на то, что подлинность существования есть результат встречи со смертью как с реальным событием. И поскольку она заключается в осознании человеческого существо-

вания как бытия-к-смерти, смерть здесь не противопоставлена жизни, она напротив, формирует личное, экзистенциальное ее измерение. И путь к подлинному существованию лежит через переживание тревоги, и во многом благодаря возможности выстоять перед натиском тревоги человек обретает собственное лицо.

Понимание временности человеческого существования как трагического и смыслообразующего для человеческого сознания события стирается в пространстве информационного мира. Отныне смерть оказывается иррациональна и бессмысленна. Система тотальной коммуникации, исключает из своей структуры молчание, уход, конечность, являющиеся принципиальным условием личного, экзистенциального опыта для человека. «Ибо сегодня быть мертвым — ненормально, и это нечто новое. Быть мертвым — совершенно немыслимая аномалия, все остальное — пустяки. Смерть — это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение. Мертвым больше не отводится никакого места, никакого пространства/времени <...>» [Бодрийяр, 2011, с.234]. Нивелирование личного, человеческого начала в перманентной коммуникации, разворачивающейся в цифровом пространстве, порождает ситуацию, когда приобретение и накопление благ, порожденных рекламой, превращается в абсолютную ценность. Жизнь, исключая из себя смерть, становится тождественна сама себе.

Дефицит времени, порожденный скоростью новых медиа, продуцирует новые, по-своему отвечающие на запрос времени формы заботы о собственном существовании. Жизнь, потерявшая связь с вечностью, оказывается полностью измеримой, в ней преобладают стратегии накопления. В этом контексте продуцируются новые формы «заботы о себе». В современном мире, который видит жизнь в ее полярной противоположности смерти, нужно научиться полностью управлять временем, то есть успевать. Планирование и тайм-менеджмент выступают как конкретные практики этого искусства. Так, например, Алан Лакейн — наставник в современном «искусстве успеха», специалист по «эффективному использованию времени» учит относиться к одной недели жизни как 168-часовому бюджету [Лакейн, 1996]. Таким образом, формируется структура повседневности, в которой время выступает предметом постоянного контроля, только так и можно дей-

ствительно овладеть своей жизни. Время нужно использовать, а главным принципом в этом процессе выступает эффективность. Это своего рода рационалистический подход к повседневности, который во многом созвучен жизненным практикам, предложенным Бенджамином Франклином, представившим в свое время протестантскую концепцию успеха как основной символ индивидуального спасения и как результат методического, рационализированного труда и полностью интерпретировавшим добродетель с точки зрения полезности. Именно прагматический подход к собственному существованию является гарантом успеха. Подобным образом Макс Вебер указывает на то, что «дух капитализма» приводит к формированию особого жизненного уклада, строя (Lebensführung), заключающегося в педантичном контроле достижений, грехов, планомерной организации собственной жизни. Накопление благ и достижений становится здесь основной жизненной стратегией. Систематический контроль над повседневной деятельностью, который является главным принципом в кальвинизме, можно рассматривать как следствие «Расколдовывания» (Entzauberung), утраты опыта трансцендирования, когда единственным измерением становится «имманентная ось». Абсолютная трансцендентность Творца вынуждает обретать спасение в условиях наличного мира путем повседневной рациональной деятельности. Индивидуальное спасение трактуется как результат систематического труда, «мирской аскезы», а личный успех рассматривается как главное его подтверждение и свидетельствует о Божественном благословении. Современные медиа формируют такое пространство репрезентаций, в котором сферы жизни человека подчинены прагматическому принципу, подобно тому, как верное служение Богу в протестантской этике приводит к финансовому процветанию и прибыли. Но только ««Сделай Бога своим товарищем», означает: «Сделай Бога своим компаньоном в бизнесе», а не соединишься с ним в любви, справедливости и правде» [Фромм, 2012, с. 176]. Этика информационного мира выдвигает свой принцип: нравственным необходимо быть для того, чтобы быть успешным. Так, крупнейшая благотворительная программа современности The Giving Pledge призывает самых состоятельных людей мира пожертвовать на благотворительность половину своего капитала, в основании данного жеста — симуляция нрав-

ственного поступка, в то время как его основной целью является демонстрация знаков успеха, выступающая особым императивом медиа.

Онлайн-стратегии современной коммуникации порождают новые формы и механизмы заботы. В современном обществе забота предстает в качестве практики, посредством которой репрезентируют себя различные институты; таким образом, она встраивается в систему практик подчинения и контроля. Забота становится символом современных стратегий потребления, в то время как подлинная забота о собственном существовании как практика, имеющая онтологическое и этическое измерения, в этом контексте нивелируется; так, «практики себя», продуцируемые современным обществом, прагматизируются и встраиваются в логику потребления.

Жан Бодрийяр указывает на фундаментальное противоречие, с которым мы встречаемся в основании различных форм заботы, известных современному обществу. Именуя этот феномен «леденящей заботливостью», он акцентирует внимание на то, что подобные сферы функциональных человеческих отношений не имеют в своей основе ничего непосредственного, они «произведены институционально» [Бодрийяр, 2011, с. 143]. «Функциональность» и опредмеченность человеческих отношений компенсируется симуляцией участия и взаимности. Бодрийяр характеризует этот феномен социальной игры как «гиганскую модель “симуляции” отсутствующей взаимности» [Бодрийяр, 2011, с. 145]. Аппарат заботы имеет здесь свои экономические и социальные функции, выступая особым механизмом общественного контроля.

Обращаясь к мысли Норберта Больца о характере коммуникативного пространства новых медиа можно сделать вывод, что сегодня быть живым значит быть «на связи», «онлайн», только так можно обрести доступ к главному из благ этого мира — успеху. Так, диктатура символического в контексте медиа представляет собой абсолютное равенство всех людей перед знаками успеха. Счастье измеримо, его критерии известны всем благодаря доступности информации, и оно являет собой абсолютный принцип, императив современного общества. Паскаль Брюкнер, размышляя об этой проблеме в своей книге «Вечная эйфория. Эссе о прину-

дительном счастье» указывает на то, что «мы, вероятно, первое в истории общество, в котором люди несчастны лишь потому, что несчастливы» [Брюкнер, 2011, с. 74].

Новые практики и технологии коммуникации, порожденные современными медиа, агрессивно вторгаются в нашу жизнь и формируют саму структуру повседневного опыта. Они, подобно глубинным психологическим структурам, выступают бессознательными механизмами, незримо определяющими человеческие предпочтения и поведение в целом. Так, негативные новости, трансляция катастроф вырабатывает особую готовность к страхам и ужасам непредсказуемого мира, переструктурируя внимание и, таким образом, полностью управляя им. «Именно сладострастная отстраненность от беды, которая там, вдали, порождает в качестве переживания сопричастность как установку. Человек потребляет переживания, беды и сцены протеста. И всюду, где протест замещает рефлексию, мы видим массмедиа — они празднуют явление общественности в орнаменте протестных движений» [Большц, 2011, с. 46].

Страх изоляции, с которым столкнется человек при отказе от массмедиа, выступает импульсом, заставляющим его следить за общественным мнением. Общественным в данном случае является то, что не будет порицаемо общественностью, не приведет к изоляции. Таким образом, иллюзия свободы в медиареальности оборачивается зависимостью от новых практик признания, продиктованных современными способами коммуникации. В этом обнаруживает себя важнейшая социальная функция массмедиа, проявляющаяся в механизме социального сплочения и изначальной настроенности на определенный дискурс. Так, современное общество способно сохранять молчание даже в высказываниях, поскольку «<...> высказавшись, оно исключает альтернативные мнения» [Большц, 2011, с. 51]. Здесь речь идет прежде всего о том, что современные средства массовой информации не просто навязывают определенное мнение, которое слепо принимает большинство, они формируют саму структуру коммуникации, задают контекст и выбирают ключевые темы, вокруг которых сосредоточен дискурс.

Новые модели коммуникации, порожденные современными медиа, представляют собой вызов, ответ на который может быть

найден только в обращении к настоящим практикам онтологического и нравственного преобразования субъекта. Философия как практическое искусство призвано обратить человека к самому себе, согласно Сенеки; таким образом, она повторяет жест и ритуал, посредством которого господин отпускал своего раба: «Существовал такой ритуал, когда господин, дабы подтвердить освобождение раба от рабства и объявить об этом, заставлял его повернуться вокруг себя» [Фуко, 2007, с. 239]. Сенека, используя этот образ, демонстрирует, как философия поворачивает, обращает человека к своей подлинной сущности. Таким образом, античное понятие «epistrophe» находит свое отражение в опыте в обретения себя путем обращения души к своему бытийному истоку. Практика философского существования представляет собой такой путь обретения себя: «Отвоюй себя для себя самого, береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали и крали...»; «Уходи в себя, насколько можешь» [Сенека, 2018, с.14]. Это становится возможным только благодаря особой установке сознания, настроенности, достигаемой путем духовных упражнений. Следовательно, отличительной особенностью философской аскезы является то, что она предполагает «разрыв с собой, разрыв со всем, что меня окружает, разрыв ради меня, но не во мне» [Фуко, 2007, с. 236]. В контексте христианской культуры этот опыт находит себя в практике, именуемой «metanoia», которая заключает «перемену, радикальное изменение образа мыслей»: «<...> эта перемена должна быть уникальным, внезапным событием, одновременно историческим метаисторическим, которое разом перекраивает и преобразует всего человека» [Фуко, 2007, с. 237]. То есть, обращение предполагает онтологический переход от одного типа бытия к другому, бытийную трансформацию сознания. Смысл обращения также заключает в себе некий «разрыв», а именно предполагает отказ от себя и, как следствие, возрождение в себе другом, «который не имеет ничего общего ни в своем существе, ни в способе быть, ни в привычках, ни в своем ethos'e с собой прежним» [Фуко, 2007, с. 238]. Похожим образом идея спасения в христианстве открывается как переход от греха к добродетели, возможный только благодаря отречению от себя прежнего для обретения себя в опыте духовной трансформации. Она есть результат покаяния: «Человек кается лишь постольку, поскольку он усвоил взгляд, принял оценочные нормы

этого иного мира; по нормам же пред-вратного мира, покаяние — занятие искусственное или болезненное и, во всяком случае, бессмысленное, ничего не дающее. Есть поэтому основания принять, что “Обращение” — начало, начальная фаза, в которой фокус, центр тяжести — изменение отношения к пред-вратному миру; “Покаяние” же — финальная фаза, смысл которой — вхождение и встраивание, интеграция в за-вратный мир, начало жизни в его режиме, по его правилам» [Хоружий, 1999, с. 140].

Отчаяние и скука, которых так боится и избегает современный человек, включенный в постоянную, «эффективную» коммуникацию, выступают с позиции «заботы о себе» экзистенциальными условиями становления личности. Пространство новых медиа представляет собой аттракцион бесконечных развлечений, который вытесняет этот опыт, нивелирует его значимость для становления самосознания: «Что развлечение и скука — две стороны одной медали, философы знают еще со времен Паскаля. Но из экономистов лишь Джон Менрад Кейнс первым понял: огромная проблема состоит в том, что люди не понимают, что им делать со своим временем. Если неотложных забот нет, их одолевает смертная скука. Поэтому программа массмедиа важна в социально-терапевтическом плане. Хорошее развлечение — спасение от скуки. Мы развлекаемся до смерти, чтобы до смерти не заскучать» [Большц, 2011, с. 75]. Таким образом, медиа формируют новые стратегии чувственности, в которых не остается места для переживаний отчаяния и утраты как личного события, постижению знания, имеющего бытийный исток, не превращенного в информацию. Экзистенциальная традиция в философии мыслит отчаяние как духовное испытание, необходимое для становления субъекта, открывающее возможность опыта прощения и веры. Христианский философ Серен Кьеркегор в работе «Болезнь к смерти» вводит категорию отчаяния как основную, самую важную характеристику существования человека, берущую свой исток в онтологической свободе. Дialeктика «Я» заключается в его причастности к вечному началу и, в то же время, в его историческом измерении, определенности и ограниченности во времени. Согласно Кьеркегору, отчаяние, к которому он и применяет метафору болезни, сопутствует любым попыткам рефлексии собственной смерти. Более глубокое осознание собственного «Я» и сопутствующего

ему недуга лишь свидетельствует о подлинности отчаяния и, по сути, усиливает его. Панацея от болезни отчаяния возможна лишь в опыте абсурда, каким и предстает с мирских позиций акт веры, благодаря которому происходит отречение от всего преходящего. Путь к вере сквозь отчаяние оказывается единственным способом обретения себя. Речь идет об опыте, в котором обретение себя становится возможным, благодаря мужеству отречения от всего преходящего в результате внутренней трансформации.

Философский опыт, в котором становление субъективности и обретение себя предстает результатом «духовных упражнений», глубинной работы над собой обладает неиссякаемым внутренним ресурсом для ответа на многие вызовы современного мира. Коммуникация, в которую сегодня вовлечен человек, вторгается в область приватного, личного, нивелируя это пространство, преобразуя сам характер этого опыта. Как следствие, в современных коммуникативных практиках мы постоянно сталкиваемся с проблемой дефицита внимания и самой способности суждения. «Забота о себе», известная европейской философской традиции в опыте упражнений, «практик себя», формирует пространство внутренней свободы, устанавливает внутренний диалог с самим собой, который выступает основанием любой коммуникации. Подобным образом Мартин Бубер, развивая диалогическую традицию в философии, указывает на то, что встреча с Другим возможна благодаря подлинной встречи человека с самим собой. «Забота о себе» формирует пространство коммуникации, не исчерпывающееся словом, но также открывающееся в опыте внутренней тишины, внимания и заботы. Этот опыт обнаруживает бытийный исток знания, утрата которого так остро переживается в современных коммуникативных практиках, требующих быстрых реакций, всегда «быть на связи» и, главное, бесследно и бессмысленно поглощать информацию. Философская традиция «заботы о себе» открывает знание в его экзистенциальном измерении, понимая коммуникацию как опыт самосознания.

Практики «заботы о себе» могут быть экстраполированы в современный контекст, их актуальность как никогда сильно обнаруживает себя в новых формах коммуникации, в ситуации, когда техническое могущество оборачивается дефицитом человеческого

в человеке. Обращение к этому опыту выступает предпосылкой возникновения новых смыслов и ценностных ориентиров постинформационного общества.

Литература

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, КДУ, 2011.

Больш Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011.

Брюкнер П. Вечная эйфория: эссе о принудительном счастье. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.

Лакейн А. Искусство успевать. М.: ФАИР, 1996.

Сенека. Нравственные письма к Луцилию. . М.: АСТ, 2018.

Фромм Э. Искусство любить. М.: АСТ, 2012.

Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981—1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007.

Хоружий С. С. Психология врат как врата метапсихологии // Московский психотерапевтический журнал. 1999. № 2. С. 118–145.

Хьюберт Д. Чего не могут вычислительные машины: критика искусственного разума. М.: Прогресс, 1978.

РАЗДЕЛ III

ДОВЕРИЕ В ЭПОХУ ЦИФРЫ

Доверие настоящему

В статье рассматривается стратегия развития философии XXI века — философия синтеза, — предложенная М. Н. Эпштейном, а также проблема внефилософских инвестиций в формирование новых философских направлений. В перспективе обретших статус философов в минувшем веке, таких как Ж. Батай, Э. Юнгер, В. Беньямин, В. Флюссер, Ж. Бодрийяр, уместно рассматривать и философию синтеза М. Н. Эпштейна. Следующим сюжетом статьи является анализ реактуализации иллюстрации как способа доказательства без доказательства. Привлечение идей и образов отечественной философии и литературы — еще одна несомненная заслуга автора. Важными задачами актуальной философии является также аналитика компьютерных игр, возвращения интереса к естественным наукам в лице физики, космологии, биологии, информатики и когнитивистики. Философам, специализирующимся на истории науки и техники, автор предлагает (что справедливо) посмотреть, как философия реагирует на современные изменения в технической среде, ее будущее в мире, модифицированном цифровыми технологиями. Создание новых концептов и рефлексия изменяющейся цифровыми технологиями среды — способ примирить внутренние противоречия аналитической философии и ввести аргументацию необходимости метафизических оснований в продумывании современного положения вещей. Предложенные концепты, кроме содержательного, имеют эвристический ресурс.

Ключевые слова: гуманитарные науки, аналитическая философия, философия синтеза, инфиниция, алмазное правило, хоррология, онтотехника, компьютерные игры.

Активное внимание к будущему философии — свидетельство о ее кризисе в настоящем. Уход же в будущее не столь уж редок, как принято считать, на фоне бегства в прошлое. Симптоматично, что в попытке понять настоящее острые и своевременные вопросы ставят не столько философы (а они, как свидетельствует история философии, делают это всегда, утверждая истинную, соответствующую времени философию взамен устаревшей — не истинной (фейковой) предшественников), но представители гуманитарных наук: «ответ на вопрос: *что такое философия?* Лежит вне плоскости самой философии и философствования» [Подорога, 2009, с. 7]. Одна из внефилософских областей — литературоведение —

дает автору, Михаилу Наумовичу Эпштейну, полное право говорить от имени гуманитарных наук в целом, осознавших, что существующие орудия познания-дознания-опыта уже не работают. Логика недоверия к используемым инструментам познания, показавшим исчерпанность своего ресурса, приводит к требованию их обновления. Иными словами, на повестке дня стоит вопрос об обновлении языка философии, ее эвристического и методологического потенциала. Но Эпштейна менее всего интересует ответ на вопрос о природе философии, его волнует вопрос о том, какую философию хотели бы видеть гуманитарные науки, нуждающиеся в ее ресурсе, и как она отвечает на их запрос.

Говоря от имени гуманитариев, Эпштейн обозначает позицию их искренней заинтересованности в приращении технической оснащенности способов познания-понимания настоящего, которые может дать философия. Вспомним, что своевременность философских вопросов в XX веке часто происходит из внефилософских сфер, и благодаря им они не только проблематизируют границы философии, но и выражают существо актуальной философской работы. Я имею в виду плеяду таких авторов, как Ж. Батай, Э. Юнгер, В. Беньмин, В. Флюссер, Ж. Бодрийяр, Г. М. Энциенсбергер и др. Все эти авторы, дисциплинарно не относящиеся к философам (часто не имевшие философского образования и даже университетского диплома; тем более не преподававшие философию в университетах), обладали несомненными достоинствами: остро видеть в единичном и пока еще уникальном событии набиравшую силу тенденцию, которая не преминула объявить себя, и тем привлечь внимание к фигурам, ее провозглашавшим. Обладая тем, что М. Бахтин назвал энергией заблуждения, они исходили из проблем своего топоса, своего места, наблюдая его трансформацию, остро и смело ставили вопросы, которые по сей день вызывают интерес: им посвящают конференции, пишут диссертации, ведут дискуссии и исследуют тематизированные ими области. В настоящее время из маргинальных мыслителей, изобретавших интеллектуальные фейки, они стали неотъемлемыми фигурами истории философии XX века.

М. Н. Эпштейн цель своей статьи видит в попытке «охарактеризовать одно из важнейших направлений XXI века, философию синтеза», которую он определяет как «создание новых понятий,

терминов, универсалий, идей, суждений, принципов, а также более объемных концептуальных единств: теорий, дисциплин, позиций, мировоззрений» [Эпштейн, 2019, с. 51]. Верно все же казать: начала XXI века, который, только наступив, несомненно преподнесет еще много сюрпризов, в том числе и в философии. Спрошу себя: насколько попытка Эпштейна удалась? И насколько интуиции автора облекаются в форму концепта? Но если вспомнить, что задача философии не столько отвечать на вопросы, сколько ставить их, то цель статьи достигнута. Ее отличает решительная безоглядность постановки вопросов, волнующих всех. Удастся ли заинтересовать ими философское сообщество и будет ли это воспринято им, покажет публикация.

Трудность в том, что в своей академической форме существования и историко-философской ориентации отечественная философия крайне настороженно относится к вторжениям из внефилософской сферы. И не только. Так, по сей день слышны голоса, что Луман — социолог, а Э. Юнгер — писатель, Ж. Деррида, С. Н. Зенкин и С. Л. Фокин — литературоведы, С. Жижек — эссеист, а Ж. Бодрийяр — «удачливый аутсайдер» (Кристоф Вульф). (Не стоит забывать при этом, что успешные аутсайдеры и маргиналы возможны лишь на фоне и в контексте философской среды и развитого языка, без которых маргиналы не смогли бы стать успешными мыслителями.) Примеров можно приводить много, суть же в том, что философы, вначале с большим недоверием относящиеся к «нефилософским» вторжениям в свою сферу, со временем посвящая им исследования и развивая их идеи, находят соответствующее им место, помещают их в философский контекст. Однако история новейшей философии знает и другое, когда мыслитель, не называя себя философом, оказывался в средоточии ее развития: здесь и гуманисты, и теологи, и филологи и нарратологи, и эссеисты.

М. Н. Эпштейн, отдадим ему должное, решается ставить «простые» вопросы и обращать внимание на очевидное, но умалчиваемое и вытесняемое: почему аналитическая философия редуцирует философскую проблематику к анализу, игнорируя неотрывный от него синтез? Если есть узаконенная процедура определения, дефиниции, то отчего мы пренебрегаем целым классом таких определений, где ничего не определяется, но, напротив, расширяется до бесконечности, до совпадения со своей противоположностью?

Такое определение-расширение автор изобретательно называет инфиницией. И наконец, если есть золотое правило этики, то отчего не предположить «алмазное правило»: «делай для другого то, в чем он нуждается, но чего никто не может сделать лучше тебя»? И не дополнить «железным правилом» для тех, кто всегда мыслит абстрактно; «поступай так, как велит житейская мудрость»? Оно говорит о том, как хорошо и как легко следовать этому правилу, дарующему неколебимую правоту. Человек, ему следующий, неуязвим, всегда прав, горд причастностью к общему мнению и... до скуки предсказуем. Не могу здесь не вспомнить «серебряное сечение» — термин из теории аналоговой фотографии, введенный в пикну «золотому сечению».

Раскованность автора маскируется доверительно-отстраненной интонацией, но она же создает ситуацию, в которой легко возникают новые концепты, при первом знакомстве с которыми они выглядят то самим собой разумеющимся, давно существующими понятиями (философия синтеза), то диковинным персонажами для отечественной интеллектуальной сцены (инфиниция, алмазное правило, хоррология, онтотехника). Эти персонажи, к тому же, говорят на «глуповатом» языке философии или, в версии Пруста, «иностранном» языке внутри своего наречия. Если разбирать понятия «благоглупость» и «благоподлость» как синтетические, иностранным языком будет исподволь присутствующий и активно участвующий аппарат аналитической философии, наличие которого автор не скрывает, ссылаясь и находя аргументы в поддержку своих мыслей, например, у Б. Рассела и Дж. Мура. Завершающим аккордом служит опора на М. Е. Салтыкова-Щедрина. Следует заметить, что переход от одного параграфа к другому столь стремителен и столь непредсказуем, что трудно не увидеть влияние «Проективного философского словаря» [Проективный философский словарь, 2003], хотя введение и обоснование лишь одного из предложенных концептов с лихвой оправдало бы статью.

Об упомянутом проективном словаре в связи с данной статьей имеет смысл сказать особо. М. Н. Эпштейн — новатор и здесь, он вводит новый тип словаря, который не только фиксирует уже ставшее, перешедшее в общепринятое словоупотребление, но, напротив, старательно собирает и предъявляет то, что только *может стать термином*, широко используемым понятием и даже кон-

цептом. Одним словом, «Проективный словарь» в полной мере соответствует духу своего имени, ориентируя на «создание новых понятий, терминов, универсалий».

Следует отметить также, что ноу-хау М. Эпштейна — акупунктурно точные, доходчивые и исчерпывающие примеры, исключаяющие необходимость доказательства для вводимых им концептов. Но что такое доказательство в философии? Для роста наглядности докладов и лекций сегодня все больше используют визуальные иллюстрации: рисунки, картины, фотографии, однако, как демонстрирует автор, иллюстративно-доказательный ресурс литературных и художественных текстов остается продуктивен и далеко не исчерпан.

В статье предлагаются «частные» концепты (благоподлость, благоглупость), являющиеся производными философии синтеза; они привлекают свежестью, их, как и предыдущие, хочется присвоить и использовать... в критическом дискурсе. Однако у безоглядности есть обратная сторона, к которой отнесу противоречащую «научности» мечту автора: «когда-нибудь написать нечто связанное по “теории всего”, конечно, в гуманитарной перспективе» [Эпштейн, 2019, с. 38]. Его экстравагантная артикуляция поиска единства, общности, схватываемой теорией всего, быть может, есть чаяние гуманитариев, истосковавшихся по надежной теоретической опоре в своей работе, что может восприниматься как самооговор, поскольку жанр «теории всего» с советских времен является признаком очевидной несостоятельности исследования.

Впрочем, в производстве разнообразных концептов трудно не увидеть родство с кредо Вальтера Беньмина: «Поступать всегда радикально и непоследовательно в важнейших вещах» [Benjamin, 1978, s. 425]. Это сходство можно увидеть в разнообразных предприятиях Эпштейна, кажущихся отходными промыслами, в литературе, в философии, эссеистике, прогностике, в философии культуры и написании словарей, что убеждает нас в его радикальной непоследовательности. По правде говоря, ценность статьи Эпштейна не только во введении новых дисциплин и постулатов, предложенных неологизмов и концептов, но и в неменьшей степени в том духе свободы, приключения, творчества, провоцирующих читателя на собственное усилие. Сила его воображения и концептуальная раскованность подобна художникам — Жан-Мишелю Ба-

ския или художнику-писателю-акционисту из арт-группы «Новые тупые» Сергею Спирихину. Они заражают духом раскованности и непринужденности.

Провозглашая завершение эпохи постмодернизма, но одновременно наследуя его технику деконструкции, Эпштейн обнаруживает *свой запрос* философии, попутно отвечая на вопрос, из какого пространства приводит примеры автор. Первое, что бросается в глаза — это кому он противостоит. Находясь в рамках традиции, где безраздельно господствует аналитическая философия, которая к тому же медленно, но верно захватывает все новые кафедры философии Европейского континента, он заостряет свою критику против аналитической философии. Но поскольку автору хорошо знакома альтернативная «синтетическая» традиция русской философии, ее синергийность и всеединство, то мы можем определить место говорения автора: он находится над противоборствующими сторонами, над схваткой. Двоекультурие — его важный ресурс.

В свое время критикуемый автором Ричард Рорти со свойственной англосаксонской традиции убежденностью в своем праве судить, например, спор Лиотара, который, «к сожалению, поддерживает одну из самых глупых левых идей», и приверженца проекта модерна Ю. Хабермаса, упрекал обоих: «Мы могли бы согласиться с Лиотаром в том, что нам не нужны больше метанарративы, а с Хабермасом в том, что нам нужно меньше сухости. Мы могли бы согласиться с Лиотаром, что исследование коммуникативной компетенции трансисторического субъекта не слишком полезны для усиления нашего чувства идентификации себя с сообществом, продолжая в то же время настаивать (вместе с Хабермасом) на важности этого чувства» [Рорти, 1994, с.128–129]. М.Эпштейн подымается над межконтинентальной распрей, критикуя аналитическую традицию за нехватку синтеза, а всю остальную за игнорирование нового синтетического постулата «алмазного правила» в этике, разделов философского знания «онтотехники» и «технофилософии». Создателям компьютерных игр и геймдизайнерам достается за то, что они игнорируют «метафизическую задачу». Философам, специализирующимся на истории науки и техники, он предлагает (что справедливо) посмотреть, как философия реагирует на современные изменения

в технической среде, ее будущее в этом модифицированном технически, точнее с помощью цифровых технологий, мире, а также то, как она трактует компьютерные игры. Он обращает внимание на проблему расхождения сущего и (предположительно) должного в геймдизайне: «Так, первая задача, которую должны решать создатели компьютерных игр, — задача метафизическая: каковы исходные параметры виртуального мира, в котором разворачивается действие, сколько в нем измерений, как соотносятся субъект и объект, причина и следствие, как течет время и разворачивается пространство, сколько действий, шагов, ударов отпущено игрокам по условиям их судьбы и что считается условием смерти?» Однако практика создателей игр далека от метафизических задач, они сугубо практические. М.Эпштейн пытается нащупать «категорический императив» геймдизайнера, который нацелен на производство сиюминутных хитростей и технических уловок, а должен был бы ориентировать себя, по мнению автора, на метафизическое проектирование мира, осмысление специфики новой сенсорной среды и диалог с искусственным разумом.

Замечу, что влияние философов (даже очень тесно связанных с игровой индустрией, как это показывает зарубежная практика) в игровом производстве не фиксируется рефлексивными самоотчетами геймдизайнеров, поэтому довольно проблематично утверждение Эпштейна: «Но столь же насущным, по мере разрастания этих виртуальных миров, становится и участие философов — специалистов по универсалиям, по самым общим, всебытийным вопросам мироустройства». [Эпштейн, 2019, с. 56]. Скорее, мы можем наблюдать другую ситуацию: философы, культурологи, нарратологи, разбирающиеся в играх, предлагают модели их объяснения, а также переходят к созданию художественных игр. Как заметил Дэн Пинчбек, автор диссертации по нарративам в играх и создатель игры *Dear Esther*: чтобы понимать игры, мы должны их создавать (это своего рода проект производственной герменевтики компьютерных игр) [Пинчбек, 2019]. В ситуации ускорения времени, плотности новаций и спрессованности событий Сова Минервы уже вылетает вместе с первыми лучами солнца, с первым кликом и пробуждением компьютера, гаджета, игровой приставки. Современный человек не может доверять информации, не проделав процедуры ее присвоения: отказываясь от фигуры созер-

цателя и пассивного ее потребителя, он повышает доверие к ней, вовлекаясь в *vita activa*, то есть комментируя, распространяя и пересказывая информацию о событии. В какой степени он суверенен в суждении — это вопрос. Ибо он не участвует (за тем редким исключением, когда сам свидетель события) в производстве информации, а комментирует то, что есть.

Переход от философии (как практики проективной, креативной и способной порождать множественные синтезы с наукой, техникой, общественно-интеллектуальными движениями и т. п.) к созданию игр без указаний опосредующих звеньев предстает произвольным. Имеет смысл прояснить и пояснить, почему именно компьютерные игры выступают сегодня ведущим медиумом эпохи цифры, почему мы обращаемся именно к ним, а не к театру, кино или изобразительному искусству. Сошлюсь на экспертов: «Преодолев пренебрежительное отношение к “детским” развлечениям, компьютерным и видеоиграм, академический дискурс (по крайней мере, в Европе и Америке) в 1990-е годы сфокусировался на разработке актуальных проблем этой зоны культуры. Попытка найти адекватные новой реальности методы анализа вылилась в создание на рубеже 1990–2000 гг. гуманитарной дисциплины *game studies* (исследования игр), теоретики которой, предлагая адаптацию старых (антропология, культурология, социология, нарратология, медиатеория и пр.) и разработку новых (напр., лudoлогия, процедурная риторика и герменевтика) подходов, анализируют феномены геймификации (перенос игровых технологий на неигровые практики), эстетизации действительности, социализации через MMORPG (WoW, Aion, Lineage II), виртуальные миры (Second Life, Minecraft) и др.» [Образ Другого в компьютерных играх, 2018, с. 245–246]. Призыв обратить внимание философов на мир компьютерных игр ситуативно справедлив, так как анализам последних добавляет философской легитимности.

Драматургия взаимоотношений философии и гуманитарного знания строится на ясности понимания того, что должна или может дать философия в решении задач, которые осознаются гуманитариями в качестве своих собственных, но цех гуманитарных наук не может получить того, что сами философы еще не тематизировали, не продумали, не убедились в действенности и продуктивности предлагаемых понятий и концептов. Так, набирающая

силу тенденция продумывать активность объекта, умаляя возможность осознанного действия субъекта, проявляется в выводах теоретиков поворотов в культуре XX — начала XXI веков: «язык говорит нами», «образ видит нами», «нами воспринимают медиа», а цифровой код определяет наши цели и желания. В этом же ряду уместно видеть «скандальные» тезисы о том, что мозг мыслит и принимает решения за нас, вирусы и паразиты в нас определяют наше поведение, мотивацию, общение и даже веру, а духи оружия развязывают войны помимо нашей воли.

В заключение замечу, что не столь интересно, какие всеобщие принципы декларирует любой автор, интересно как раз то, каким образом он оправдывает их перед лицом противоречий, ими порождаемых, ситуаций, когда философ или политик вынужден от них отказываться в, иными словами как он выпутывается из ловушки всеобщности. М. Эпштейн претендует на всеобщность тем, что апроприирует финалистскую концепцию Гегеля, перефразировав положения последнего в духе Лиотара: постмодернизм — «это не конец модернизма, но модернизм в состоянии зарождения, и состояние это постоянно» [Лиотар, 1994, с. 319]. Он заключает следующее: «От множественных *интерпретаций* одного мира философия переходит к множественным *инициациям* разных миров». [Эпштейн, 2019, с. 54]. Многовероятность будущего в настоящем, равноценность противоположных версий развития, утверждаемая постмодерном, сегодня корректируется осознанием того, что некоторые варианты будущего исключают жизнь самого выбирающего: человека и человечество в целом, по разным, не только военным, но в том числе и экологическим, продовольственным, технологическим и пр. причинам. Топологическая версия философской рефлексии — путь, связывающий всеобщее и единичное, активность объекта и ответственность субъекта, универсальный язык и локальную культуру и, наконец, историю мысли и доверие усилиям понять настоящее, — всего этого, к сожалению, нет в предлагаемой версии философии XXI века.

Литература

- Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн // Ad Marginem'93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института философии Российской академии наук. М.: Ad Marginem, 1994. С. 303–323.
- Образ Другого в компьютерных играх / С. С. Буглак, А. Р. Латыпова, А. С. Ленкевич, К. А. Очеретяный, М. М. Скоморох // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018, № 33 (2). С. 245–246.
- Пинчбек Д. Я делаю, чтобы научиться: манифест производственно-ориентированного исследования игр // Gamestudies.ru. URL: <http://gamestudies.ru/translate/pinchbeck-build-tostudy> (дата обращения: 26.04.2019).
- Подорога В. А. О чем спрашивают, когда спрашивают «что такое философия» // Философский журнал. 2009. № 1. С. 5–17.
- Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / под ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. СПб.: Алетейя, 2003.
- Рорти Р. Хабермас и Лиотар о постсовременности // Ступени. 1994. № 2 (9). С. 115–132.
- Эпштейн М. Наброски к теории всего // Знание — сила. 2019. № 3. С. 34–41..
- Benjamin W. Briefe / Hrsg. von G. Scholem und T. Adorno. Frankfurt am Main, 1978.

Цифровой разум в действии

В статье ставится вопрос о становлении в условиях современной медиарельности новой формации разума, отличной от классических прототипов. Предлагаются аргументы в пользу понятия цифрового разума, а также очерчиваются границы и основные структурные принципы данной формации разума. Цифровой разум формируется как способ упорядочивания пространства современных коммуникаций и выступает как необходимый коррелят медиаполитик, направленных на управление не только отдельными актами сетевой коммуникации, но и самим желанием вступать в коммуникацию и реализовывать себя в ней. Также в статье показано, что в современном мире доверие к фейкам в немалой степени определяется природой желания и структурой идентичности, которая организуется вокруг утраты и связана с опасностью разоблачения собственной природы как фейковой. В статье вводится и разъясняется понятие цифрового бессознательного как формы существования в эпоху цифровых систем коммуникаций, которым сопутствует эпидемическое умножение и распространение фейков как на низшем уровне социальных сетей и блогов, так и на высшем государственном уровне.

Ключевые слова: политики медиа, цифровой разум, медиавоображаемое, медиафилософия, коммуникация.

Универсальные структуры, образующие своего рода базовый каркас разума, предполагают разработанность промежуточной сферы, внутреннего медиума, обеспечивающего реализацию общих форм в отдельных актах представления или суждения. Классическая архитектоника обязательным образом включала сферу воображения, или общего чувства, в кантовской модели произошло раздвоение этой единой прежде области на априорную способность воображения, наделяющую нас схематизмом понятий, и способность суждения, которая действует как особого рода искусство, поскольку соединяет в себе априорные структуры рассудка и воображения с конкретными данными опыта, чувственной каузальностью. По сути, эти кантовские способности задают границы того, что мы могли бы также назвать областью смыслов, или, иначе, полем бесчисленных актов, посредством которых мы присваиваем себе право на обладание разумом. То, что

мы называем смыслом, и есть парадоксальное соединение разнородного: активного и пассивного, априорного и эмпирического, медиального и экзистенциального, меры исчисления и неверной в самой своей измеримости природы желания. Конечно, обращаясь от прежних концепций разума к его современной версии, медиальной и оцифрованной, нам не избежать вопроса, стоит ли искать в самих медиа, их технологиях и стратегиях определенный способ производства и продвижения смыслов. Или же вопрос о смысле лучше полностью отбросить и, наоборот, видеть в медиа простой предел, установленный материальным носителем сообщений нашему желанию плодить смыслы и окутывать ими простую данность существования с ее потребностями, действием инстинктов и рассеянной волей множества институций и центров силы?

В конце концов, удобно представлять, что есть как бы нулевой уровень посредничества, необходимый для самой возможности сохранения и передачи сообщения. Однако подобное представление требует последовательного разделения смысла (сообщения) и материи (канала), что в свою очередь ведет к признанию неспособности для материи быть отображением смысла без привнесения в него чуждых элементов, то есть без искажения. Неудивительно, что на этот эффект медиума указывает уже Платон в знаменитом рассуждении в «Федре» о недостатках письма. Совершенно иначе представляет ситуацию Гегель, для которого само оформление смысла требует первоначального процесса отчуждения и присвоения отчужденного, причем это отчуждение и последующее присвоение происходят посредством материи, прежде всего звуковой, преобразованной в форму речевой артикуляции [Гегель, 1977, с. 295]. В этом случае мы имеем не просто телесный субстрат, а особую форму выявления материи на пределе, в постоянной смене появления и исчезновения, благодаря чему *материя* знака становится *формальным* условием сообщения, не примешивая к нему никаких содержательных моментов.

Действительно, выделение и воспроизведение определенных различий в потоке звучания, среди оттисков, оставленных на поверхности вещей, простых колебаний в движении электрического сигнала и пр., не столько ведет к погружению в материальную субстанцию медиума, сколько, наоборот, к дополнительной воз-

возможности продвижения по его поверхностям и границам, как если бы речь шла о расширении возможностей передвижения и ориентирования тела. Однако, как и в случае движения тела, мы не только открываем для себя свободное пространство, но и сами вынуждены принимать установку присутствия на пределе, демонстрировать свою искусность, знакомство с техническими возможностями и т.п. Это и есть то овладение собой, которое позволяет гегелевскому Духу познавать себя, совмещая в себе внутреннее и внешнее измерение, спонтанность и свободу субъекта с подчиняющей необходимостью природного порядка. Таким образом, хотя мы и ограничиваем действительность медиума его присутствием на пределе, мы очерчиваем определенный горизонт, некий масштаб значимости самого сообщения, вскрывая в начальных фигурах смысла определенную конфигурацию тела, выработанный им порядок практик действия и чувствования.

Мы можем сформулировать последний тезис иначе: материальный медиум задает возможности внутреннего посредника, или медиума, без которого формация разума не может состояться как целое. Таковым медиумом является прежде всего образ, и уже достаточно много было написано о принципиальной зависимости внутреннего медиума от внешнего, образа от материального носителя (сошлемся, например, на работы Вилема Флюссера и Дитмара Кампера). Именно образ реализует в себе сложное сплетение и выравнивание внутреннего и внешнего, обеспечивая возможность бытия на пределе, а тем самым и явление самой границы присутствия. Что это за граница? Это — завершение и начало, и в этом смысле — это граница перехода, зона опасности и риска. Здесь одно заменяет другое, иногда восполняя, иногда замещая, а иногда вытесняя и занимая место прежнего. Данность этой границы возможна лишь в форме той или иной готовности, настроенности, и именно она составляет конкретность образа — образа чувств, действия, желания, но также и образа мышления, например, в качестве определенной последовательности знаков (понятие картины в «Трактате» Витгенштейна) или в качестве исходной артикуляции знака (акустический и психический образ в «Курсе общей лингвистики» Соссюра).

У Канта воображение — это, по сути, форма распада и синтеза в распаде, благодаря которому рассудку удается свя-

зять многообразие опыта в формы пространства и времени. Своеобразное самонасилие, определяемое как самоаффекция, как будто пытается попасть в ритм действия вещей в себе, недоступных, но опознаваемых в своей недоступности именно благодаря этому действию. В полной мере такое насилие проявляется в «Критике способности суждения», где восприятие возвышенного понимается буквально как предельный жест насилия над воображением. И хотя образ мыслится как действие рассудка, само это действие стремится вырваться по ту сторону чувства, чтобы найти собственное подтверждение и удовлетворение в действии самих вещей, в стихийной спонтанности, являющей природу как машину, *автоматон*, в которой разум узнает себя в самой возвышенной из своих идей. Вопреки автономии воли трансцендентальный разум одержим выходом за собственные пределы, и в этом сущностном движении, которое вполне можно понимать как влечение к контакту, коммуникации, встрече с Другим, образ ведет нас от внутреннего опосредования к внешнему, от образа-схемы к образу-медиуму.

В порядке цифрового разума кантовский образ пространства и времени должен быть понят как изначальная форма медиума и сообщения. Это значит, что вместо вещей в себе, образующих границы внешнего мира, предельным смыслом, схваченным в образе должно быть что-то другое. Очевидно, что таким предметом выступает здесь само *желание вступить в коммуникации*, тот внутренний недостаток или, наоборот, полнота в себе, которая является искомым объектом желания. Каково это желание? Прежде всего это желание идеального тела, проходящего сквозь границы и по границам без всякого ущерба (как приучают нас с детства многие мультфильмы, изображающие неуничтожимых и неунывающих персонажей). Его можно назвать медийным телом, поскольку оно существует лишь внутри сообщения, внутри своеобразного излучения (внимания/ответа/одобрения/понимания) Другого. И поскольку образ позволяет обживать границы присутствия, собственно наше медийное тело, его свойства и возможности, то тем самым в нем впервые достигает артикуляции связанное с телом желание. Образ делает первую насечку в самой стихии желания и тем самым создает предпосылку его последующих замеров, оценок и обменов. В системе цифрового разума

он занимает место нуля, принимая на себя роль означающего для всего числового ряда, первичным представлением цифры. Специфическая реальность медийного тела лежит в основе рассуждений Маршалла Маклюэна о природе медиа. Он предлагает считать первичной формой сообщения перенос, осуществляемый метафорой, при этом исток самой метафоры он находит не в речи, а в способности тела переводить опыт одних чувств на «язык» других [Маклюэн, 2005, с. 9]. О том, что тело позволяет конституировать первичный смысловой слой опыта, мы знаем, например, из работ Мерло-Понти, причем особое внимание он уделяет именно способности распознавать данные одного чувства в свете других, различать отдельные качества одного благодаря их акцентуации другим [Мерло-Понти, 1999, с. 301]. В этом случае сама организация тела как целого выполняет функцию медиума, доставляющего нам определенное сообщение, и если чувства мы часто называем каналами информации, то тело в целом служит устройством, которое соединяет в себе передачу и возможность анализа и уточнения информации (ее осознания и сохранения). С точки зрения Маклюэна, известные нам формы внешней трансляции сообщений существуют как развернутое вовне пространство чувств, в котором информация оформляется всегда согласно той или иной доминирующей системе кодирования, например, через сведение всех сообщений к форме зрительного представления, к потоку звучания или к определенной форме тактильного и кинестетического усилия.

Размышления Маклюэна опираются на достаточно известные факты доминирования одного из чувств в опыте человека, причем речь идет не о простом приоритете в восприятии зрительных или, например, акустических феноменов, а о вполне жестком кодировании одних чувств другими, образующем основу или, во всяком случае, подкладку сознания, следствием чего, как показал Пьер Жане, может стать утрата воспоминаний о целом периоде жизни при потере чувствительности в канале-доминанте [Жане, 2009, с. 112]. Можно сказать, что историческая смена господствующего медиума оказывается именно такой переконфигурацией сознания, которая ведет к продвижению новых культурных смыслов и форм, а вместе с тем и к забвению и даже полному стиранию старых.

Но здесь нужно обратить внимание еще на один момент. Сама по себе новая конфигурация чувств не давала бы нам по-

вода говорить о возникновении нового типа сознания, если бы и сознание, и чувственная конфигурация не были также новым способом мобилизации субъекта, без чего невозможно само его присутствие в мире как особого, всегда в той или иной мере автономного целого. Стоит вспомнить знаменитые рассуждения Жака Лакана о преждевременности рождения человека как своего рода рождении без тела [Лакан, 1997, с. 11], благодаря чему отношение к собственному телу всегда оказывается опосредованным работой желания и сложной системой воображаемых, по сути своей метафорических, соответствий, которые как раз и обеспечивают исходное собирание тела как целого. Это значит, что медийное тело, о котором говорит Маклюэн, должно пониматься нами не только в контексте производства или же трансформации смысла, но и в контексте желания, а потому и о цифровых медиа мы не можем говорить, отвлекаясь от вопроса медиавоображаемого или от того, насколько сама форма медиа включена в природу нашего желания и действия.

Метафора позволяет распознавать одно в свете другого, устанавливая не аналогию или сравнение, а своего рода провокацию, изменение установки взгляда, благодаря чему удается заглянуть в существенные качества целевого объекта. В этом смысле действие метафоры вполне соответствует взаимной настройке априорного схематизма и способности суждения. Действительно, отклонение от принятых норм грамматики и семантики все еще обусловлено априорной структурой, но при этом оно распознается как искусность и тонкость восприятия или речи, как способность к различению и вкусу, свидетельствующая об игре априорного и эмпирического порядков. Как было известно уже античным учителям риторики, природа тропов двойственна, поскольку, с одной стороны, они устанавливают новую связь, но, с другой, остаются формой отклонения, которая может быть закреплена чьим-то авторитетом, но может остаться лишь ситуативным и маргинальным явлением. Таким образом, следуя Маклюэну, мы приходим к современной версии кантовской способности суждения, порождаемой полем ризоматической связи субъекта и медиа.

Действительно, как способность суждения отклоняется от априорной грамматики ради вынесения конкретных суждений об опыте, так же и метафорическая природа медиума отступает

от «цифровой» модели сообщения, вытекающей из теории информации. Как пишет по этому поводу Дитер Мерш, *principium contradictionis*, лежащий в основе математической теории, определяет строгость выполнения уравнений *non (non) 1 = 1*, а также *non 1 = 0* и *non 0 = 1*, и это значит, что «итерации означают идентичные повторы, и наоборот — при каждом повторе возникает то же самое, в то время как в символическом регистре структурализма повтор означает различие и неизменно включает в себя, согласно Жаку Деррида, изменение, альтерацию. <...> Для этого преимущества третьего в механическом мире нет эквивалента, так же как и не существует принципа *Différance* для теории информации. В противоположность этому символическое раскрывается с помощью продолжающейся фигурации, которая постоянно переходит от метафоры к метонимии и наоборот, не имея возможности вернуться в исходное состояние или же завершить это движение» [Мерш, 2017, с. 167].

Математическое понятие коммуникации не схватывает символическую стихию языка, вытекающую из самого желания вступать в общение, устанавливать различия и отклонения, переносить акцент с одного на другого, переходить от внутреннего к внешнему, и обратно. Вместе с тем «цифра» и есть не что иное, как чистое различие, и в этом смысле она не столько претендует на содержательное понятие коммуникации, сколько предоставляет меру выражения и исчисления желанию быть в коммуникации, дает средство для превращения этого желания в «суждение», иными словами, в выражение и манифестацию себя в медиаполе. Если маклюэновское понимание медиа как метафоры включает представление о переходе, который мотивируется некой внешней причиной, то, как полагает Мерш, стоит изменить акцент и подчеркнуть в понятии медиа момент практики и искусства, благодаря которым любой переход осуществляется в едином материальном поле, в среде взаимодействия различных средств, позволяющих являть одно через другое, давать ориентиры и возможности передвижения от одного к другому [Мерш, 2017, с. 168]. В таком случае понятие медиума, которое традиционно восходило к представлению о магическом или божественном посредничестве, под водительством «цифры», выравнивающей весь мир до поверхности простых различий, наподобие 1 и 0, сходится к представлению

о некой чисто материальной и операциональной метафоре, возникающей в форме технических и искусственных уловок, таких как приближение отдаленного посредством телескопа, проявление изображения посредством химических реактивов и т. п.

Таким образом, медиа позволяют включить материальные отношения и процессы в саму структуру взгляда как изначальное условие для встречи и коммуникации с Другим; что же касается «цифры», то она расширяет практически до бесконечности возможности этого включения. Собственно, назначение тропа состоит именно в том, чтобы помочь увидеть мир «глазами» Другого. Фигуры дают не просто символическое или медийное тело, но и воспроизводят начальные условия видения, что позволяет приблизиться к точке зрения Другого в первичном «материальном» (кинестетическом, аффективном, фантазматичном) пространстве. Здесь стоит обратиться к размышлениям Вальтера Беньямина в статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». В трактовке этой статьи особое внимание уделяют понятию ауры и тезису о ее утрате, и, действительно, в эпоху технической репродукции объект искусства теряет ауру, потому что он вообще перестает быть объектом: он становится моделью, овеществленным способом видения. Объект классического искусства сохраняет дистанцию, удаленность от взгляда даже в своей непосредственной данности, он требует от нас собранности и концентрации внимания, его восприятие возвращает к строю религиозного ритуала, в котором мы обретаем саму возможность подлинного восприятия и присутствия.

Однако Беньямин подчеркивает не только утрату определенного типа восприятия, но и возникновение новой формы, порожденной включением в игру аппарата, технического медиума. Существенными моментами этой новой формы являются: 1) шокость воздействия, 2) рассеянность внимания против прежней концентрированности созерцания, причем сама рассеянность мыслится как 3) опривычивание, которое позволяет быть готовым к шоковому воздействию, контролировать ситуацию, выносить оценку происходящему [Беньямин, 2012, с. 228]. Эти моменты соответствуют новому способу существования человека в условиях массового, техногенного общества, а причина появления такого общества — становление капитализма как товарной формы про-

изводства, которая ставит на место Бога машину, заменяя сакральность творения ценностью производства, обмена и потребления. Рассеянность, опривычивание — это возможность перебора различных моделей, готовых к включению в любой момент, когда бы они ни были затребованы жизнью в условиях толпы, постоянно работающей машины города. Они должны быть мгновенно переведены из виртуального состояния в форму реакции, действия, что, конечно, достигает предельной формы выражения в спортивных играх, ставших идолами современных медиа, ну, и наконец, в играх эпохи «цифры», а именно в компьютерных играх.

Идеи Беньямина позволяют поставить по-новому проблему медиа, поскольку находят в них не только расширение тела, как у Маклюэна, но и способ выработки диспозиций тела по мерке социально-культурных преобразований. При этом возможности тела изначально оформляются в соответствии с некой внешней средой, которая и становится первичной формой медиации. Можно сказать, что сакрализации техники в современном мире предшествует сакрализация машины или автомата, возникшая еще в античности, когда машина понималась как уловка, обеспечивающая выход из порядка вторичных причин к первичной причинности как действию из самого себя (буквально: *автоматон*) индивидуальной или космической души. В дальнейшем машина начинает выполнять роль медиума познания, инструмента исследования природы и человека: зрения и распространения света (камера обскура, перспектива), памяти (театр памяти Джулиано Камило), мышления (*Ars Magna* Раймунда Луллия). Медиум действительно дает новый тип практики или искусства видения и ориентации в мире, но если Мерш подчеркивает независимость этой практики от действия аппарата, то, напротив, для Беньямина аппарат не сводится к внешней причине, поскольку в его устройство вложено определенное понимание порядка явлений и возможностей человеческого действия.

Цифровой разум представляет собой итог долгой истории, изменяющей понимание меры и использования исчислений, и его реализация в разнообразных *hard*- и *soft*-ипостасях всего лишь завершает перенос всевозможных материальных уравнений в сферу желаний, превращая материю мира в поток дополняющих друг друга образов, в бесконечность материального воображаемого.

Искусство «цифры» позволяет обживать и опривычивать мир, неограниченно распределяя внутреннее во внешнем и, наоборот, прививая антитела внешнего мира первородной органике желания. Оно создает «миры» во многом подобные снам (и потому конкурирующие с ними), поскольку те не исполняют желания, а позволяют бесконечно отсрочивать их удовлетворение, и превращают ожидание удовлетворения в виртуальную чувственность, наслаждение и страдание «цифрового» мира. Желание становится предметом суждения, которое принимает здесь форму выбора образа, идентичности, поскольку в этот выбор изначально закладывается стратегия отработки и удовлетворения желания. Другими словами, мы сопоставляем выбор идентичности в «цифровом» мире с рефлексивными суждениями у Канта или суждениями вкуса, с той оговоркой, что они завершают собой игру не только познавательных способностей, но и исходного желания быть в мире, вырабатывать образ и способ телесного присутствия в мире.

Рефлексивное суждение у Канта предполагает, помимо чистого формализма категорий и охватывающего их единства апперцепции, поиск конкретных общностей или парадигм, которые бы несли на себе оттиск неизвестной нам всеобщей основы человечества. Этот поиск происходит вдоль границы эмпирического и трансцендентального, в той области смешения и игры, которая как раз и активизирует необходимость постоянного различения и выбора, необходимость выработки вкуса и позиционирования себя в качестве эксперта. Наша идентичность в современном медиаполе задается именно таким образом, поскольку мы предъявляем себя вместе с готовым набором оценок и предпочтений, выставленных вперед в форме наших подписок, постов, перепостов, «лайков» и пр. Выбор и вкус в значительной мере опираются на память, поскольку она позволяет различать новое и старое; другой важнейшей опорой служит нарратив, поскольку он позволяет придать определенный смысл смене старого и нового и тем самым возвести актуальность или, наоборот, древность в ранг подлинной меры, основания для суждения.

Для традиционного представления прошлое естественным образом разделяется на то, что проходит в силу своей быстротечности и не заслуживает припоминания, и то, что, наоборот, об-

ладает полнотой состоявшегося, и потому не умещается в настоящем, сохраняя по отношению к нему дистанцию мифа, легенды, классического образца. Несомненно, архив является творением прежних форм медиации, тогда как современная сетевая память не нуждается в сохранении модельных образов прошлого, поскольку ресурсы цифровых медиа достаточны для сохранения любого объема не только значимой, но и явно второстепенной информации. Тем самым размывается различие значимого и незначимого прошлого, и сеть оказывается одновременно беспамятной и не способной забывать, всегда невинной и бесконечно злопамятной. Многие архивы уничтожаются за ненадобностью, при этом они все равно оставляют множество следов, что делает уничтожение неосуществимым, как будто прошлое оседает в самой материи мира и начинает вести в ней жизнь после жизни. Едва ли стоит удивляться тому, насколько навязчивым в современной культуре стал образ зомби, восставшего мертвеца, как если бы в нем воплотилась идея неотпущенных грехов человечества, превращающих земную жизнь в беспросветный ад.

По сути, живые мертвецы и есть современное истолкование прошлого, что в свою очередь превращает само настоящее из живой формы опыта в разновидность магического артефакта, управляющего армией зомби и мертвецов. Такого рода память устанавливает отношение не к времени жизни и смерти, а скорее к ранжированию образов, отмеченных большей или меньшей агрессией, большим или меньшим безразличием к артефактам, означающим власть настоящего над прошлым. Ницше первый обратил внимание на то, что память — это не просто способность удерживать прошлое и готовиться к будущему, но и радикальная измеримость, исчислимость человека, которая делает его предсказуемым, и только поэтому — способным что-то гарантировать, обещать, быть верным данному слову. Это измерение всегда было продуктом социальных практик, дисциплинарной мнемотехники, а также различных условий, обеспечивающих запечатление и воспроизведение прошлого.

Современные цифровые медиа, с одной стороны, позволили сделать еще один шаг в делегировании памяти машине, но, с другой стороны, они лишь переместили основной акцент измерения субъекта на уровень ниже — с сознания себя на уровень желания, которое прекрасно ориентирует в устройстве новейших гаджетов,

хранящих память о своих пользователях. Распределение памяти в пространстве мира, по-видимому, является вообще исходной формой ее организации, но эта модель предполагает способ непрерывной реактивации памяти, прежде всего посредством именования и рассказа, которые превращают внешние ориентиры в данность внутреннего переживания и сознания. Цифровая архитектура в отличие от физического пространства существует в режиме обращений и действий, которые совершаются на скорости, не соответствующей традиционным формам повествования. Но это не значит, что утрачивает значение ядерная структура наррации, определяющая исходное отношение к миру. Элементарный сюжет представляет собой не что иное, как определенную конфигурацию приобретения и потери, внутри которой возникает фигура героя, субъект сознания и действия. Уже В. Я. Пропп на примере структуры волшебной сказки показал, что повествование начинается с потери (или нехватки) и описывает путь, необходимый для приобретения недостающего. Начать с приобретения и закончить потерей — такова основа трагического сюжета, и, наоборот, начать с потери и завершить приобретением — основа комического. Герой возникает в результате потери, потому что оказывается способен превратить потерю в приобретение; таким образом, сюжет порождает не только героя, но и мир, в котором он присутствует и отражается и в котором обретает жизнь, и даже бессмертие. Возможно, современный мир знаменует кризис традиционных нарративов, ориентированных на освоение внешнего и внутреннего пространства, но это не мешает порождению всевозможных нарративов, осваивающих виртуальную архитектуру желания, будь то в форме кино, вселенной MARVEL или компьютерных игр.

Итак, мы коснулись структуры восприятия, памяти и наррации как наиболее значимых моментов, определяющих возможность суждения в условиях совершенно новой формации цифрового разума. Нам осталось ответить на вопрос о том, что же является основанием суждения, или, иначе говоря, что составляет саму *форму сознания в условиях цифрового разума*.

Сознание устанавливает способ связи, но в отличие от порядка разума здесь мы имеем дело с принципиально конечной, темпоральной формой связи, позволяющей присваивать идеальные (или дигитальные) структуры фактичности существования, присутствия

в мире. Связь времен осуществляется памятью и даже размывание границ прошлого и настоящего не отменяет необходимость выстраивать порядок последовательности, в котором все еще сохраняется мотив следования утраченному или недоступному объекту желания. Отдельный акт сознания не порождает связи, потому что не порождает следующего за ним действия. Так же шаг, удар, поворот не приводят к продолжающему их ряду действий, что хорошо видно по действиям слабоумных, которые, совершая действие, останавливаются в недоумении и непонимании того, что же им делать дальше. Нам приходится что-то делать, если предыдущее действие изменило положение тела или какого-то предмета, и мы вынуждены делать новый шаг, чтобы не упасть, или новое движение, чтобы удержать предмет, но это не более, чем реакция на изменение обстановки. Сознание и осмысленность действия появляются лишь тогда, когда результат действия становится условием и формой нового действия, потому что только в этом случае действие и его форма обнаруживают возможность развертывания в нить мышления и связывать разрозненные части этой нити единством *Cogito*.

Последовательность полагается на опыт времени и практики памяти, и потому она не является данностью сознания, а, напротив, устанавливается каждый раз заново как его форма, соответствующая той или иной формации разума. Мы всегда начинаем с запозданием, наши решения и действия определены положением дел, которому мы вынуждены подчиниться, и, однако, мы находим внутри всякой ситуации возможность завершения и начала, отграничения уже свершившегося и включения в настоящее. Но чтобы в потоке событий отыскать точку завершения, необходимо пережить само это завершение как утрату. Припоминание прошлого может питать ожидание и надежду на повторение, но ни поскольку оно ушло и завершилось, утрачено, а поскольку сама утрата восполняется в памяти о прошедшем. В завершеном есть то, что требует восполнения, в нем есть совершенство того, что сбылось, по отношению к чему настоящее никогда не будет обладать полнотой реального. Уже говорилось, что прошлое вспоминается как слабое, остывшее, но и, наоборот, как свершившее свой путь, свое предназначение, ставшее опорой и примером для настоящего. Прошлое совершенно, потому что оно исчерпало прежнее настоящее, открыв его будущему. Именно будущее обладает неизменным совершен-

ством того, что сбылось полностью и всемерно, и потому мы можем его ждать, надеяться на него, всматриваться в него, но получать лишь новое и новое настоящее. Полнота прошлого — это полнота потери, но оно создается и вспоминается, потому что сама эта потеря произошла и происходит в каждом настоящем, поскольку оно уже сейчас является как прошлое для будущего. Каждый миг завершения настоящего открывает его будущему, позволяя вспоминать прошедшее как полноту того, что сбылось, совершилось и именно поэтому и выскользнуло из потока настоящего.

Именно этот факт — будущее сбылось — позволяет соединяться множеству сил, чувств и действий в единство Я, которое и есть не что иное, как форма взаимообращения настоящего, прошлого и будущего. Мы говорим, что сознание интенционально, предполагая центром интенций позицию настоящего, но сама возможность направленности на что-то говорит о том, что данность предмета уже совершилась, установив само различие и единство акта и предмета. В самой структуре настоящего будущее уже совершилось, и как полнота совершившегося оно не может быть удержано этой структурой и неизбежно ею утрачивается. В известном смысле современный мир, оснащенный машинами, с помощью которых мы живем, воспринимаем, помним, воображаем и даже желаем, стал символом этой утраты, потому что будущее в его обычном смысле (как открытие нового, развитие, прогресс, расширение возможностей и пр.) связывается уже не с человеком, а с совершенствованием машин и техногенных условий жизни. И если именно полнота присутствия (бытия, Бога, морального закона) традиционно выступала предельным коррелятом разума, то теперь едва ли не единственным допуском к нему стала полнота утраты — не только прошлого, но и будущего.

Есть ли возможность в условиях современного цифрового мира говорить о соответствующей ему форме сознания? Прорываясь, многие первым делом включают компьютеры, как если бы включенность в порядок сетей, машин и цифровых кодов составляла исходную форму присутствия, медиальное «Я включен», соответствующее прежнему трансцендентальному «Я мыслю». У Канта «Я мыслю» выступало единством как разума, так и сознания, потому что обе части этого суждения отражались друг в друге, обуславливая не только формальное единство, но и ус-

ловие действия с позиции разума, то есть условие сознания. «Я включен» отмечает способ присутствия в Сети, но не проясняет единство включенности и Я, сознания Я как включенного, измеримого, открытого коммуникации. Что же определяет возможность быть включенным в этот новый порядок мира, обладать разумом, который признает этот порядок и узнает себя в нем, несмотря на свою полную зависимость от задаваемых им условий? Стоит вспомнить, что у Платона память понимается как дар Мнемозины, она тем самым принадлежит области данного, и лишь усилие воспоминания превращает эту данность в свидетельство прошлого, так же как оно превращает данность чувств в узнаваемый образ. Гуссерль называл это усилие модусом «Я могу», чтобы выразить специфическое состояние сознания, одновременно укорененное в настоящем и свободное от него. Когда память предпочтительно становится делом внешнего носителя, все еще остается акт «Я могу» как возможность собирания разума.

Очевидно, что речь идет о способе существования в становлении, в многообразии условий и контекстов, и, однако, это форма сознания, в которой уже установлено различие прошлого и настоящего, как и сама форма последовательности. Полаганием «Я включен» признается тотальная измеримость присутствия, охватывающая все стороны его как физической, так и психической и социальной жизни, и то же самое мы должны сказать о сознании «Я могу», от которого ждут подтверждения и готовности быть измеренным и просчитанным. Но в этом случае измеряемость вовсе не предполагает пассивность, а, наоборот, утверждает само-отчет, рефлексию, взвешивание и измерение своего присутствия. Классические формы суждения «Я есть» и «Я мыслю» значимы не своей очевидностью, а признанием катастрофы, которой может обернуться утрата бытия в хаосе политического или космического беззакония, как и утрата ясности мысли в безысходном скептицизме и непримиримости антиномий. Точно так же и «Я могу» отвечает вызову, который приходит вместе с формацией цифрового разума в виде колоссальной невротизации и анемии современного мира. И именно поэтому «Я могу» утверждает не только исчислимость, но также и предел исчислимости, побуждая к исчислению и оставаясь недостижимой целью всех исчислений, коррелятом нового цифрового разума, его телеологией.

Литература

- Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей. М.: РГГУ, 2012.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.3. Философия духа. М.: Мысль, 1977.
- Жане П. Психический автоматизм. Экспериментальное исследование низших форм человеческой деятельности. СПб.: Наука, 2009.
- Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М: Русское феноменологическое общество, 1997.
- Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 2005.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999.
- Мерш Д. Мета/Диа. Два различных подхода к медиальному // Медиареальность: концепты и культурные практики: учебное пособие / под. ред. В.В. Савчука. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2017.

К. А. Очеретяный

СПбГУ

Фейкт — единица цифрового опыта

Роль подделки в культуре до сих пор не оценена по достоинству. Подделку порицают и презируют, ее преследуют и старательно выявляют, а выявив, непременно наказывают. Забывают, впрочем, что подделка неоднократно оказывала пользу, в том числе и создателям оригинала; ведь чаще она не столько замещала и вытесняла его, сколько давала о нем представление — была медиумом оригинала. В самом деле, если бы не подделка и ее неконтролируемое распространение, как бы еще познакомились с оригиналом те, кто прямого доступа к нему получить не мог? А если бы не утончающееся мастерство ищущих наживы создателей подделок и не растущие запросы аудитории, кто бы еще выдвигал императивы к создателю оригинала и обеспечивал его творческий рост? Тем самым ее роль исторически оправдана. В подделке стоит видеть если не прямую причину, то по крайней мере фермент, ускоряющий культурные процессы в социальном теле: не только хитрость отдельного человека или группы людей — стремление к выгоде, но и хитрость человеческой истории, через умножение и распространение подделок, заставляющей мастеров совершенствовать свой навык, а публику — свои вкусы.

Ключевые слова: фейкт, доверие, эпистемология, медиафилософия, пост-правда.

Если в подделке издревле видели нечто запретное, если ей предписывали даже не способность исказить оригинальное произведение, а силу воплощать саму ложь, то это связано не с психологией, ищущей защиты усилий, вложенных в творение, не с материальной стороной дела (репродукцией) и даже не с искомой целью подделки, пусть и постыдной — присвоить себе чужую славу, богатство, имя и т. д.; это связано с экологией мистического видения — с борьбой за чистоту опыта. Вещи должны быть увидены так, как они есть, а видение это должно быть сохранено, поддержано традицией и передано социальными институтами иным поколениям. Жрец, философ, художник — тот, кто видит вещи неискаженными, тот, кто ответственен за хранение изначального опыта, тот, для кого в бытовой стороне вещей сохраняется зеркало их бытийной сути. Известно, что любая традиция негативно относится к новому, так как любое нововведение грозит внести

непоправимые изменения в стихию устойчивого существования. Часто ряд уже осуществленных завоеваний оказывается более значимым для общества, чем нововведения; первые поддерживают его жизнь, последние подвергают его риску. Однако новое, сначала гомеопатическими дозами, проникает в социальное тело, а затем и вовсе становится его ключевым питательным элементом. Общество становится открыто изменениям, они уже не столько угрожают ему, сколько испытывают его иммунные системы, приводят к развитию социальных сил и росту пластичности социального тела: степень негативного вклада все более снижается, общество становится способным принять все больше нового, взять на себя все больше риска. В конце концов общество начинает жить исключительно новым, ему требуется все больше актуального опыта — без обновления питательной среды нового общества оно деградирует: новое время, новости, новеллы — все это продукты одних и тех же ключевых трансформаций в логике общественного развития. Требования к подлинности и подозрение в подделке стремительно растут.

Дело в том, что видение вещей неискаженными, за которые в разных традициях были ответственны жрец, философ и художник, — это усилие по обновлению духовного зрения: борьба против социального автоматизма, против превращения поэзии в формулу, за бытийное против бытового. Тот, кто создает подделку, делает как бы внешний слепок вещей, не проникая в смысл их бытийного устройства — онтологическую слепоту выдают здесь за видение подлинности. Уже Аристотель полагал, что вещь — форма бытийной собранности, а определение как речь о сути вещи, то есть онтологически выверенное именование вещи, не является результатом произвола, конвенции, но есть ее энергия, сбывание вещи из таинственных онтологических глубин. В вещи собран мир, в слове собрана вещь, вещь сбывается в имени. Вещи, оформляя бытийный опыт, жаждут слова, жаждут звучать и говорить о том опыте, который они своим существованием высветили, — жрец, философ, художник оставляют в вещах и именах некий духовный орган, позволяющий видеть, чувствовать, мыслить мир. Отсюда формула М. Мерло-Понти — «художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело», отсюда же роль научного метода в психотехниках социального тела — все

способы собирания мира в вещах и речах, которые они вызывают, должны идти от видения и опыта нового в сопротивлении социальному автоматизму — легковесности уже виденного. Если жрец, философ, художник, ученый оставляют тело как органон, как орган экзистенциальной ориентации, то создатель подделок — это похититель тел, он не может создать орган понимания, чувствования, видения, но может переприсвоить уже созданное — он паразитирует на уже бывшем, копируя внешнюю сторону вещей и тем самым лишает социальное тело пластичности — силы обновления.

Не все сказанное одинаково, то есть одними и теми же словами, имеет равный смысл и равный символический вес: смысл сказанного не только в значении или в интонации, но и в опыте, который часто невозможно подделать. Мудрость, высказанная человеком, пережившим опыт, звучит иначе и задевает глубже, чем та же мудрость, которая высказана незрелым умом. В случае человека, опыта (в том числе и духовного) не имевшего, мы имеем дело не с высказыванием, а лишь со стершейся формулой. Подделка может быть материальным медиумом оригинала, и тогда она исполняет миссию распространения силы онтологического высказывания, но изначальное произведение является введением в нематериальное видение: у оригинала есть феноменальная и ноуменальная сторона, поэтому он никогда до конца не выражается в явлении, даже если явления для его выражения стремятся выстроиться в бесконечный ряд; у подделки есть только феноменальная сторона, она не имеет корней, уходящих в прасоциальную, пракультурную, прачеловеческую, праприродную действительность. Все меняется по мере роста феноменов — количественного увеличения свидетельств соприкосновения с миром.

По мере роста пластичности социального тела, открытости риску и усиливающейся жажды нового требования к подлинности и подозрение в подделке возрастают настолько, что вещи перестают говорить сами за себя: появляются сообщества экспертов, которые легитимируют вещь в ее подлинности. Сначала это касается географических и антропологических открытий — множество мест и племен, которые нельзя увидеть, заменяются описаниями и изображениями; затем — научных открытий: множество феноменов фиксирует не столько опыт человека, сколько его техниче-

ские и мыслительные установки, а язык научного описания феноменов в условиях растущей специализации редко становится понятен даже представителям смежных областей; власть сообщества экспертов приходит в искусство, которое после возникновения фотографии вынуждено отказаться от репрезентативности и уйти в иные практики; наконец, по мере увеличения роли средств технологической воспроизводимости, производиться начинает вся жизнь человека в целом, а эксперты приходят в повседневность — определяя вкусы, настроения, желания, марку сигарет и парфюма. Поскольку только коллективными усилиями экспертных сообществ удастся отличить оригинал от подделки, истину — от лжи, а всякая коллективность приводит к росту общности понимания и девальвации исходного опыта, его переводу в абстракцию, речь уже не идет о том, чтобы соотнести факт с ноуменальным онтологическим измерением, достаточно хотя бы того, что феномен не будет противоречить феноменальному ряду, в который его пытаются включить, — сам опыт начинает пониматься принципиально иначе: опыт переживания, вовлечения, со-общения заменяется опытом интерпретации, опытом сообщества. Борьба за истину и рост фобии лжи в условиях пролиферации нового приводит к тому, что сама истина приобретает иной формат.

Уже Лейбниц показал роль экспертных сообществ в стабилизации реальности — в ее освоении, одомашнивании, упрощении. В работе «О способе отличия явлений реальных от воображаемых» (1705–1707) он признает существующим то, что дано посредством отчетливого восприятия, однако отчетливость — это не психологическое свойство мыслящего «Я», а яркость, многогранность и согласованность явления: наиболее надежный его признак — согласие со всем ходом жизни. Иными словами, для Лейбница согласие явлений и есть действительность; он даже утверждает, что если бы сновидение было достаточно ярким, переживалось бы коллективно (то есть другие видели бы схожие с моими сны) и длилось целую жизнь, то оно и было бы реальностью. Право на легитимацию связи явлений, право на их согласование вполне могут быть переданы сообществу экспертов. Попытка укротить пролиферацию феноменов связью, которую устанавливают и поддерживают эксперты (обладающие соответствующими экспертными технологиями), а реальность определить через

согласованность феноменов, отличив ее продукты от продуктов воображения (обладающих сравнительно меньшей согласованностью), — изобретение недавнее. Известно, как важна роль сна, галлюцинации, воображения в самых различных сообществах. «Мы находим в официальных анналах Асархаддона запись о фантастических чудовищах — двухголовых змеях и зеленых крылатых существах, которых видело изнуренное войско на самом утомительном участке пути в безводной Синайской пустыне. Можно вспомнить, что греки видели Дух Марафонской равнины, появившийся во время решающей битвы с персами. Что же касается чудовищ, то египтяне Среднего Царства, так же боящиеся пустыни, как и их современные потомки, изображали драконов, грифонов и химер наравне с газелями, лисицами и другими пустынными зверями» [Франкфорт и др., 1984, с. 32]. «В одном из документов, относящихся ко времени крестовых походов, подчеркивается, что при взятии Иерусалима в 1099 г. вместе с живыми на штурм шли и все те, кто погиб в пути» [Кардини, 1987, с. 136].

Но не столько явления из сферы фантазии оказывались инкрустированы в якобы намеченные границы между сном и бодрствованием, опьянением и трезвым разумом, сами границы обладали жизненной динамикой и не оставались прежними. Длительное время требования к точности мер и длин были менее строгими: средневековые меры — меры тела и самой земли — землемерии, а не геометрии, поэтому они были фактически несоизмеримы и зависели от конкретного места, также как и длины часа зависели от времени года. То же касалось и составления карт. Незнание (или скорее забвение) принципов проекции объема на плоскость привело к тому, что карты были скорее символическими, чем математическими; более точные морские карты показывали только расстояние и направление, но и они, созданные по показаниям компаса, вынуждены были учитывать смещение магнитных полюсов Земли, а потому все время находиться в движении, не обладать статичными координатами. Устойчивая сеть категорий как способ ориентации в мышлении — продукт не менее поздний, чем устойчивая сеть координат как способ ориентации в пространстве, времени, причинно-следственной связи. Чистый разум учреждал себя в противовес нечистой силе, но чем больше освящалась его чистота, тем большее вытеснялось им — признавалось нечистым.

Если древнегреческий философ Гераклит полагал, что люди, пока грезят, существуют в индивидуальных и замкнутых мирах, а пробуждаются непременно к единству общего разума, то Лейбниц согласен предположить, что не только общий для всех разум, но коллективный фантазм более реален, чем прихоть индивидуальной фантазии. В конце концов разум может быть коллективной грезой, длящейся поколениями, то есть возможно предположить сон в форме разума, где главное согласие явлений, а согласие явлений может быть согласием экспертов. Однако индивидуальное сознание видит в этом закономерный ущерб: эксплуатацию большинством меньшинства. Ведь связь явлений наиболее прочна там, где она достигается высокой степенью согласия, а высокая степень согласия покупается слишком высокой ценой — его упрощением. Гегель обратил внимание на то, что любое знание явления есть в то же самое время и явление знания: мы знаем не столько вещи, сколько знания о них. Э. Ауэрбах в отношении другого вопроса заметил, что историк уже по сложности и многообразию материала, с которой ему приходится работать, вынужден придавать своему знанию повествовательную форму, превращать исторические факты в рассказы, тем самым переводя историю в мифологический формат. Сон в форме разума, миф в форме знания позволяет нам видеть только самого себя, иначе говоря, только принципы своего согласования, однако избыточная согласованность становится легкой мишенью для подозрения, если не грушей для оттачивания критического удара — диктатура большинства, неизбежно приводит к бунту индивидуального сознания. Наиболее заметно это в ситуации информационного сообщества и цифровой революции.

С ростом и развитием технологий — экзоскелета социального тела — новое растет в таком количестве, что его пролиферацию вынуждены контролировать те, кто компетентен в том, в чем никто другой не компетент, — сообщества экспертов; остальные вынуждены верить на слово упрощенным моделям и расхожим формулам. Причем научные эксперты мало чем отличаются от всех остальных — экспертов художественного вкуса, оценки политических событий, оценки развлечений, экспертов бытовой техники и одежды. Рост специализации мешает прямому видению, но укрепляет веру — впрочем, и вера становится односторонней:

растет доверчивость к связи событий, растет до своего логического и исторического предела, где она превращается в свою противоположность — тотальное недоверие ко всякой возможной связности. Любая связь объявляется порочной. Любая ясность и отчетливость — подозрительной. З. Фрейд мог еще делать предположения от абсурда и в этом смысле принадлежал традиции Лейбница (одному из первых авторов, заговоривших о бессознательном): «Сделаем теперь фантастическое предположение, будто Рим — не место жительства, а наделенное психикой существо — со столь же долгим и богатым прошлым в котором ничто, раз возникнув, не исчезало, а самые последние стадии развития сосуществуют со всеми прежними. В случае Рима это означало бы, что по прежнему возносились бы ввысь императорский дворец на Палатине и Septimontium Септимия Севера, а карнизы замка Ангела украшались теми же прекрасными статуями, как и до нашествия готов и т.д. Больше того, на месте Палаццо Каффарелли — который, однако, не был бы при этом снесен — по прежнему стоял бы храм Юпитера Капитолийского, причем не только в своем позднейшем облике, каким его видели в императорском Риме, но и в первоначальном облике, с этрусскими формами, украшенном терракотовыми антефиксами. Там, где ныне стоит Колизей, можно было бы восхищаться и исчезнувшим Domus Aurea Нерона; на площади Пантеона мы обнаружили бы не только сохранный для нас Пантеон Адриан — на том же месте находилась бы и первоначальная постройка Агриппы. На одном и том же основании стояли бы церковь Maria Sopra Minerva и древний храм, на месте которого она была построена. И при небольшом изменении угла зрения появлялось бы то одно, то другое здание. Нет смысла развивать эту фантазию далее — она ведет к чему-то несообразному и даже абсурдному. Историческая последовательность представима лишь посредством пространственной рядоположенности <...>» [Фрейд, 1992, с. 71]. То, что для Фрейда абсурдная фантазия, для цифрового измерения современной культуры — обыденность. Для обитателей цифрового универсума как раз всякая связность, в том числе пространственная рядоположенность, вызывает подозрение в манипуляции. И речь идет не столько о нечистой силе, прорвавшей цитадель чистого разума, речь идет об изменении связей внутри разума, об изменении

отношений между истиной и ложью, оригиналом и подделкой, фактом и фейком.

Массовая фабрикация вещей и событий приводит к тому, что люди становятся одинаково открыты всем возможным историям, всем возможным эпохам, всем возможным мирам — всему, кроме самих себя. Мы вынуждены знать больше чем нужно, жить чужими жизнями, испытывать на себе опыт чужих переживаний. Сеть как условие свободного высказывания становится инструментом учреждения действительности: в Сети немногие интересны многим, а многие — никому неинтересны, следовательно, степень реальности у обитателей Сети разная; немногие действительны, а многие — недействительны. Ускорение коммуникации и рост информационного оборота приводят к дефициту времени: интерфейсы наших устройств, по видимости облегчая нашу работу и предоставляя нам шанс творить большее, на деле вынуждают нас не только глубоко погружаться в часто излишние технические детали, но требуют большей концентрации, большего внимания, больших скоростей реакции и большей открытости к обратной связи.

В такой ситуации вкус, оценка, понимание, а часто даже выражение удовольствия, внимания и заботы должны приходить извне. Видеоблоги не только информируют нас о существовании того или иного предмета, того или иного региона, но и испытывают восторженное его переживание за нас. Мы подключаемся к избранному нами каналу, чтобы отключиться, а за нас эксперты обживают галлюцинаторный аутоэротический дискурс, касающийся вещей, событий, лиц. Уже не художник оставляет нам свое тело, но мы предоставляем свое тело видеоблогеру, стремимся обрести плоть — как степень реальности в социальных медиа. Закрытие Windows и открытие окна кажется непозволительной роскошью, поскольку та согласованность явлений, которую Лейбниц предписывал действительности в качестве теории, теперь предписывается социальной действительности в качестве общеобязательной практики. Формула Й. Бойса «каждый человек художник» выворачивается наизнанку — каждый человек принужден к художественному творению, в ситуации онлайн-бытия он вынужден перманентно производить свой образ в Сети и цифре — его персональная идентичность капельно орошается трудовым потом и выстраивается через

сопоставления усилий с усилиями других. Он оказывается как бы в Kust-лагере (по аналогии с концлагерем), где самодокументация становится повинностью. Однако усилие по выстраиванию собственного образа в условиях цифрового ритма существования и предельной интенсивности событий оказывается чрезмерным — оно истощает. Создание нового в одиночку экономически и символически затратно, а подключение к уже созданному мнению, событию, истории кажется в высшей степени эффективным: при этом подключение к телу блогера, мыслящего и чувствующего за нас (и самое главное — располагающего большим временным ресурсом), приводит к тому, что каждое подключение увеличивает степень его реальности и ослабляет степень реальности подключившегося. Человек в ноосфере цифрового универсума становится носферату — вампирическим охотником за телом другого, поскольку само его тело, память, сознание, непрерывно растворяется в информационных каналах. Из источника информации он превращается в переносчика информации, в переносчика чужого опыта — и самой продуманной тактикой борьбы за свободу в этой ситуации оказывается медиапаразитология.

Если свободы нельзя достичь в производстве информации, поскольку инстанции, определяющие опыт мира монополизированы, а связь явлений — дело экспертных сообществ, то свободу следует утвердить в смешении устоявшихся кодов: в сбое системы, в девиантном поведении, в глитчах и троллинге. Борьба за существование начинается с требований всеобщего права на фейк. Поскольку подлинным опытом в условиях кризиса информационного перепроизводства является не столько опыт подлинно нового, сколько подлинно новый опыт — его новизна должна быть прежде всего определена отличностью от всего уже виденного и слышанного. Каждое определение предполагает включение нового в устойчивые смысловые связи — оно ослабляет чувство новизны, каждый новый рассказ развивается из уже известных, поэтому его сюжет можно предположить. Фейк обещает радикальный разрыв с уже известным, истину не как согласие, а как раздор, непримиримость, как бунт. И в качестве бунта он вызывает сочувствие, как вызывают сочувствие всякий шум, всякий сбой, всякие помехи в предельно четком идеологическом видении. Фейк обещает новое как таковое и потому не важно, что он иска-

жает, важно, что в этом искажении сквозь маску информационного аватара проглядывает человеческое лицо — человек узнает самого себя вопреки нечеловеческому сцеплению событий в непроницаемых структурах порядка.

На ранних этапах технологического развития подделка замещала оригинал, на поздних этапах, когда сам оригинал оказывается технически воспроизводим, отличительной особенностью, принципом индивидуации, пусть и в качестве дефекта, обладает только подделка — на нее начинает обращать внимание и рынок, она становится предметом розысков коллекционеров, а не только борцов за авторское право. Но в условиях цифрового сообщества, когда действительность оказывается технически воспроизводима, согласование явлений вступает в конфликт с их яркостью и многогранностью: информационные передозировки, усталость от поставленного на поток производства нового приводят к тому, что новое видят как вспышку сверхновой, как радикальный разрыв связи с уже существующим — как момент свободы, пусть и ценой сбоев в социальном автоматизме. Соответственно, если в прошлом подделка паразитировала на подлиннике, но давала обратную связь и была исторически оправдана, заставляя мастеров совершенствовать свое мастерство, а публику — вкусы, то сегодня хитростью цифрового разума (а вовсе не отдельных людей) оказывается ситуация, в которой подлинник вынужден паразитировать на подделке: примеряться к ней, использовать ее настроение и стиль. К. Шмитт показал, что враг — фантазм сообщества: оно узнает себя перед лицом врага, но враг — это его собственная греза. Сообщество грезит врагом и только поэтому существует. Аналогично разум грезит безумием и только поэтому существует, порядок грезит хаосом и только поэтому существует, коммуникация — срывом. Цифровые формы существования — переход от грезы к действию.

Художники давно заметили, что цифровое искусство объединяет возможности живописи и фотографии: субъективность, свободу и нереальность с объективностью, механикой и реальностью. В обыденном опыте, точно так же как в опыте искусства, цифра стала принципом неразличимости воображения и объективности, свободы и необходимости, факта и фейка. Теперь разум для того, чтобы быть самим собой, должен не грезить безумием,

а быть им. В условиях информационного изобилия (всевидения при хронической смысловнепроницаемости) человек, сопротивляясь превращению в переносчика информации, видит себя человеком только в качестве источника помех: отсюда феномены троллинга, распространения шок-контента, сетевых девиаций. Но и на глобальном информационном уровне (на уровне цифрового существования) разумные формы коммуникации, ориентированные на дискурсивность, как будто уходят в прошлое. Современная коммуникация — это вызов, ее содержание — шок-контент. Самым публичным становится самое приватное, самым обычным явлением — скандал, самым привычным обращением — оскорбление. В пределе — самое неразумное поведение в условиях бытия-онлайн становится самым разумным для увеличения признанности. Порядок должен быть представлен как хаос, коммуникация — как собственный срыв, факт — как фейк, иначе все они не будут определены в качестве действительного разума, разумной коммуникации, внушающего доверия факта. Наша современная информационная история, — это история багов, глитчей, спама, фейков, троллинга и т.д. Машины социальной коммуникации работают только в сбоях, информация все больше напоминает шум. Множественная-аватар-идентичность позволяет создавать помехи в информационном поле и таким образом задавать индивидуацию, по крайней мере на уровне сбоя. Области, которые считались маргинальными и даже девиантными, получают статус резервации подлинности.

Факт и фейк свободно переходят друг в друга, создавая фейкт — единицу цифрового опыта. Дело не в том, что невозможно отличить истину от лжи, разум от неразумия; дело в том, что разум перестает быть серьезным, если он подает себя в форме разума, истина становится идеологией, если она говорит только о собственной связности. Подобно тому, как в показаниях свидетеля, в речах влюбленного должна присутствовать несогласованность — иначе они превращаются в набор риторических приемов, несогласованность должна обнаруживаться и в самой реальности, в качестве ее алиби. Анализируя феномен насилия, В. Беньямин, замечает, что о насилии всегда говорят как об используемых средствах, но никогда как о самой цели. Насилие как цель и его возможное телеологическое оправдание — вот ключевой вопрос тео-

рии насилия. В. Беньямин дает ответ на этот вопрос, различая насилие человеческое и божественное: человеческое насилие разрушает устоявшийся порядок для того, чтобы установить новый; божественное насилие разрушает порядок для того, чтобы не устанавливать никакого порядка. Фейк как сцепка факта и фейка, как насильственный вывод из социального автоматизма в шум и сбой — это способ реанимации присутствия, личностного вовлечения, личностного переживания, введение в бытие от первого лица, без какого-то предзаданного порядка, без рабочих ориентиров.

Задолго до того, как единство времени, пространства, причинно-следственной связи устанавливалась теорией, сообществом экспертов и т. д., она устанавливалась собственным телом, в боли и удовольствии, в акте жертвоприношения. Цифровая реальность так же претендует не на истину и ложь как таковые, а скорее на вовлечение в сопереживание — на попадание в тон. Космос цифровой реальности, как и античный космос, — скорее музыкальное целое, пространственно выраженная музыка, единство интонаций; скорее со-настроенность, чем со-общество. В эпоху борьбы за подлинность истина устанавливалась теорией соответствия явления и речи о нем. В эпоху борьбы за согласование явлений друг с другом истина устанавливалась теорией эффективности. В эпоху всеобщего права на фейк, когда согласие вещей и речей выглядит чем-то искусственным, идеологически выверенным, истина устанавливается теорией эффектности. То, что задело нас, то, что не перестает в нас жить, то, что пробуждает нас от успокоительных ритмов автоматизма повседневности, что звучит в нас новым настроением, то и остается в качестве истины. Мы ориентируемся в новой цифровой реальности благодаря боли и удовольствию, мир все меньше становится нашим представлением и все больше нашей волей, тем, что увеличивает или уменьшает степень нашего могущества. Мы переживаем истину драматически.

Воображаемые пространства, воображаемые времена, воображаемые лица могут быть более истинными, чем их условно-реальные двойники. Но в условиях цифры реальности необходимо уподобляться фантазии. Фейк способен сказать больше о социальном воображении, о коллективных надеждах и страхах, об аффектах, чем факты, которые говорят только о самих себе.

Когда факт уже не может восприниматься всерьез в силу своей очевидности, а значит и незамысловатой простоты, а фейк, хоть в него и не верят, вызывает все больший интерес — силой формулировки, парадоксальной игрой социального воображения, факт и фейк вступают в отношения взаимодополнительности. Возьмем распространенный сюжет из рекламы, где на фоне личностной выразительности и эмоциональной яркости товара (моющего средства, энергетического батончика, газированного напитка) действуют и говорят обезличенные в своих типажах человеческие фигуры. Лик вещи куплен здесь превращением человеческого лица в личину. И обратный пример: подобно тому, как существуют древние вещи и вещи, искусственно состаренные, продающиеся на рынках и в небольших магазинах самых разных городов, существуют и культуры древние и искусственно состаренные. Культура может искусственно поддерживать свою древность в целях роста влияния или даже в прикладных коммерческих целях, например, предлагая себя как возможный предмет туристического спроса. Однако императивы глобализма показывают, что работа над поддержанием, пусть даже искусственной, древности оказывается часто более напряженной, чем выход в современность. Как искусственно состаренные вещи в акте ручного нанесения сколов и трещин рождают из духа сопротивления идентичности массового производства чувство истории — бывшести в употреблении, хождения в круге лиц, так и культуры, искусственно состарившие свой возраст, могут давать большее; обратная перспектива истории — достраивание причин, исходя из имеющихся следствий, — провоцирует работу воображения, позволяет жить в фантазии, видя во всякой конкретно-исторической воплощенности несовершенство и неполноту. Время здесь оказывается истинным, несмотря на его внешнюю искусственность, поскольку зеркально открывает глубину субъективности; оказывается временем не всеобщей истории, а истории индивидуальной, инспирированной работой нашей фантазии. Покупая такие вещи, мы покупаем в мире одноразовых продуктов, окаймленных рекламой, то есть чужим или даже отчужденным сознанием, — право на миф, право на фабрикацию собственной истории в свободе воображения. В первом случае претензия на истину оказывается вовлечением в чужую историю (и торжеством ложного отчужденного

сознания), во втором — заведомая ложь позволяет создать историю самому (проявить автономию творческого духа).

Фейкт совмещает эффективность лжи с простотой истины, он снимает антагонизм факта и фейка, возводя их отношения в иную степень реальности. Рано или поздно даже вещи, обладающей мифом, придется симулировать его отсутствие. Шоколад без упаковки — это шоколад в естественной оболочке, та еще история; моющее средство без рекламной истории — продукт экологического дискурса, претендующего на отсутствие идеологической добавки и т.д. Неудивительно, если действительно древним городам придется подражать городам искусственно состаренным. Фейковые аватары в социальных сетях уже сейчас наращивают цифровую мускулатуру: их преследуют, а потому им необходимо быть более реальными — гиперреальными. Их привлекательность приводит к тому, что им симпатизируют, им завидуют, их эстетический ресурс заимствуют — и только на основании доверия еще возможен диалог. Фейкт, как неразличимость факта и фейка, требует решимости — вне объективных критериев выбора он актуализирует вкус, одновременно чувственную и сверхчувственную способность, ориентирующую в чувственно-сверхчувственной цифровой реальности. Сила фейкта в том, что он ни за что себя не выдает и в этом смысле самодостаточен. Напротив, фейкт предъявляет новые требования к нам — требования веры, доверия, способности выйти из себя (из своих суеверий и фантазмов) и открыться многообразию опыта веры. Фейкт не опознают, его не оценивают, им не смущаются — им живут, как живут верой, иначе остается жить суевериями — отчужденными, спроектированными вовне и гипертрофированно неудовлетворенными желаниями.

Греческое слово πράγμα, эквивалентное русскому «вещь», происходит от πράσσω (я делаю) + -μα (суффикс, фиксирующий результат). Вещь — сделанное или воплощенное. Немецкое ein Ding, как и английское a thing, восходит к протоиндоевропейскому *tenkó-, от *tenk- («быть подходящим») в первоначальном смысле «подходящего времени» (например, когда цветут цветы или животные достигают половой зрелости, или воплощаются замыслы), а затем «собраний», «вопроса для обсуждения». Уже не вещь собирается как воплощенное время, то есть открывает свою истину в порядке природы, но ее собирают речи, она вызывается на бе-

седу в порядке культуры, ее истина устанавливается обсуждением и тщательным расспросом. В этой связи можно вспомнить, что категория как понятие, отражающее существенные свойства и связи явлений, так же от др.-греч. κατηγορία «обвинение», в конечном счете из праиндоевр. *kenta «вниз, через» + áyopá «народное собрание». Таким образом, немецкое ein Ding и английское a thing родственны слову «тинг» (сканд. ting, исл. þing, нем. Tag), обозначавшему древнескандинавское и германское народное собрание, на котором дознавались истины вещей, их ценности и смысла. Русское «вещь» (ст.-слав. вѣщь) также близко «вече» (ст.-слав. вѣште) — собранию для обсуждения важных дел общины.

Прежде того, как вещь становится реальной в чувственном опыте, она должна стать предметом настроения, тяжды, заботы; ею должны жить, она должна отражать интерес, схватывать его, воплощать и возвращать. В вещи сходятся настроения и интересы, поэтому она и является миниатюрным зеркалом космоса, всего смыслового устройства реальности. Фейкт возвращает опыт вещи (в том числе события, лица) как опыт захваченности. Фейкт — в отличие от факта и фейка — не является категорией познания, это модус существования, настроение, тон. Вовлеченность в фейкт говорит о настроенности — о том, что предшествует разделению на истинное и ложное, на фактическое и фантазматическое: говорит скорее об интонации воли. Неразличимость факта и фейка вынуждает к принятию ответственности и оставляет место для произвола.

Индивидуальная инвестиция — включенность в охоту за истиной — всякий раз оказывается творческим домислом, высказывание истины — правдоподобным мифом. Все это дает простор спору — вещь, событие, лицо оказываются как бы не закончены, а потому за них необходимо вести борьбу: в дискуссии, в альтернативном видении, в вскрытии ее ранее неразгаданной изнанки. Таким образом, цифровой универсум возвращает лицо, возвращает актуальный опыт не как опыт вещей, но как опыт согласия о вещах: знание явления в цифровой среде оказывается уже не столько явлением знания — дискурсивной системы координат, учреждаемой экспертными сообществами, сколько проявлением допредикативной ориентации, бытийных установок, экзистенциальной настроенности. Факт утверждается специалистами, фейк

создается ради провокации или наживы, фейкт не позволяет очистить вещь от ложных наслоений, но эти наслоения и не являются в полном смысле слова ложными; скорее это след фантазии, ведущий в досубъективное, в допредикативное, в эскапическое, экзистенциальное. Согласно И. Канту, суждения вкуса хоть и не основаны на определенных понятиях, но имеют в основе неопределенную идею свехчувственного в нас: фейкт, будучи вещью как тяжбой, вещью-вне-себя, провоцируя свободу и драматическое беспокойство, дает нашим суждениям вкуса экзистенциальное расширение, реализует свехчувственное в нас, освобождая от патины дней, возраста, памяти, впервые для себя. Фейкт — испытательный полигон экзистенциальных проектов, наша способность обратиться к себе извне, увидеть себя множеством глаз цифрового космоса.

Литература

- Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987.
- Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М.: Наука, 1984.
- Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992.

Фейковая топологии в культуре постправды: проблемы доверия*

Статья посвящена проблеме симуляции архитектурно-городского пространства в контексте производства фейков в культуре постправды. Главной задачей выступает постановка вопроса о возможностях, границах доверия и недоверия к городской среде в рамках философского дискурса. На основе герменевтического метода переосмыляется понятие симулякра; вводится понятие фейковой топологии и проводится анализ примеров фейковой топологии: цифровых карт, не-мест и фальшфасадов. Данные феномены объединяются на основе их автономности, отсутствия референта, анонимности и разрыва с историей. Отмечается способ их вхождения в повседневную городскую среду в форме доверительного отношения человека к фейковой топологии вопреки отсутствию безопасности и анонимности городской среды. Предлагается вывод об актуальности и продуктивности недоверия к симулятивным формам пространств вопреки доверительному отношению к пространству жизненного мира. В качестве примеров конструктивного недоверия выступают городские художественные практики фотографа, художника и создателя городских карт.

Ключевые слова: фейковая топология, симуляция, доверие, городская среда, постправда.

Предлагаемое исследование направлено на постановку проблемы доверия к территории городского пространства в условиях культуры постправды. Постоянное перепроизводство fake news, характеризующее современную культуру последнего десятилетия, позволяет описывать даже городское пространство в качестве «фейковой топологии». Как ткань текста, так и городская ткань тяготеет к конфигурации фейка, к симуляции пространственных форм и практик обращения с ними. В этой связи нашей задачей является пересмотр понятия «симулякр» Ж. Бодрийяра в контексте фейкового архитектурно-городского пространства и постановка

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта 19-011-31418 опн «Политика формирования доверия в эпоху фейка».

вопроса о возможностях и границах доверительного обращения с топологией фейка.

Под фейковой топологией мы подразумеваем ряд состояний и практик использования жизненного пространства, онтологический статус которого не позволяет установить, обладает ли данное пространство «реальностью» или нет. В понятие фейковой топологии может быть включен достаточно широкий спектр архитектурно-городских объектов и процессов: от цифровой картографии, искусственно созданных городов, фальшфасадов до «не-мест» глобальных торговых сетей, моллов и аэропортов. Данные феномены встраиваются в пространство городской среды, образуя самостоятельное, автономное, анонимное пространство, лишенное идентичности, связи с прошлым и будущим. В особенности это относится к цифровым картам, не-местам и фальшфасадам, представляющим наиболее репрезентативный пример фейковой топологии. В связи с постоянно растущей сетью подобного рода «пространств» встает вопрос о том, может ли человек выстраивать доверительные отношения с местами, лишенными имени и какой-либо символической привязки? На наш взгляд, вопрос о доверии к территории не ограничивается вопросом о безопасности и межличностной коммуникации в рамках симуляции городского пространства, но требует более обстоятельного подхода, опирающегося на ресурсы экзистенциального понимания доверия. После того как мы представим возможности экзистенциального подхода к феномену доверия, следует обратиться к анализу тех *культурных стратегий*, которые направлены на реализацию или критику доверительного отношения к городскому пространству или доверия к чужаку, незнакомцу, оказавшемуся на данной территории.

При анализе феномена доверия к фейковой топологии, имеющей особое значение для медиафилософской интерпретации цифрового городского пространства, следует вынести за границы рассмотрения социологический подход к доверию с его вниманием к закономерностям и природе социальных связей; в нашем исследовании мы также оставим вне рассмотрения этические аспекты проблемы, поскольку они не касаются непосредственно проблем описания феномена симулятивного пространства городской среды. Исключив данные моменты, следует сосредоточить внимание на феномене доверия как экзистенциальной проблеме.

В интерпретации доверия как экзистенциального феномена мы опираемся на обстоятельное диссертационное исследование американского философа Джеффри Кортрайта (Jeffrey M. Courtright) «Размышление через феномен доверия: философское исследование», в котором автор проводит анализ доверия, исходя из экзистенциальной аналитики Dasein Мартина Хайдеггера. Данный анализ особо важен для философской рефлексии доверия, поскольку он выходит за границы эмпирических исследований и классификации различных видов доверия.

Экзистенциальная аналитика, опираясь на феноменологический метод, стремится описать наиболее существенные черты доверия как условия возможности отношения к миру до всякого различения данного феномена на доверие межличностное, доверие к институтам и др. Так, Д. Кортрайт предлагает выделять базовую форму доверия как условия ориентации в мире, возможности вступать в определенные отношения с людьми, с ситуациями, вещами или пространствами. К характеристикам так понятого доверия, согласно Кортрайту, следует относить «уязвимую (vulnerable) открытость, поддержку, настроенность и требование» [Courtright, 2011, р. 294]. Подобное понимание доверия Кортрайт сближает с понятием *настроенности*, то есть экзистенциально понятого настроения, рассматриваемого М. Хайдеггером в «Бытии и времени». Как полагает Хайдеггер, настроения, в отличие от обычных психических, внутренних состояний человека, демонстрируют более фундаментальную связь с миром: благодаря им мир вообще может быть открыт в качестве имеющего смысл и быть «окрашенным» в те или иные тона нашего настроения. Настроение, таким образом, выступает в качестве условия значимости как таковой, условием ориентации человека в мире. В «Бытии и времени» особенно отчетливо проступают пространственные характеристики настроения, которое трактуется как «настроенное расположение» [Хайдеггер, 1997, с. 135]. Подобное расположение одновременно включает как расположение духа, так и особую плоскость нашего телесного бытия, расположенного так или иначе по отношению к миру, реализующего себя в телесных практиках и способах обращения с повседневностью. Особое значение М. Хайдеггер придавал настроению страха, поскольку он лишал экзистенцию всякой достоверности, то есть неподлинных

оснований, которыми привык довольствоваться человек в своем обращении с другими.

Несмотря на то что Кортрайт опирается на хайдеггеровскую концепцию настроения, он придерживается иной точки зрения в отношении выбора особо значимых, фундаментальных настроений и отдает предпочтение настроению, описанному им в качестве «экзистенциального доверия». Как полагает автор данной концепции, доверие является неустранимым условием нашего существования, поэтому все возможные ситуации кризиса, утраты оснований или крайнего недоверия к другим живым существам являются производными формами. В этом отношении понятие экзистенциального доверия Кортрайта отчасти сближается с понятием достоверности Л. Витгенштейна, то есть оно становится особой формой жизни, неким фоном или плоскостью, обуславливающей наши взаимодействия с людьми, вещами, ситуациями. Если Хайдеггер с подозрением относится ко всем формам доверительных отношений с другими, языком и миром, то Кортрайт, напротив, предлагает рассматривать доверие в качестве необходимого условия нашего существования; с его точки зрения, доверие не заслоняет наши возможности, но открывает доступ к ним.

При пояснении феномена доверия Кортрайт, как и Хайдеггер, обращается пространственным метафорам в описании данного экзистенциального настроения: «Экзистенциальное доверие проявляется в нашем повседневном опыте способом близким к опыту стояния или движения» [Courtright, 2011, p. 296]. Опыт стояния предполагает, что именно доверие нашему телу, той или иной ситуации, ожиданиям, которые мы возлагаем на другого человека, воспринимается нами как почва, основание и напоминает восприятие достоверности. Вместе с тем доверие позволяет вступать в отношения, реализовывать собственные возможности, быть готовым к ответу, поэтому оно обладает этим измерением «движения навстречу» — открытости навстречу вещам, ситуациям, людям и другим измерениям нашего жизненного мира. В интерпретации данных метафорических образов следует принимать во внимание, что, в отличие от конкретных ситуаций доверия или недоверия, доверие как условие отношения к миру предзадано в качестве необходимого и неустранимого условия доверительных отношений как таковых.

Для дальнейшего прояснения значения доверия в городском пространстве необходимо ввести понятие «*атмосферы доверия*», позволяющее выстроить корреляцию между базовым пониманием экзистенциального доверия и «практиками доверия» в городской среде. Понятие атмосферы принадлежит современному немецкому философу Герноту Бёме, исследующему различные проявления атмосфер в рамках эстетики архитектуры и городского пространства. В своем понятии атмосферы Бёме переосмысляет феномен экзистенциального настроения и его связь с пространством, расставляя акценты таким образом, чтобы максимально избежать субъективистской или психологической трактовки настроения. Атмосфера становится опространствленным настроением, которое, как аура В. Бенямина, не закрепляется ни за человеком, ни за «внешним» миром, но «поселяется» в промежуточных пространствах между восприятием и воздействием на него среды: «Атмосфера является посредником между объективными качествами окружения и нашим расположением: о том, в каком расположении мы пребываем, сообщает нам особое чувство того пространства, в котором мы пребываем» [Böhme, 2013, S. 16]. Атмосферы, таким образом, являются особыми промежуточными состояниями человека и пространства, результатом взаимодействия настроения и пространства. Настроения радости, легкости или подавленности, испытываемые в тех или иных местах, перестают быть исключительно состояниями человека, но приобретают самостоятельную форму существования в качестве атмосферы места.

Исследования Бёме атмосфер показали, что те лишь отчасти принадлежат конкретным состояниям человека и скорее тяготеют к автономии, поскольку могут сохраняться длительное время вне воспринимающих их субъектов. В особенности это становится заметным тогда, когда настроенность человека вступает в противоречие, в столкновение с царящей в данном месте атмосферой, которая может лишать его сил, наводить ужас или вызывать ощущение недоверия и опасения, может оказывать на него давление или, наоборот, выводить из подавленного и замкнутого состояния навстречу другому. Однако, несмотря на то что чаще всего мы являемся пассивными потребителями атмосфер, сами атмосферы могут быть «предметом» целенаправленной, творческой деятельности. Так, архитекторы, художники, дизайнеры, режиссеры и гра-

достроители обладают способностью управления нашей чувственностью, возможностью сочетать ритмы пространства, материала, цвета и света с целью создания определенной атмосферы и оказания влияния на наше настроение. Конечно, это не означает, что атмосфера может стать результатом сознательной деятельности и должна возникать «механически» благодаря знанию психологии человека и того, какие конструкции, материалы и другие внешние свойства могут вызывать в нем те или иные настроения. Тем не менее, перечисленные свойства, использованные в оформлении и артикуляции жизненного пространства, могут отчасти способствовать созданию той или иной атмосферы. Благодаря рефлексивному отношению к атмосферам и их проявлению в интерьере, в зданиях, на улицах, в общественных пространствах возможно становление атмосферы доверия к пространству или напротив атмосферы недоверия как особого творческого принципа. В данных случаях мы сталкиваемся с производными от экзистенциального доверия формами, которые имеют свои конкретные материальные корреляты, принадлежат тому или иному коду культуры или, напротив, нарушают этот код. В случае с созданием атмосферы доверия или недоверия в городской среде речь идет об осознанном отношении к пространству, которое, с одной стороны, учитывает возможности обживания, трансформации пространства, а с другой, учитывает саму природу атмосферы доверия, которая лишь отчасти подчиняется действиям художника. На данном этапе нам необходимо вернуться к анализу *фейковой топологии* и раскрыть проблемы создания атмосферы доверия или недоверия к данным пространствам.

Для анализа *фейковой топологии* мы обратимся к цифровым картам, не-местам и фальшфасадам, объединив их по критерию «фейковости» наподобие фейковых новостей. Данные пространственные феномены могут быть раскрыты на основе понятия симулякра Жана Бодрийяра: «Симуляция — это уже не симуляция территории, референциального сущего, субстанции. Она — порождение моделей реального без оригинала и реальности» [Бодрийяр, 2006, с.5]. Цифровые карты, используемые нами для ориентации в пространстве, являются одним из таких показательных примеров *фейковой топологии*, поскольку она образует автономную сферу городского ландшафта, не имеющую рефе-

рента. Несмотря на то что пользователь карт вынужден постоянно соотносить реально проходимый маршрут с маршрутами, намечаемыми картой, это отнюдь не свидетельствует об отсылке пространства карты к реальности. Движение индивида осуществляется в пространстве карты, которая намечает рассчитанный, наиболее удобный с «точки зрения» карты путь, который не имеет отношения к пути, прокладываемому, по словам М. Мерло-Понти в режиме моего «могу», моей телесности и возможностей ориентации. Подобная цифровизация передвижения дополняется еще одной проблемой, связанной с проблемой безопасности, упомянутой выше. Цифровой след не обладает некой нейтральной, нулевой заряженностью, но, напротив, выступает выгодным ресурсом и является нашим «цифровым бессознательным» [Thrift, 2004]. «Если обычные передвижения миллионов городских жителей оставляют различные цифровые следы, то возможность использования данных об их местоположении начинает играть заметную роль в городской жизни» [Маккуайр, 2018, с.15]. Так, не отдавая себе отчет, мы оставляем цифровые следы, даже в тех случаях, когда совершаем прогулку без активного использования карт и навигаторов. В то же время наше тело постоянно оказывается захваченным камерами или фотосъемкой в рамках Google Street View — сервиса, производящего съемку местности при помощи камер, установленных на автомобилях с целью создания более четких карт местности. В этом отношении границы личного пространства постоянно нарушаются в режиме перманентной съемки, фиксирующей места нашего расположения.

Несмотря на указанные черты цифровых ландшафтов, их пользователи готовы доверять картам и их «эффективным» решениям, перепоручая образы собственного тела цифровой разметке территории. В этом отношении мы сталкиваемся с некой двойственностью — в рамках гугл-карт, навигаторов и камер слежения мы приобретаем чувство безопасности и доверия к территории, но ценой утраты права на возможность безвозмездного передвижения. Уже в данном примере мы сталкиваемся с атмосферой доверия как особой культурной практикой, оборачивающейся *политикой доверия*. Комфорт и удобство принадлежит общей стратегии политики безопасности, которая реализует себя во всевозможных медиаинструментах, образующих собственное авто-

номное пространство, которое, тем не менее, максимально вплетается в городскую среду и в моторику наших перемещений.

Описанная топология карт дополняется еще одним «фейковым» состоянием пространства: постоянно растущим количеством «не-мест» в городском пространстве. Понятие «не-места» было введено известным французским социологом М. Оже в его работе «Не-места. Введение в антропологию гипермодерна». «Если место может быть определено как создающее идентичность, формирующее связи и имеющее отношение к истории, то пространство, неопределимое ни через идентичность, ни через связи, ни через историю является не-местом» [Оже, 2018, с. 84]. К «не-местам» можно отнести «пункты временного пребывания и промежуточного времяпрепровождения» [Оже, 2018, с. 85], то есть сети гостиниц, супермаркетов, аэропорты, переходы в метро и т. д. Несмотря на то что такого рода пространства призрачны и лишены историчности, они уединяют и способствуют скорее молчаливой разобщенности, чем встрече, тем не менее мы находимся в доверительных отношениях с подобного рода топологией: «чужестранец, потерявшийся в незнакомой стране <...> способен ориентироваться только в анонимной среде автотрасс <...> супермаркетов и сетевых гостиниц» [Оже, 2017, с. 115]. В данном случае мы также сталкиваемся с особой созданной атмосферой доверия к пространству, которое создает эффекты домашней близости, но на практике постоянно оборачивается всепоглощающей бесприютностью и недоверием к тому, кто оказался в данном пространстве, лишенном лица.

Последний феномен фейковой топологии касается таких градостроительных элементов, как «фальшфасады», временно устраиваемые на местахстроек. В своем исследовании «Симулякр архитектуры. Архитектура симулякра» [Воинов, 2019] фотограф Дмитрий Воинов дает неоднозначную трактовку фальшфасадов и определяет их в качестве симулякров, поскольку зачастую при взгляде на данные «сооружения», возведенные на месте разрушенного и строящегося проекта мы сталкиваемся с проблемой: «Даже если на сетку нанесен образ здания-преемника, мы не можем быть уверены, что этот рисунок действительно соответствует итоговому проекту и передает его внешний вид без искажений или упрощений» [Воинов, 2019]. Соответственно, фальшфасады ста-

новятся неотъемлемым элементом городской среды, лишенной какого-либо референта и не отсылающей ни к прошлому, ни к будущему. Отсутствие эстетической составляющей фальшфасадов, их нарочитая упрощенность, двухмерная схематичность начертаний в виде фасада здания призваны лишний раз подтвердить их «отказ» отсылать к реально существующей модели здания. В случае с фейковой топологией фальшфасадов, в отличие от не-мест и цифровых карт, мы сталкиваемся с невозможностью говорить о доверии к такого рода пространственным образованиям, поскольку фальшфасады скорее напоминают пространственные глитки, нефункциональные сбои городской среды: они либо мешают эстетической согласованности частей пространства, либо после длительного пребывания в одном месте со временем становятся «слепым пятном» жизненного пространства.

После краткого обзора нескольких видов фейковых пространств, список которых всегда открыт для новых конфигураций симулятивной топологии, следует обратиться к вопросу о возможностях «топологической рефлексии», то есть к тем ответным практикам, которые позволят нам способствовать созданию атмосферы доверия к архитектурно-городской среде. На наш взгляд, в первую очередь становятся актуальными и продуктивными практики «недоверия», которые необходимы не только по отношению к фальшфасадам, но к фейковой топологии в любых ее проявлениях. Так, Ж.Бодрийяр обращается к граффити, многие надписи которых «в силу своей скудости <...> избегая как денотации, так и коннотации <...> становятся неподвластными самому принципу сигнификации и вторгаются в форме *пустых означающих* в сферу *полновесных знаков* города» [Бодрийяр, 2006, с. 159]. Подобный антидискурс представляет собой ту *форму недоверия*, которая становится альтернативной активной позицией обживания городского пространства, пронизанного анонимностью не-мест и расставляющего лишь знаки ролей и маршрутов. Опыт прочтения архитектурных фальшфасадов Д. Воинова также становится конструктивным недоверием фальшфасадам — для взгляда фотографа они не просто симулякры, объекты критики, но могут оборачиваться и кинетическими скульптурами. «В случае, если сетка фасада закреплена не слишком прочно, на текстуре появляются складки. При сильных порывах ветра они начинают колебаться, и весь фасад

“приходит в движение”, как будто перед нами кинетическая скульптура (которая также переходит из статики в динамику благодаря силе ветра)» [Воинов, 2019]. Для фотографа другим примером творческого недоверия к фейковой топологии фасада становятся «прорези» глаз, сделанные на фальшфасадах художником Кириллом Кто, обживающим и «разрывающим» эти плоские фигуры-полотна фасадов с упрощенными изображениями.

Недоверие цифровым картам также становится достаточно распространенной художественной практикой в форме создания альтернативных карт (таких, как Iseevs.911) — изображающих маршруты вне камер слежения, или создания карт на основе сторителлинга об опыте проживания городского пространства вопреки его современной анонимности. Вместе с тем критическое отношение к фейковым пространствам может проявляться в создании альтернативного использования цифровых технологий, благодаря которым выстраивается попытка взаимодействия с незнакомыми людьми в игровой форме. Так, С.Маккуайр в своей книге «Геомедиа» описывает следующий проект: медиаэкраны на городских улицах могут не только транслировать рекламный контент, но и призывать к соучастию. Такие экраны были задействованы в акции Hello и установлены в Сеуле и Мельбурне и связывали участников при помощи видеосообщения в полный рост так, чтобы один из них по заранее установленным правилам мог обучить другого простым танцевальным движениям [Маккуайр, 2008]. Экран тем самым не имел никакой коммерческой подоплеки и являлся активно используемым медиа, установленным на улицах города. Соучастие посредством медиа становится реактивным движением, ответом на политику доверия, которая в действительности создает постоянные симулякры атмосферы доверия, играя на изначальной экзистенциальной потребности доверительного отношения к месту, к образу, к другому.

Таким образом, в нашем исследовании мы ввели ряд понятий, а именно: фейковая топология, атмосфера доверия и политика доверия. Рассмотрение данных понятий было необходимо для раскрытия свойств центрального понятия фейковой топологии как особого состояния городской среды в контексте культуры постправды. Способы функционирования такого пространства были описаны уже в 80-е годы прошлого века, в рамках исследований

Ж.Бодрийяр, М.Серто, М.Оже. Тем не менее данная тема сохраняет собственную актуальность, а симулятивная реальность знака по-прежнему распространяется на жизнь архитектурно-городских пространств. Особое значение для понимания фейковой топологии имело понятие доверия, поскольку мы одновременно доверяем ей и относимся к ней с подозрением. Данная двойственность была продемонстрирована на основе понятия атмосферы доверия, которая симулируется культурными и политически практиками, создающими «эффекты» доверия к городской топологии. Однако подобные эффекты могут становиться сферой критики и ответных художественных практик, направленных на создание атмосферы доверия.

Литература

- Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М.: Добросвет; КДУ, 2006.
- Воинов Д.* Симулякр архитектуры. Архитектура симулякра. 2019. URL: <https://dmitryvoinov.com/sim> (дата обращения: 10.11.2019).
- Маккуайр С.* Геомедиа: сетевые города и будущее общественного пространства. М: Strelka Press, 2018.
- Оже М.* Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М: Новое литературное обозрение, 2017.
- Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997.
- Böhme G.* Architektur und Atmosphäre. München: Wilhelm Fink Verlag. 2013.
- Courtright J. M.* Thinking Through the Phenomenon of Trust: A Philosophical Investigation. Charleston: Proquest, Umi Dissertation Publishing, 2011.
- Thrft N.* Remembering the Technological Unconscious by Foregrounding Knowledges of Position // Environment and Planning D: Society and Space. 2004. No. 22 (1). P. 175–190.

Структуры мимесиса*

Сущность мимесиса, как правило, раскрывается в зависимости от той или иной исторической интерпретации этого понятия. И каждая интерпретация утрачивает некоторые отдельные элементы в структуре мимесиса, мыслит этот процесс в узких рамках. В статье предлагается взгляд на мимесис как на комплекс чувственных и семиотических конфигураций, предполагающий наличие двух неотъемлемых сторон: явной и скрытой. На смысловом уровне мы всегда сталкиваемся лишь со знаковой поверхностью, экраном, и не видим тех глубинных структур, которые определяют собой то или иное художественное произведение, образ, идею. Искусство предстает как механизм производства иллюзии и сокрытия смыслов. И лишь модернизм и авангард занимают противоположную позицию и предоставляют нам инструмент для работы с деконструкцией этих скрытых структур.

Ключевые слова: политики медиа, медиафилософия, репрезентация, мимесис, присутствие, деконструкция.

Выказывая свое недоверие по отношению к искусству, суть которого состоит в *подражании*, или *мимесисе*, Платон говорит о самом процессе *перевода* или *перехода* вещей в плоскость искусства, в ходе которого отдельные сущностные черты «первоисточника» с неизбежностью теряются, выпадают в осадок. Или, как в интерпретации В. Подороги: мимесис «всегда частичен», то есть «подражание захватывает часть целого, но не целое» [Подорога, 1999]. Таким образом, мимесис предстает здесь в качестве особого рода редукции. Жан-Люк Марьон, например, и вовсе определяет живопись как само движение феноменологической редукции. Однако это еще не означает, что произведение искусства являет собой в итоге нечто абсолютно прозрачное и ясное, цельное и неделимое. Скорее напротив, всегда неизбежно обнаруживается его изнанка, обратная сторона, второе, третье, четвертое дно. Вступая

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта 19-011-31418 опн «Политика формирования доверия в эпоху фейка».

в коммуникацию с произведением (а в современном искусстве коммуникация уже не просто созерцание, а полноценный контакт, вовлеченность в «тело» произведения), мы обращаем внимание в первую очередь на означаивающие поверхности, на занавес или фасад, которые часто принимаем за всю сцену или здание целиком. В действительности же мимесис скрывает в себе, в своей структуре не меньше смысловых пластов, чем являет, делает предствавимыми. Иными словами, искусство есть род *сокрытия*.

И в этом вопросе истории западного искусства и философии — то есть метафизики — движутся в одном направлении, а зачастую и вовсе пересекаются на уровне *theoria*. Важно здесь то, что сегодня принято прочитывать историю метафизики от Сократа до Ницше, Фрейда и Хайдеггера как сокрытие за ширмой рацию: иррационального, бессознательного, бытия, наконец. То же самое в искусстве; эпоха от Еврипида (а именно с него, по мнению Ницше, начинается упадок античной трагедии) до середины XIX века есть эпоха производства иллюзий. И только модернизм, заряженный духом критики, позволил перейти от модели сокрытия к самораскрытию искусства, к обнажению его внутренних структур.

Если проанализировать историю понятия «мимесис» шире, за пределами его прочтения в рамках платоновского идеализма, то обнаруживается, что, начиная примерно с интерпретаций Платона и Аристотеля, и происходит упрощение его толкования. Как на то указывает Владимир Вейдле, мимесис исконно был связан с практиками дионисийских мистерий и предполагал довольно сложную организацию действия. *Представление*, или иными словами — репрезентация, невозможно без особого рода (телесного) *выражения*, обеспечивавшего возможность отождествления мима или танцора с тем, кого он представляет. То есть дистанции между субъектом и объектом в таком случае не возникает. Соответственно, «отклонение смысла идет не от представления к подражанию, а в сторону расщепления единства мимесиса, так что исчезают глубинные пласты отдельных значений слова». И если *представление*, по мнению В. Вейдле, остается в структуре мимесиса, то *выражение* постепенно вытесняется. Случается это отчасти из-за переноса теории мимесиса с дискурса «мусических» искусств на искусства, связанные с *techné*. Именно вследствие того,

что происходит переориентация установки искусства с *действия* (в музыке, танце и поэзии) на *произведение* (в живописи, скульптуре и архитектуре), лишенное компонента выражения, и возникает это внутреннее расщепление целостной структуры [Вейдле, 2002, с. 331–350].

Стоит, однако, предположить, что в процессе смыслового упрощения понятия мимесиса, сама структура этого процесса меняется не столь значительно. Расщепленность проявляет себя лишь на уровне восприятия — как обращенность произведения к зрителю своей лицевой стороной, за которой всегда скрывается нечто большее. Из уравнивания мимесиса не выпадает ни одной переменной, но для того, чтобы увидеть его работу во всей полноте (если такое, конечно, возможно), требуется своего рода деконструкция языка мимесиса. А мимесис и есть не что иное, как язык, медиум «перевода» значений и смыслов. И каждый язык имеет свою структурную организацию, свой код.

Все это приближает нас к возможности рассматривать мимесис в фокусе медиафилософской проблематики. Каждый художественный медиум воплощает в себе уникальную миметическую сборку, отражая при этом не только соотношения явленного и скрытого, но и различные внешние контексты: социально-политические, культурные, гендерные и т.д. Ограничимся здесь, однако, лишь описанием двух базовых уровней медиальной конструкции — чувственной и семиотической конфигураций, определяющих планы выражения и представления в структуре мимесиса.

На стороне чувственного

Еще древние греки понимали, что наше восприятие устроено куда более сложным образом, чем просто как сумма чувств, работающих по отдельности. К примеру, зрение интерпретировалось ими в качестве тактильного процесса. Эпоха «осязающего глаза» — так охарактеризовал античность Сергей Даниэль. Средневековые же в большей степени было ориентировано на аудиальный опыт, это эпоха «внемлющего глаза» [Даниэль, 1990, с. 31–37]. Мир для средневекового человека был организован сообразно тексту Священного Писания, и изображения складывались в орнаментальную мозаику символов. Собственно зрительная компонента воспри-

ятия начинает доминировать лишь в эпоху Возрождения. Эти примеры показывают, что наши чувства находятся в динамичной связи и могут опосредовать друг друга. Данный феномен проявляется в таких культурных практиках, как, например, письмо. Мы воспринимаем его и зрительно (в процессе первичного восприятия, в процессе представления и/или воображения тех образов, которые вызывает/конструирует текст), и аудиально (во время чтения вслух или субвокализации), и даже тактильно, в процессе самого письма или печатания. Другой пример — живая речь, в которой переплетаются язык, голос и жесты [Вульф, 2017, с. 225]. Сам язык, выступая средой перевода и синтеза, представляет модель, которая позволяет экстраполировать опыт одних чувств на другие и фиксировать их в метафорах. Мике Баль предпочитает говорить о «неоднородности» чувственных ощущений, которая «делает их взаимно проницаемыми», а «визуальность как таковая», по ее мнению, «характеризуется внутренней синестезией» [Баль, 2012, с. 220–221].

Итак, чувственное восприятие представляет собой сложную конфигурацию. Другой вопрос, что структура этой конфигурации меняется исторически и в разное время на первый план выходят какие-то конкретные чувства, которые занимают доминирующие положение в системе и в большей степени определяют собой другие чувства, но при этом не вытесняют их полностью. Так, на смену средневековой схеме, определявшейся через аудиальный опыт, приходит ренессансная визуальная конфигурация. Именно с ней нередко связывают дальнейшее восхождение картезианской модели субъективности, утвердившей доминирование визуальной модели чувственности Нового времени.

Франсуа Жюльен отмечает, что картезианское разделение на «вещь протяженную» (*res extensa*) и «вещь мыслящую» (*res cogitans*) радикальным образом замыкает рефлекслирующее сознание на самом себе, отчуждаясь от внешней реальности [Жюльен, 2014]. Однако представляется, что открытое художниками Возрождения условие дистанции между субъектом и воспринимаемым объектом позволило впоследствии прийти к выводу о таком базовом свойстве зрения, как «отдельность» наблюдателя от объекта взгляда. Тактильное восприятие, свойственное античности, или аудиальное, — в эпоху Средневековья, — чувства близкого

порядка, они работают, как правило, в непосредственном к телу окружении. Зрение же способно преодолевать расстояния. Мике Баль обращает внимание, что таким образом зрение выделяется среди других чувств, всегда достаточно субъективных, располагая визуальное на стороне самого объекта, как бы «прилипая к нему» [Баль, 2012, с. 230]. Отсюда «объективность» зрительного восприятия — фундаментальное требование научного мировоззрения.

Но, признав за визуальным восприятием ведущую роль среди других чувств (начиная с Ренессанса), не будем забывать про их взаимосвязь в общей структуре чувственности. Тактильное, например в живописи, проявляет себя в самой материальности красок, в способе их наложения и текстуре. Чем отчетливее проявляется мазок, тем более вещественным, более осязаемым выглядит изображение, равно и наоборот. Если от тяжело нависающих в небе туч на полотнах Констебля возникает ощущение, что они практически просачиваются во внешнее, внекартинное пространство, готовые обрушиться на головы зрителей, то лоснящиеся пейзажи Лоррена отсылают к образам скорее идеальным, идиллическим, отсюда их «нематериальность», слабая тактильность. Кроме того, «видеть картину, значит видеть прикосновение, движущуюся руку художника» [Митчелл, 2014, с. 332]. Точнее, не видеть, а ощущать ее присутствие интуитивно, — здесь задействуются другие, более тонкие каналы восприятия. Всегда нечто остается на стороне невидимого, вытесняется в область незримого и возвращается в форме симптома или аффекта.

Маршалл Маклюэн выстраивает несколько иную схему развития чувственных конфигураций, или, как он их называет, «сенсорных соотношений», связывая переход от аудиального к визуальному с появлением фонетического письма, то есть с феноменом графической записи абстрактных звуковых единиц. «Взрыв глаза» — так он определил свершившуюся революцию [Маклюэн, 2014, с. 59]. Кульминацией в этой исторической модели, по его мнению, является изобретение Гутенбергом печатного станка (произошедшее как раз в эпоху Возрождения). А современную ситуацию Маклюэн связывает с частичным возвратом к аудиальным формам восприятия и (вос)производства действительности, но лишь в опытах современного искусства и эйнштейновской физики. Пожалуй, одна из ключевых идей всего творчества канад-

ского философа и литературоведа состоит в том, что он называет «внешними расширениями человека». Каждое новое техническое средство, по его мысли, приводит к расширению какого-то чувства и вместе с тем — к «ампутации» какого-то другого. Эти расширения чувственности он называет «медиа». И важно здесь то, что каждое новое медиа перепрошивает всю конфигурацию чувственности заново, создает новые пропорции и равновесия между другими чувствами и расширениями [Маклюэн, 2014, с. 54–55].

Таким образом, медиа опосредуют и структурируют всю конфигурацию чувственности посредством операций расширения, ампутации и взаимного перевода опыта различных чувств; это приводит нас к выводу о том, что все медиа по сути своей гибриды, синэстетичны на сенсорном уровне. «Визуальных медиа не существует прежде всего потому, что не существует никакого чисто визуального восприятия», заявляет Уильям Митчелл [Митчелл, 2014, с. 140]. Визуальность становится лишь отдельным свойством конкретного медиа или воспринимаемого объекта, однако свойством, занимающим определяющее положение в иерархии чувственной конфигурации. С развитием технических и цифровых медиа этот процесс усложняется еще сильнее. Мы все чаще слышим такие определения, как интермедиа, гипермедиа, мультимедиа, что, с одной стороны, подтверждает мысль об их смешанной природе; с другой, указывает на то, что все традиционные медиа, отмеченные каким-то базовым свойством, пересобираются сегодня в новые синкретичные структуры, теряя в них свою специфику.

Однако гибридный характер медиа, проявляющийся на чувственном уровне, еще не объясняет, как они опосредуют/конструируют процесс интерпретации, производства смыслов. Для этой цели необходимо ввести еще одну переменную, а именно — семиотический модус их функционирования.

На стороне знака

На протяжении многих веков в художественной культуре шла упорная борьба между двумя установками: изображать реальность в соответствии с тем, что о ней известно (например, как в некоторых архаических обществах или египетском искусстве), либо так, как она является нашему чувственному восприятию (ан-

тичный натурализм, например). Со временем эти установки стали смешиваться, хотя далеко не всегда и не в одинаковых пропорциях. Эрнст Гомбрих приводит в пример морские пейзажи в голландской живописи XVII века, когда художники одновременно стремились к реалистическому отображению мира, но вместе с тем хорошо представляли, как устроен и как оснащен корабль [Гомбрих, 1998, с. 493]. Безусловно, искусство формирует особую грамматику видения, осуществляет дрессуру зрения, расширяя его познавательные интенции. Художник, обладая «высокоорганизованной схемой («картой») восприятия», вкладывает собственный гиперчувствительный опыт в произведение, посредством которого транслирует свое видение вовне [Даниэль, 1990, с. 62].

Платон, в целом относившийся, как уже было сказано, с подозрением к установке античного искусства на подражание природе, считал, что искусство способно ввести в заблуждение тем, что может заставить спутать вещь с «призрачным ее отображением» [Платон, 2007, с. 462]. Миметическая логика основывается на принципе формального сходства художественного произведения и отображаемой им действительности. Франсуа Жюльен определяет миметическое изображение как «удваивающее перенесение или перенесенное удвоение», связывая при этом живопись с процессом рефлексии, иными словами, «отражение» есть некое теоретическое надстраивание, возможность занять метапозицию [Жюльен, 2014, с. 159]. Однако теория искусства как таковая начинается формироваться лишь в эпоху Возрождения, когда происходит частичная секуляризация неоплатонической концепции мимесиса как подражания идеям, а не природе. То есть Ренессанс мыслил мимесис двояко: и как подражание внешней действительности, и как подражание образцам, идеалу, которым для художников того времени была Античность и ее система образности — фактически все тот же натурализм. На эти же цели теперь работала и наука, призванная обеспечить потребности художников, устремленных к совершенству в понимании оптических законов и анатомического строения тела. Эрнст Кассирер проводит четкую связь между теоретической установкой научной картины мира и мимесисом: «знание включает и предполагает представление, репрезентацию», в отличие от мышления архаического, включенного в единое пространство природы как элемент единого космоса и не способного

к процессу абстрагирования [Кассирер, 2008, с. 494]. Схожим путем развивалась и китайская система изобразительности, ориентированная в первую очередь на презентацию. «Китай никогда не мыслит созерцание образов как операцию — и удовольствие — узнавания: изображение призвано не зафиксировать сущности, а запечатлеть игру энергий, пребывающих в непрерывном взаимодействии» [Жюльен, 2014, с. 160]. Художник в этой системе — не активный субъект, а «место» встречи энергий, воспринимающая среда, где незримое достигает порога видимости, его цель — тождественное совпадение с образом. Китайская живопись — искусство имманенции. На Западе этот путь откроют только в XX веке, когда последовательно будет «разобрана» вся европейская метафизика.

Классические теории мимесиса либо сводят значение образа или слова к конкретному референту, точнее, к указанию на него. Розалинд Краусс называет эту функцию «ярлыком» [Краусс, 2003, с. 37]. То есть образ или слово есть ярлык той вещи, на которую они указывают. И значение как таковое не содержит в себе ничего больше помимо акта указания на референт. Либо, в духе Платона, предполагают, что мимесис связан не с отражением реальности, а именно с подражанием ей, с созданием иллюзии, фантасма [Подорога, 1999]. То есть платоновские призрачные сущности, симулякры, на самом деле скрывают от нас действительность. Таким образом, репрезентация есть сокрытие *присутствия* вещи.

В современном искусствоведении и лингвистике возникают новые концепции репрезентации, которые больше не рассматривают значение в плоскости денотации, то есть буквального соответствия, и подключают его коннотативные регистры. Описанное Соссюром раздвоение знака на означающее (материальное воплощение знака, фиксирует тот или иной тип связи с действительностью) и означаемое (нематериальное понятие, или идея, формирует значения) обнаруживает фундаментальный раскол, разделенность знака и референта. Репрезентация буквально предполагает, что «знак есть заместитель, субститут, подмена отсутствующего референта» [Краусс, 2003, с. 37–38].

Мишель Фуко вывел три исторических этапа Нового времени, образующих определенные формы отношения культуры и знания, три эпистемы, каждой из которых свойственна особая знаковая

система. Ренессансная эпистема предполагала символическое единство знаков и вещей, их миметическое уподоблению друг другу; в классической эпистеме слово становится уже образом вещи, репрезентацией, знак отделяется от внешнего мира, становясь «предикатом» субъекта; и наконец, в современной эпистеме слово лишь знак в системе других знаков. Если классическая эпистема еще сохраняет связь знака со своим референтом по принципу тождества и различия, то сегодня определяющее значение приобретает процесс полного абстрагирования знаковых систем от реальности [Фуко, 1977, с. 407].

Кристоф Вульф, обращаясь уже конкретно к визуальным формам знаков, рассматривает три типа образов, но в гораздо более широкой исторической перспективе: образы как магическое присутствие, как миметическая репрезентация и как техническая симуляция. Первый тип связан с сакральным и перформативным статусом изображений в архаических культурах, с онтологической тождественностью образа и мира. Второй, берущий свое начало в философии Платона, — с процессом подражания либо внешней действительности, либо идеальным образам. И последний связан с современной эпохой производства образов, которые не отсылают ни к какой реальности, кроме как реальности других образов [Вульф, 2017, с. 212–216]. В целом этот третий период соответствует современной эпистеме у Фуко, где знаки выполняют функцию абстрагирования, или может быть связан с понятием симулякра у Бодрийяра, то есть образ предстает в качестве копии без оригинала.

Рассмотренные примеры демонстрируют, как структура знаковой системы в каждую историческую эпоху вскрывает подлинное отношение человека к реальности, иными словами, в какой связи пребывают природа и культура, фюсис и технэ. Вспомним еще раз сосюрговскую модель знака, она необходима нам для того, чтобы связать процесс чувственного восприятия и формирования значений в общей структуре медиа. Именно означающее как материальная сторона знака схватывается нами при помощи чувств: зрения, слуха, осязания и даже обоняния. Так, семиотическая и чувственная конфигурации образуют единую систему координат.

Таким образом, семиотическая функция состоит в присвоении смыслов, наделении чувственного опыта определенными

значениями, посредством которых осуществляется его передача в процессе коммуникации. Подобная модель медиальной структуры позволяет также более детально различать структурные особенности разных медиа и их гибридных конфигураций, в том числе в перспективе их исторического развития, а также анализировать конкретные «приемы» художественного конструирования образов.

Подводя итог, вернемся еще раз к проблеме оппозиции репрезентации и презентации, но уже в плоскости чувственного восприятия. Далеко не каждый эмпирический опыт может быть зафиксирован семиотически во всей своей полноте. Любой опыт, по сути, несет в себе аффективную составляющую, которая ускользает от любой сигнификации. «Аффект находится на стороне невидимого» [Петровская, 2012, с. 9]. Достаточно вспомнить поиски позднего Ролана Барта, его *rinççum*, или «насыщенный феномен» Жан-Люка Мариона. Выходит, практически любой образ может быть рассмотрен одновременно в двух плоскостях: как *репрезентация* (соответствует *studium*у Барта, как носитель культуры, ее значений) и как *презентация* — производство присутствия. Так, образ являет собой диалектическое пространство напряженности двух полюсов, борющихся за наш взгляд.

Модернистское самораскрытие

Итак, искусство формирует определенные «модели восприятия мира» [Даниэль, 1990, с. 61]; следовательно, мы можем проанализировать, как эти модели сконструированы и по каким правилам они функционируют. Аристотель говорил о подражательной сущности всех искусств, различая их лишь «тем, в чем совершается подражание, или тем, чему подражают, или тем, как подражают» [Аристотель, 2005, с. 167]. Во-первых, что здесь стоит отметить, — это онтологические основания любой творческой деятельности, укорененные, как утверждает античный автор, в подражательной природе человека, что и делает его отличным от животных. Через подражание осуществляются процессы познавательной деятельности и получения удовольствия [Аристотель, 2005, с. 170]. Во-вторых, Аристотель выводит определенные закономерности в том, как подражательная способность проявляет себя в искусстве, обращая свое

внимание на конкретные литературные приемы и упорядочивая их в теоретическую систему, которую называет «поэтикой».

В XX веке происходит рецепция теории Аристотеля в опыте русских литературоведов — Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума и других, — которые изобретают формальный метод анализа литературных произведений. Для формалистов искусство предстает как набор приемов, как техника создания произведения. Форма, — в соответствии с основным тезисом формальной школы, — определяет содержание. Жорж Диди-Юберман, ссылаясь на Юрия Тынянова, предлагает воспринимать форму как функцию, создающую систему динамических отношений, сложный «диалектический процесс» [Диди-Юберман, 2001, с.200]. Это понимал и Роман Jakobson, продолживший развивать идеи своих коллег и, проложивший тем самым путь к структурализму. Согласно его мысли, приемы «вступают во взаимозависимость, образуют систему и выполняют конструктивную функцию, каждый по-своему содействуя специфичности и цельности произведения» [Искусство с 1900 года, 2015, с. 25]. Таким образом, форма предстает в качестве сложносоставной конфигурации подвижных элементов-приемов. Важно так же отметить, что формальный подход, рассмотренный в исторической перспективе, предстает как процесс «разоблачения» и вытеснения одних приемов другими. Все это напоминает маклюэновскую модель «расширения-ампутации» чувственного аппарата. Продолжая данную логику, можно провести параллели между известной формулой философа — «The medium is the message», то есть «Медиа есть сообщение», — и корреляцией формы и содержания у формалистов. Так, Маклюэн указывает, что содержанием медиа всегда является другое, как правило предшествующее, медиа; подобным же образом, через «обнажение приема», один прием становится содержанием другого. Не стоит упускать из внимания и предопределенность содержания формой. Если рассматривать проблему визуальной культуры в подобном ключе, то обнаруживаются определенные закономерности, обуславливающие появление любых образов и образных систем, закономерности, данные как некие медиальные формы. Все художественные приемы здесь предстают в качестве конкретных функций медиа, и в этом смысле каждый медиум обладает своей собственной поэтикой.

Формалистская теория возникает на благодатной почве модернистского искусства, которое радикальным образом переосмысливает вопрос о структуре и логике мимесиса. Презентация, на протяжении долгого времени являвшаяся изнанкой в миметической схеме классической картины, связанная с ее тактильностью, в модернизме начинает завоевывать все более значимое место в структуре образа. Если следовать за мыслью Платона, что мимесис всегда частичен, то есть нечто всегда присутствует на стороне невидимого. Согласно идее «восполнения» (supplement) у Жака Деррида, репрезентация, все это время вытеснявшая презентативную функцию произведения в область невидимого, неминуемо должна встать на ее место, вытолкнуть присутствие наружу. Так, вместе с постепенной перестановкой в этой диспозиции происходит исчезновение из образа его прямого референта в действительности.

Живопись, фактически лишенная референциального поля физической реальности, впервые обращает внимание на собственные выразительные средства. Так, художники, развоплотившие иллюзию глубины, возможную благодаря линейной перспективе, открывают для себя картинную поверхность в качестве самодостаточного медиума и соответствующие ей инструменты: линию, точку и цвет. Еще у Платона, с его недоверием к мимесису, находим пассаж о созерцательном наслаждении «красотой очертаний»: «Я имею в виду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела, рождающиеся под токарным резцом и строяемые с помощью линеек и угломеров. В самом деле, я называю это прекрасным не по отношению к чему-либо, как это можно сказать о других вещах, но вечно прекрасным самим по себе, по своей природе и возбуждающим некие особые, свойственные только ему удовольствия» [Платон, 2007, с. 73]. В подобной формалистской перспективе искусство обнаруживает свою самореферентную и перформативную сущность, наблюдая «себя и свои инструменты; оно делает ощутимым, переживаемым, творение предметов искусства» [Теллер, 2013, с. 38].

Другими словами, модернистское искусство выворачивается наизнанку, обнажает свои структуры и приемы, вскрывает природу иллюзии, идеологии. Однако и здесь нечто неминуемо оказывается по ту сторону представления — айсберг преворачива-

ется. Так, с появлением технических медиа обнаруживаются уже новые, скрытые от взгляда обывателя, структуры. Для нас важен лишь критический импульс внутри самого искусства, заданный модернизмом и авангардом, инструментарий, направленный на перманентную деконструкцию иллюзий, манипуляций, сокрытий. Механизм, который способен воплотить в себе подлинное и истинное значение мимесиса, нивелирующего корреляцию между субъектом и объектом, утвердить полноту смысла.

Литература

- Аристотель*. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2005.
- Баль М.* Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // *Логос*. 2012. №1 (85). С. 212–249.
- Вейдле В.* Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Вульф К.* Средства коммуникации // *Медиареальность: концепты и культурные практики: учебное пособие*. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2017. С. 222–227.
- Геллер Л.* Экфрасис, или Обнажение приема. Несколько вопросов и тезис // «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 44–60.
- Гомбрих Э.* История искусства. М.: АСТ, 1998.
- Даниэль С.* Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. Л.: Искусство, 1990.
- Диди-Юберман Ж.* То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001.
- Жюльен Ф.* Великий образ не имеет формы, или Через живопись — к не-объекту. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
- Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Х. Фостер, Р. Краусс, И.-А. Буа, Б.Х.Д. Бухло, Д. Джослит. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
- Кассирер Э.* Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998.
- Краусс Р.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003.
- Маклюэн М.* Понимание медиа: Внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2014.

- Митчелл У. Дж. Т.* Визуальных медиа не существует // Медиа: между магией и технологией / под ред. Н. Сосна, К. Федоровой. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 128–143.
- Петровская Е.* Теория образа. М.: РГГУ, 2012.
- Платон.* Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007.
- Подорога В.* Словарь аналитической антропологии. URL: http://lib.ru/FILOSOF/PODOROGA_W/s_antropo.txt (дата обращения: 15.11.2019).
- Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977.

Сведения об авторах

Артамонов Денис Сергеевич (Artamonov Denis Sergeevich)

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных коммуникаций юридического факультета

E-mail: artamonovds@mail.ru

Каштанова Софья Михайловна (Kashtanova Sofia Mikhailovna)

ГБУ «Высшая банковская школа», кандидат филологических наук

E-mail: sonitta@mail.ru

Кириллов Александр Анатольевич (Kirillov Aleksandr Anatol'evich)

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

E-mail: sasha.agst@yandex.ru

Ключева Наталья Юрьевна (Klyueva Natalia Yurjevna)

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета

E-mail: klyueva.msu@gmail.com

Коленько Сергей Геннадьевич (Kolenko Sergei Gennad'evich)

Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры русской философии и культуры Института философии

E-mail: kuzdra74@mail.ru

Колесникова Елена Ивановна (Kolesnikova Elena Ivanovna)

Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник

E-mail: ekolesn@mail.ru

Кондратенко Константин Сергеевич (Kondratenko Konstantin Sergeevich)

Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат философских наук, доцент кафедры политического управления факультета политологии

E-mail: kondratenkoks@inbox.ru

Кузнецов Никита Всеволодович (Kuznetsov Nikita Vsevolodovich)

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, доцент кафедры конфликтологии Института философии

E-mail: n.kuznecov@spbu.ru

Масланов Евгений Валерьевич (Maslanov Evgenii Valer'evich)

Институт философии РАН, кандидат философских наук, научный сотрудник

E-mail: evgenmas@rambler.ru

Милославов Алексей Сергеевич (Miloslavov Aleksei Sergeevich)

Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат философских наук, доцент кафедры философии науки и техники Института философии

E-mail: miloslavov-as@mail.ru

Мухина София Хамидовна (Mukhina Sofia Hamidovna)

Санкт-Петербургский государственный университет, магистр, ведущий специалист

E-mail: s.muhina@spbu.ru

Наумова Екатерина Игоревна (Naumova Ekaterina Igorevna)

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания Института философии

E-mail: naumova11@inbox.ru

Очеретяный Константин Алексеевич (Ocheretyany Konstantin Alekseevich)

Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии науки и техники Института философии

E-mail: ocherk.on@yandex.ru

Пирогов Алексей Александрович (Pirogov Aleksei Alexandrovich)

Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант

E-mail: medicus@inbox.ru

Прокудин Дмитрий Евгеньевич (Prokudin Dmitrii Evgen'evich)

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, доцент кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института философии

E-mail: d.prokudin@spbu.ru

Разин Александр Владимирович (Razin Aleksandr Vladimirovich)

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этики философского факультета

E-mail: razin54@mail.ru

Савчук Валерий Владимирович (Savchuk Valery Vladimirovich)

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института философии

E-mail: vvs1771@rambler.ru

Скрипченко Дмитрий Валерьевич (Skripchenko Dmitri Valer'evich)

ООО Издательский дом «С-медиа»,

E-mail: descrip@mail.ru

Соколов Алексей Михайлович (Sokolov Alexei Mikhailovich)

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии и философии истории Института философии

E-mail: docentsokolov@yandex.ru

Соколов Евгений Георгиевич (Sokolov Evgenii Georgievich)

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, профессор кафедры русской философии и культуры Института философии

E-mail: e.sokolov@spbu.ru

Тихонова Софья Владимировна (Tikhonova Sofia Vladimirovna)

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, доктор философских наук, профессор кафедры социальных коммуникаций юридического факультета

E-mail: segedasv@yandex.ru

Чеботарева Елена Эдуардовна (Chebotareva Elena Eduardovna)

Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат философских наук, доцент кафедры философии науки и техники Института философии

E-mail: e.chebotareva@spbu.ru

Шапошникова Юлия Владимировна (Shaposhnikova Yulia Vladimirovna)

Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат философских наук, доцент кафедры еврейской культуры Института философии

E-mail: shaposhnikova.y@gmail.com

Шевцов Константин Павлович (Shevtsov Konstantin Pavlovich)

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, доктор философских наук, профессор

E-mail: shvkst@list.ru

Шибаршина Светлана Викторовна (Shibarshina Svetlana Viktorovna)

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, кандидат философских наук, доцент кафедры философии физического факультета

E-mail: svet.shib@gmail.com

Яковлева Любовь Юрьевна (Iakovleva Liubov Yurjevna)

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии

E-mail: jakovleva.ljubov@yandex.ru

Янь Мэйпин (Yan Meiping)

Институт иностранных языков и литературы, Шаньдунский университет (КНР)

E-mail: 18678661119@163.com

Summary

Sokolov E. G. Information/Digital Age. Preliminary Marking, or To the Problem Statement

The article is devoted to the study of the conditions and prerequisites for the formation of a digital/information society, as well as the conditions under which this phenomenon could be thematized in the semantic and discursive horizons of knowledge. To date, we can state that information technology innovation practices have fully affected very small regions of the Earth, both in terms of the number of people living and in terms of the territory. Therefore, it is premature to make predictions that this trend will become a leading global trend and will radically affect the further development of all mankind. The historical experience of the past, when one or another model of development of all mankind was declared universal and inevitable (for example, the stage of industrialization) shows that in the case of Informatization/digitalization it would be necessary to talk only about some, primarily technological and ideological, product of European-oriented practices and regions. In order for such a worldview accent to be formed in principle, appropriate socio-cultural and mental conceptual presets are necessary, which relate primarily to the fundamental principles of the interpretation of man, the world and man in the world. Namely: concepts of information, communication, space and time, status and correlation of substantial and accidental spheres, as well as anthropological cartography (general architectonics). Basic can also be considered the interpretation of the number/digits. It is also important that in the case of digitalization/Informatization, a significant role is played by the capitalist sacralization of accounting (book-keepization) and the local distribution of tools of total pattern guardianship — jurisprudence (jurisprudencization).

Keywords: information society, digital culture, technologies of production of life, communication, information, status of reality, number, accounting, jurisprudence.

Prokudin D. E. From “Informatization” to “Digitalization”

One of the main narratives of social development in recent years is “digitalization”, which gradually permeates all the spaces of human existence, all spheres of his activities. But more recently, the development of society as an information society has been postulated and “actual problems of Informatization”(education, economy, culture, etc.) have been discussed in public and, accordingly, in scientific discourse. What influenced the transition from “Informatization” to “digitalization”? What meanings can be derived from this? How does this relate to the processes of globalization? What kind of society are we moving towards when

some thinkers state the onset of a post-information society? In the present paper, an attempt is made to answer these and other questions, to analyze the basic meanings of “digitalization”.

Keywords: informatization, digitalization, social development, digital economy, digital culture, digital education.

Artamonov D. S., Tikhonova S. V. Historical Epistemology in the Digital Turn¹

The article deals with media memory as a key phenomenon of mass historical knowledge in the digital age. Analyzing the digital turn, the authors show how network actors form historical knowledge in the conditions of digital everyday life. The distribution of historical knowledge in social media comes from professional researchers to the ordinary people interested in history. Users master digital ways of producing historical content to express their own version of historical reality, form historical identity, self-actualization and entertainment. The authors put forward their own definition of media memory as a digital system of storage, transformation, production and dissemination of information about the Past, on the basis of which the historical memory of individuals and communities is formed. Media memory acts as a virtual social mechanism of remembering and forgetting, providing the movement of various forms of history representation in the space of everyday life, the expansion of practices of representation of the past and commemoration, as well as an increase in the number of individuals who create and consume memorial content.

Keywords: historical epistemology, media memory, digital turn, digital society, social media, memory studies.

Shaposhnikova Yu. V. The Number for Antiquity, the Digit for Modernity²

The article argues that some concepts reflect key characteristics of the worldview of a particular era. With regard to antiquity, the author singles out the concept of “number”, and for the modern digital era — the concept of “digit”. On the one hand, the article analyzes the nature of the ancient interpretation of number and points to the inherent relationship between mathematical and musical in the Greek worldview, referring to the approaches of ancient scientists and metaphysical views of ancient philosophers. On the other hand, the author highlights the main features of the modern era, manifested through the process of “digitalization”, which now covers virtually all spheres of human activity. Through the analysis of research texts from the field of digital anthropology, as well as works devoted to the problems of

¹ This work was supported by Russian Foundation of Fundamental Research 19-011-00265 “The social construction of historical memory in the digital world”.

² This work was supported by Russian Foundation of Fundamental Research 18-011-00281 “Historical Epistemology: Theoretical Foundations and Research Perspectives”.

digital and virtual consumption, digital humanities, etc., the article identifies the range of problems of the modern era and confirms the assumption that the digital dimension may serve as the key to understanding the nature of modernity. In conclusion, the article compares the concepts of number and digit as architectonic principles of an epoch, and concludes that the main aspirations of antiquity and modernity are similar at core, that they consist in the awareness of the world as a whole, but are realized in two completely different ways.

Keywords: number, ancient philosophy, ancient worldview, knowledge, information, digit, digital era, digitalization.

Kolenko S. G. Sacred Paradigm of Numbers in World Culture

The history of numbers origin provides rich material for a number of humanities and indirectly confirms discoveries in the field of genetics and physiology. Function of numbers has never been reduced only to counting, mathematical operations. In cultures of all, without exception, peoples of the world, numbers possessed symbolic semantics. The very concept of counting in archaic languages was associated with ideas about the universe. The fact of great importance is that this symbolism did not remain the property of only archaic societies; it accompanies the entire history of mankind, including antiquity, the Middle Ages, and modern times; it is woven into works of world art and literature. Knowledge of this symbolism reveals to inquiring mind many — eternal and always new — meanings.

Keywords: symbol, language, mythology, religion, folklore, literature, binary oppositions, picture of the world.

Naumova E. I. Book-Keepization, or Cultural Code of Capitalism 4.0

The article is about the phenomenon of book-keepization as the basis of the capitalist rationality formation which is the key in capitalist transformation during the 19th–21st centuries. The novelty of the approach is the book-keeping is viewed not only as arithmetic phenomenon (Sombart's thesis) but also as a moral based on the accounting logic and established the new order of legality and justice in social relationship (Post-Sombart's treatment). This thesis helps us to understand capitalism not only as the mode of production or domestication but as a discourse which emerged from the rhetorical practice based on the book-keeping as the criterion of rationality. The book-keepization is connected with the concept of the «spirit» of capitalism and book-keeping is his immutable companion despite of the fact that the «spirit» of capitalism passed three stages of development. This fact suggested the book-keeping is the cultural code of capitalism. Figurization is the technological book-keeping in the conditions of capitalism 4.0.

Keywords: capitalism, capitalism 4.0, book-keeping, culture, the spirit of capitalism, Sombart, Weber, rationality, accounting, Post-Fordism.

Chebotaeva E. E. Blockchain and Bitcoin: Digital Technologies in a Philosophical Context³

The article demonstrates several philosophical approaches to understanding the essence of blockchain and cryptocurrency Bitcoin in a cultural context. Firstly, the author argues that the main arguments of the blockchain lie in the field of ideology, not technology: the blockchain is primarily associated with values and ideas, therefore, philosophical reflection on the blockchain can be meaningful and productive. Secondly, a semantic consideration of the term “blockchain” gives a variety of historical and cultural connotations of the concept of “chain” in theology, literature, biology and contemporary art. In this section, the author also turns to the theological meaning of the “chain” concept to explain the phenomenon of blockchain religion. Thirdly, the article considers one of the most important aspects of blockchain — cryptography in the context of the art of concealment. The author demonstrates the philosophical connection between the encryption and interpretation of secrets and the concealed, as well as the transition to a new spyological paradigm of trust and suspicion. Finally, the author considers the possibilities and influence of blockchain in the context of D. Bell’s theory of post-industrial society. For comparison, the article uses the conclusions of the of Lord W. Rees-Mogg and J. Davidson work “Sovereign personality mastering the transition to the information age”.

Keywords: philosophy, new technologies, blockchain, bitcoin, post-industrial society, encryption.

Miloslavov A. S. “Digital Revolution” as a Field for Historical and Epistemological Research: Problems and Perspectives⁴

In this article we consider the possibility of analyzing the current digital revolution from the point of view of historical epistemology. The problems associated with the absence of a historical perspective during the possible research are demonstrated. We signify epistemologist events and processes that determined the advent of the computers age. On the example of turning to the history of computer science from the late 40s to the beginning of the 60s of the 20th century, the need for inclusion in the epistemological study of social and political contexts, which significantly affect exploratory and educational practices in the field of information technology, is demonstrated.

Keywords: digital revolution, historical epistemology, computer science, cybernetics.

³ This work was supported by the Russian Foundation of Fundamental Research 18-011-00920 A “Revolutionary transformations in science as a factor of innovation processes: conceptual and historical analysis”.

⁴ This work was supported by Russian Foundation of Fundamental Research 18-011-00920.

Razin A. V. Artificial Intelligence and Digital Society: New Ethic Challenges

The article outlines the range of problems aroused by the first attempts to create artificial intelligence that is capable to some degree make independent decisions. Here the question of ethical constraints that can be incorporated into artificial intelligent systems in programming is raised. It is further noted that this nevertheless cannot yet be considered the ethics of artificial intelligence, since in order to solve ethical problems it is necessary to have free will. We prove that a person has free will, he can create arbitrary images associated with different levels of reflection of reality and manipulate them. This turns out to be necessary for successful orientation. However, this also implies the assumption of a fundamental possibility of error, both in reasoning and in actions. Ethics actually begins when there is an ability to react to own mistakes, to carry out a reflection of a personal behavior, taking into account the opinions of other people. The same fundamental possibility of error should be incorporated in the work of artificial intelligence, so that we can talk about its ethics in the proper sense of the word. The conditions for the communication of machines, their mutual assessments and their phenomenal experience must also be met. As for the prospects for the development of mankind in coexistence with artificial intelligence, we believe that it will be peaceful, but a person will have to recognize moral obligations in relation to artificial intelligence and follow certain rules.

Keywords: consciousness, intelligence, will, ethics, restrictions, error, reflection, communication, evaluation.

Klyueva N. Yu. Ethical Expertise of Artificial Intelligence and Robotics

Intensively developing artificial intelligence technologies require ethical reflection, as they can lead to negative consequences for a person and society due to the following features. Artificial intelligence technologies should be considered as dual-use technologies; analysis of the variants of malicious use of this technology is necessary. It is necessary to analyze the ethical limitations of the fields of application of artificial intelligence technologies, primarily in the field of social robotics, autonomous weapons. It is necessary to raise a new question about the responsibility of machines, the complexity of which follows from the principles of the work of artificial intelligence, based on the technologies of artificial neural networks.

Keywords: artificial intelligence, robotics, philosophy of technology, ethics of artificial intelligence, lethal autonomous weapon, discrimination, dual-use technologies, ethical expertise.

Shibarshina S. V., Maslanov E. V. Automation, Artificial Intelligence and Scientific Knowledge⁵

This article considers an application of software based on artificial intelligence to a number of science practices, including academic search and analysis of litera-

⁵ This work was supported by the Russian Science Foundation 19-18-00494 "The mission of the scientist in the modern world: science as profession and vocation".

ture, as well as science communication (science news writing in our case). The authors tackle this issue basing on David Orr's distinction between "fast" and "slow" knowledge. On one hand, they describe advantages of artificial intelligence — first of all, the automation of processes and optimization of time, effort and human resources. On the other hand, they elucidate significant limitations of AI, as well as possible negative consequences, such as reliance on automation built on incorrect data, an increase in information supersaturation and so on. It is shown that in the future, artificial intelligence is likely to absorb a significant part of science practices, leaving the human an "editor" approving the final version of scientific and popular science texts. At the same time, the authors argue that the use of artificial intelligence contributes to the existing trends in social and cultural changes, accelerating the implementation of the "fast knowledge" ideology. However, it is hardly possible to unambiguously judge whether a scientist as a person loses his essence in this process.

Keywords: scientific knowledge, automation, artificial intelligence, academic search engine, Semantic Scholar, science writing, bot.

Kondratenko K. S. Digitalization as Overcoming Uncertainty: Theoretical Aspects and Technological Forecast⁶

The article is devoted to the interpretation of the phenomenon of digitalization through the concept of 'uncertainty'. The main purpose of the work is to substantiate the interpretation of digitalization processes as overcoming uncertainty. The author treats the concept of 'uncertainty' hierarchically from the basic aspect of uncertainty (entropy) to the uncertainty of higher levels (uncertainty as probability, uncertainty as threat, and existential uncertainty). This hierarchy of meanings, according to the author, can be a good model for predicting Megatrends of digitalization. Thus, the digitalization of the first wave, which includes the generations Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0, is aimed at minimizing information uncertainty, or entropy. This stage is characterized by digitization to improve public and private databases, systems of information search, storage information and ways of information transmission through e-mail, social networking, instant messengers, etc. The next generation second wave is likely to change the nature of its development, because the design of the global network, i.e. the presence of a significant number of databases in the system, as well as means of exchange and transmission of information. The second wave involves the complexity of the digital space, which imposes new requirements for security, the presence of a minimum digital "experience" that allows you to make more accurate predictions, as well as the emergence of robots that help to search for the necessary information and make decisions. This determines the relevance of distributed Ledger technologies, Big Data, artificial intelligence, the Internet of things and other inno-

⁶ This work was supported by the Russian Scientific Foundation 19-18-00210 "Political ontology of digitalization: research of institutional foundations of digital formats of public governance".

vations. The second wave of digitalization is also likely to span three generations and continue, presumably, until the 2050s.

Keywords: digitalization, megatrend, uncertainty, entropy, artificial intelligence.

Sokolov A. M., Kuznetsov N. V. Eurasian Narrative in the Semantic Field of Globalization

The Article is devoted to the problem of actualization of a stable semantic horizon that determines the productivity of the civilizational process of modern Russia in the conditions of changing technological order. The authors note, on the one hand, the ideological involvement of the Russian-Russian socio-cultural system in the principles of the Western European community. The economic, political, intellectual and spiritual content of the social order in Russia, since the XVII century, unfolded in the ideological field of bourgeois humanism. On the other hand, this tendency regularly came into conflict with the original beginnings of Russian-Russian civilization. The authors believe that at the present time of global integration transformations and changes in the technological order, the problem of civilizational self-determination by its relevance requires another clarification of the semantic field of socio-cultural construction. The authors substantiate the thesis according to which the civilizational narrative of Russia's development is presupposed by the specifics of the development of the Eurasian space. This narrative structures civilizational activity in the continuation of the entire historical perspective of Russia. In this regard, the authors actualize the intellectual intuitions of N. S. Trubetskoy, P. N. Savitsky, R. O. Jacobson in relation to the state of the modern world.

Keywords: globalization, change of technological cycle, semantic umbrella of civilization, Eurasianism, bourgeois humanism, civilizational narrative.

Skripchenko D. V., Kolesnikova E. I., Yan Meiping. Public communications in the age of digital dictatorships

The article observes an actual problem of using digital technologies as a means of social engineering. We use the method of socio-philosophical comparative studies, for that we consider the system of social credit (trust) in China which allows controlling all good and bad actions of citizens. It is alleged that the Chinese government in this way wants to construct the shortest communication between state and society. We also analyze the reasons and motivations for building this system and the main arguments against it. Along with this, it is postulated that the social credit system is one of the first adequate answers to the challenges of digital technology in a post-industrial society, where digital person gets its place through geolocation in space, but he is vulnerable to information with its noises in the form of laymen and trolls. With the help of new media, the subject is looking for a way to perceive what he needs.

Keywords: digital dictatorship, social credit, communication, Internet trolling, new media.

Kashtanova S.M. Modes and Practices of Social Communication in the Modern Digital Space: Experiencing the Expansion of Social Limits

The article observes the question of transformation of the ways of social communication, which happens due to the digital technologies' increasing influence on the individuals' life, from two different perspectives. Firstly, it analyses the most significant, from the author's point of view, attributes gained by the social communication in transition to the web domain, such as the lack of sense in messaging, anonymity and freedom from liability. The author views the message exchange as a trade in simulacra, in the form of "reposts", "instagram-stories", "fakes" and many more. The simulations' wide spreading on the Internet is an extension of such phenomenon as "post-truth", which in this work, is particularly regarded in the context of digital, on-line communication.

Secondly the article examines how the new modes of social communication affect the limits of social reality. Thus, certain practices of on-line communication, which give the subjects a possibility to widen the limits of socially acceptable experience by the means of completing the social reality with additional constructs using different virtual instruments and means, are reviewed in the context of philosophy of transgression. The author reviews such Internet practices as on-line games, cyber-aggression and webcamming to analyze the transgressivity of ways of digital interaction, due to the fact that these activities serve as an example of how the social communication changes as a whole when being held in a digital domain.

Keywords: simulacrum, repost, fake, post-truth, social network, transgression, online gaming, cyber-aggression, webcamming.

Pirogov A. A. The Transformation of the Concept of Charity in a Post-Information Society

The article explores the transformation of the concept of charity in a modern information and post-information society. The author believes that charity is no longer a private matter, but is controlled and managed by society. At the same time, the general goals of charity are still directly related to people belonging to a social group in need of support. The author insists that today it is necessary to talk about the parallel existence of traditional charity and a new charity. Traditional charity is based on self-giving and personal sacrifice, directed to all individuals without exception. It corresponds with the category of Absolute moral Good. In the new form of charity, exclusively economic instruments and solutions to the problem of poverty come to the fore, and the object is not a specific person who needs help, but large systems, public institutions, even entire countries. Charitable activities are increasingly attracting the attention of economic elites and businesses interested in investing. New forms of charitable investment are being created, which involve large-scale social impact and indispensable financial profit. The fruits of the globalization of philanthropy are seen in the eradication of poverty, achieving food equality, strengthening democracy, increasing people's solidarity and overcoming corruption. In this regard, the author actualizes intellectual intuitions: L. Salamon,

M. Nussbaum, P. Virillo, J. Baudrillard. The author substantiates the thesis that the concept of charity has not disappeared, although it has transformed along with a post-information society, which puts informational control of all types of social activity of a person.

Keywords: charity, philanthropy, philanthropic capitalism, sacrifice, mercy, post-information society.

Mukhina S. H. "Caring for Yourself" in a Post-Information Society⁷

The purpose of this article is to actualize the practices of "caring for yourself" in the context of modern trends in the information world, to understand their role in the experience of the formation of self-consciousness in the transition from the information society to the knowledge society. The main objectives of the article are: analysis of modern communication, recognition and care practices generated by the new media space, as well as the philosophical thematization of "caring for yourself" as an existential condition for the formation of subjectivity. Modern forms of communication in the Internet space radically change everyday experience, blurring the boundaries between private and public and, thus, transforming a person's relationship with another and with himself. Today, a person acts as a weak link in the process of reproduction of information; this circumstance requires the development of "caring for yourself" strategies and ethical guidelines in the modern media space.

Keywords: information, Big Data, knowledge, media, Internet communication, caring for yourself, consciousness, subjectivity.

Savchuk V. V. Trust in the Future

The article dedicated to the main strategies of the development of philosophy in the twenty-first century, the philosophy of synthesis, proposed by M. N. Epstein. The problem of extraphilosophical foundations and extraphilosophical investments in the formation of new philosophical movements of the twentieth century is emphasized. From the perspective of such thinkers as J. Bataille, E. Jünger, V. Benmin, V. Flusser, Jean Baudrillard, who obtain the status of philosophers in the last century, it is appropriate to consider the philosophy of synthesis of M. H. Epstein as philosophy as well. Furthermore, the number of new concepts proposed by the author, in addition to the content, also has a heuristic resource: they initiate confidence in the philosophical concepts proposed by the author. He also produced the reactivation of such an argument as example as a method of proof without proof itself, that is, trust in the truth of intuition. Important tasks of current philosophy are analytics of computer games, the return of interest in the natural sciences videlicet physics, cosmology, biology, computer science and cognitive science. To philosophers spe-

⁷ This work was supported by Russian Foundation of Fundamental Research 18-001-00001 "Instrumental strategies of development for national consciousness of Russia: a socio-philosophical research of skriptization's technologies of life".

cializing in the history of science and technology, Epstein proposes (quite rightly) to see how philosophy reacts to modern changes in the technical environment, its future in world modified by digital technology. Using of the ideas and concepts of Russian philosophy and literature is another example of the undoubted merit of the author. Creation of new concepts and reflection of the environment changing by digital technologies is a way to reconcile the contradictions of analytical philosophy and the unavoidable need for synthesis: the metaphysical foundations of understanding the current state of affairs.

Keywords: humanities, analytic philosophy, philosophy of synthesis, infinity, diamond rule, horrology, onto-technology, computer games.

Shevtsov K. P. Digital Mind in Action

The article raises the question of the formation a new type of the mind, different from classical prototypes. Arguments in favor of the concept of digital reason are proposed, and the boundaries and basic structural principles of this formation of the mind are outlined. The digital mind is formed as a way to streamline the space of modern communications and acts as a necessary correlate of media policies aimed at managing not only individual acts of network communication, but also the very desire to enter into communication and realize oneself in it. The article also shows that in the modern world, trust in fakes is to a large extent determined by the nature of desire and the structure of identity, which is organized around loss and is associated with the danger of exposing one's own nature as fake. The article introduces and explains the concept of the digital unconscious as a form of existence in the era of digital communication systems, which is accompanied by the epidemic multiplication and distribution of fakes both at the lowest level of social networks and blogs, and at the highest state level.

Keywords: media policies, digital mind, media imaginable, media philosophy, communication.

Ocheretyany K. A. Faket — A Unit of Digital Experience

The role of counterfeiting in culture is still not appreciated. The fake is condemned and despised, it is persecuted and carefully identified, and when revealed, it will certainly be punished. They forget, however, that the fake has repeatedly benefited, including the creators of the original; after all, more often it did not so much replace and supplant it, as it gave an idea about it — it was the medium of the original. In fact, if it were not for the fake and its uncontrolled distribution, how else would those who could not get direct access to the original get acquainted with it? And if it were not for the refining skill of the creators of fakes looking for profit and the growing demands of the audience, who else would put forward imperatives to the creator of the original and ensure its creative growth. Thus, her role is historically justified. In a fake it is worth seeing, if not a direct reason, then at least an enzyme that accelerates cultural processes in the social body: not only the trick of an individual person or group of people — the pursuit of profit, but also the trick of

human history, through the multiplication and distribution of fakes, forcing masters improve your skill, and your audience your tastes.

Keywords: fakel, trust, epistemology, media philosophy, postgraduate.

Iakovleva L. Yu. Fake Topologies in Post-Truth Culture: the problem of trust⁸

The article is devoted to the problem of simulation of architectural and urban space in the context of the production of fakes in the culture of post-truth. The main task is to raise the question of the possibilities, boundaries of trust and distrust of the urban environment in the framework of philosophical discourse. On the basis of the hermeneutic method, the concept of simulacrum is rethought; the concept of fake topology is introduced and an analysis of examples of fake topology is carried out: digital maps, non-places and false facades. These phenomena are brought together because of their autonomy, lack of referent, anonymity and break with history. The article states entry of fake topologies into the everyday urban environment in the form of a person's trust in this territory despite the insecurity and the anonymity of the urban environment. The author comes to conclusion that distrust of the simulative forms of spaces can be more productive than trust in fake topology. As examples of constructive distrust, urban art practices of the photographer, artist and creator of city maps are presented.

Keywords: fake topology, simulation, trust, urban environment, post-truth.

Kirillov A. A. Structures of Mimesis⁹

The entity of the mimesis, as a rule, is revealed depending on different historical interpretations of this concept. And each interpretation loses some individual elements in the structure of the mimesis, thinks this process in a narrow framework. The article proposes an approach to the mimesis as a complex of sensory and semiotic configurations, suggesting the presence of two integral sides: explicit and hidden. On the semantic level, we always encounter only a sign surface, a screen, and don't see those deep structures that define a particular art work, image, idea. Art appears as a mechanism for the production of illusion and concealment of meanings. Only modernism and avant-garde occupy the opposite position and provide us with a tool for the deconstruction of these hidden structures.

Keywords: media policies, media philosophy, representation, mimesis, presence, deconstruction.

⁸ This work was supported by Russian Foundation of Fundamental Research and ANO EISI within the framework of the scientific project № 19-011-31418 opn "Politics of building trust in the era of fake".

⁹ This work was supported by Russian Foundation of Fundamental Research and ANO EISI within the framework of the scientific project 19-011-31418 opn "Politics of building trust in the era of fake".

Contributors

Artamonov D. S., National Research Saratov State University, Candidate of History, Associate Professor of the Department of Social Communications, Faculty of Law
E-mail: artamonovds@mail.ru

Chebotareva E. E., St Petersburg State University, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy of Science and Technology, Institute of Philosophy
E-mail: e.chebotareva@spbu.ru

Iakovleva L. Yu., St Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Culturology
E-mail: jakovleva.ljubov@yandex.ru

Kashtanova S. M., Higher Banking School, Candidate of Philology
E-mail: sonitta@mail.ru

Kirillov A. A., St Petersburg State University of Civil Aviation
E-mail: sasha.agst@yandex.ru

Klyueva N. Yu., Moscow State University, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Methodology of Science, Faculty of Philosophy
E-mail: klyueva.msu@gmail.com

Kolenko S. G., St Petersburg State University, Candidate of Culturology, Senior Lecturer of the Department of Russian Philosophy and Culture, Institute of Philosophy
E-mail: kuzdra74@mail.ru

Kolesnikova E. I., Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences (Pushkin House), Doctor of Philology, Leading Researcher
E-mail: ekolesn@mail.ru

Kondratenko K. S., St Petersburg State University, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Political Management, Faculty of Political Science

E-mail: kondratenkoks@inbox.ru

Kuznetsov N. V., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Conflictology, Institute of Philosophy

E-mail: n.kuznecov@spbu.ru

Maslanov E. V., Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Researcher

E-mail: evgenmas@rambler.ru

Miloslavov A. S., Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Candidate of Philosophy, Researcher

E-mail: miloslavov-as@mail.ru

Mukhina S. H., St Petersburg State University, Master Degree, Leading Specialist

E-mail: s.muhina@spbu.ru

Naumova E. I., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Ontology and Theory of Cognition, Institute of Philosophy

E-mail: naumova11@inbox.ru

Ocheretyany K. A., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Senior Lecturer of the Department of Philosophy of Science and Technology, Institute of Philosophy

E-mail: ocherk.on@yandex.ru

Pirogov A. A., St Petersburg State University, Post-Graduated Student

E-mail: medicus@inbox.ru

Prokudin D. E., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Cultural Studies, Philosophy of Culture and Aesthetics, Institute of Philosophy

E-mail: d.prokudin@spbu.ru

Razin A. V., Moscow State University, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Ethics, Faculty of Philosophy

E-mail: razin54@mail.ru

Savchuk V. V., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of History of Russian Philosophy and Culture, Institute of Philosophy
E-mail: vvs1771@rambler.ru

Shaposhnikova Y. V., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Jewish Culture, Institute of Philosophy
E-mail: shaposhnikova.y@gmail.com

Shevtsov K. P., St Petersburg State University of Civil Aviation, Doctor of Philosophy, Professor
E-mail: shvkst@list.ru

Shibarshina S. V., Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy, Faculty of Physics
E-mail: svet.shib@gmail.com

Skipchenko D. V., S-Media Publishing House, LLC
E-mail: descrip@mail.ru

Sokolov A. M., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Social Philosophy and Philosophy of History, Institute of Philosophy
E-mail: docentsokolov@yandex.ru

Sokolov E. G., St Petersburg State University, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Russian Philosophy and Culture, Institute of philosophy
E-mail: e.sokolov@spbu.ru

Tikhonova S. V., National Research Saratov State University, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social Communications, Faculty of Law
E-mail: segedasv@yandex.ru

Yan Meiping, Institute of Foreign Languages and Literature, Shandong University, People's Republic of China
E-mail: 18678661119@163.com

Книги и журналы СПбГУ можно приобрести:

по издательской цене

в интернет-магазине: **publishing.spbu.ru**

и

в сети магазинов «Дом университетской книги», Санкт-Петербург:

Менделеевская линия, д. 5

6-я линия, д. 15

Университетская наб., д. 11

Набережная Макарова, д. 6

Таврическая ул., д. 21

Петергоф, ул. Ульяновская, д. 3

Петергоф, кампус «Михайловская дача»,

Санкт-Петербургское шоссе, д. 109.

Справки: +7(812)328-44-22, publishing.spbu.ru

Книги СПбГУ продаются в центральных книжных магазинах РФ,

интернет-магазинах **amazon.com**, **ozon.ru**, **bookvoed.ru**,

biblio-globus.ru, **books.ru**, **URSS.ru**

В электронном формате: **litres.ru**

Научное издание

ФИЛОСОФСКАЯ АНАЛИТИКА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Сборник научных статей

Редактор *Е. А. Трофимов*

Корректор *Н. Е. Абарникова*

Компьютерная верстка *Е. М. Воронковой*

Обложка *Е. Р. Куныгина*

Подписано в печать 28.09.2020. Формат 60×90 1/16.

Усл. печ. л. 23,00. Тираж 500 экз. Print-on-Demand. Заказ № 0000.

Издательство Санкт-Петербургского университета.

199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, д. 11.

Тел./факс +7(812)328-44-22

publishing@spbu.ru



publishing.spbu.ru

Типография Издательства СПбГУ. 199034, С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5.